КРАСНАЯ НОВЬ

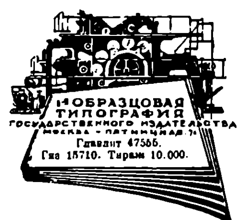
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 1

ЯНВАРЪ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД


ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА - ПЯТНИЦКАЯ
Главлит 47566.
Гиз 15710. Тираж 10.000.

Азеф.

Сцены из исторической пьесы.

Алексей Толстой и П. Е. Щеголев.

Школа филеров.

Большая, низкая, пустая комната в помещении Московской охранки в Гнездниковском переулке. Посредине дубовый стол. Сбоку, — больше человеческого роста, — нарисованное на картоне изображение студента с усами и в пенснэ. Шум голосов. Занавес поднимается. Вдоль стен стоят филеры в обычной позе, — расставив ноги, руки за спиной. Говорят все враз. Филер Петренко, — мрачный, порядливый, не пьющий, — продолжает рассказывать...

Петренко. Ну, входит... Как ты не пустишь? Он в полной гвардейской форме... Ну, швейцар подскакивает, тот скидавает пальто и — наверх, во дворец... Ну, дежурный чиновник выскакивает, — что тут поделаешь? Видит — в полной гвардейской форме. Желаю, говорит, видеть его высокопревосходительство. Пустили...

Голоса. О-о-о-о...

Петренко. Ну, входит в кабинет в полной гвардейской форме, палец — сейчас — за пуговицу, сам — во фронт. Рапортует. Что тут поделаешь? Генерал ему, — прошу, говорит, садиться. И тот вынимает револьвер барабанной системы и стреляет в его высокопревосходительство.

Голоса. О-о-о-о...

Петренко. И сам — ходу. Ну, схватили... Какой чорт он гвардейский офицер, — социалист...

(Входит помощник начальника охранного отделения — Медников, Евстратий Павлович, — среднего роста, полный блондин, лет - 50-ти, из старообрядцев. Волосы зачесаны назад. Бородка. Когда сидит — разговаривает — поглаживает себя по ляжкам.)

Медников. Так-то. *(Садится, филеры замолкают.)* Еще одного убили в Петербурге, так-то.

Петренко. Евстратий Палыч?

Медников. Вот то-то, Евстратий Палыч.

Петренко. Кто убил, известно вам это?

Медников. Мне-то, может быть, известно все, может быть. А вот Петербургскому охранному отделению, пока, неизвестно. Так-то. *(Филерам.)* Это вы себе зарубите, сукины дети. Я знаю. Тут тоже есть свистуны, голубчики... Ему на морозе зябко, есть такие зябкие... И он путешествует в пивную. Пожалуйте, господин социалист, дорога свободная, сзади никто не прицепится. Это я выведу — по пивным ходить. Здесь у меня не Петербург. Это там проморгали генерала. Кто? Филеры, сволочи. Полны пивные филеров, а революционеры, среди бела дня, генералов, как глухарей, бьют. Опять повторяю, если филер безнравственный человек, плохой семьянин, пьяница, ерник, — вон... И не просто выгоню, а изувечу наперво. Вы меня знаете, миленькие. Ну, ладно. Кто еще остался? Петренко! *(Петренко живо подходит.)*

Петренко *(подает рапортичку)*. Все в порядке, Евстратий Палыч. Извольте проверить. От половина второго до трех стоял на углу Леонтьевского и Тверской, после чего взял на наблюдение неизвестного, весьма серьезной работы.

Медников. Приметы?

Петренко. С этой стороны записаны. *(Переворачивает записку.)* После чего провел неизвестного до угла Большой Дмитровки и Богословского переулка, где в три часа и девятнадцать минут к нему подошел Собачьи Уши...

Медников. Собачьи Уши опять в Москве?

Петренко. В Москве-с. В таком разе, я взял его от вышесказанного неизвестного и повел к Страстному бульвару, а неизвестного передал другим филерам.

Медников. Так что же Собачьи Уши?

Петренко. Собачьи Уши, Евстратий Палыч, очень осторожен. Выход проверяет, заходя куда-либо, тоже проверку делает, и опять-таки и на поворотах и за углами... Тертый... На Трубной площади на лихаче от меня ушел...

Медников. Дурррак. *(Глядя на рапортичку.)* Расход — четыре семьдесят пять копеек. Дорого за извозчика платишь. Скидай полтинник. Следующего. Кто остался?

Петренко. Девяткина не спрашивали? *(Тихо.)* Он запил, Евстратий Палыч... Совсем слабый.

Медников. Девяткин. *(Подходит Девяткин, подает рапортичку.)* Ну, что ж, докладывай.

Девяткин. Евстратий Палыч... Господи, как отцу родному...

Медников *(предостерегающе)*. Не мнись.

Девяткин. Так что, как вы приказали, наблюдал я за филером Аксеновым. Это записано. Опять, как вы приказали, с пяти часов стоял в воротах по Козихинскому переулку, у дома номер третий. Ветер, Ев-

стратий Палыч, так с ног и бьет... Ну, дождался... Действительно, входит в подъезд «Заклепка»... Зайти — зашел, да так и не вышел оттудова, не дождались...

Медников. Так-таки он и не вышел?

Девяткин. Нет, Евстратий Палыч, не вышел...

Медников. А долго ты его ждал под воротами?

Девяткин. Долго, Евстратий Палыч... Ветер так и бьет... До одиннадцати ждал, ей-богу, вот как перед богом...

Медников. Так-таки в пивную и не заходил?

Девяткин. Что вы, Евстратий Палыч, да я умру на посту...

Медников. Значит, с семи часов это я в пивной сидел?..

Девяткин. Ничего не знаю, Евстратий Палыч...

Медников *(поднимается со стула, Девяткин пятится. Медников берет его за воротник. Начинает молча бить по морде. Девяткин мычит. Сыщики внимательно глядят)*.

Девяткин *(освободившись)*. Виноват, Евстратий Палыч.

Медников. Молод, чтобы мне врать. Плати пятерку штрафу. *(Обеими руками откидывает волосы.)* Лекция. Подходи ближе. *(Филеры подходят.)* Замечаю, — некоторые из филеров, подавая мне рапортичку, излагают приметы наблюдаемой личности по-дурацки, вроде: «Каштановый, в резиновой накидке, с бородой, в руках палка, пенснэ, лет двадцати семи, худощавый»... Что это такое? Каштановый. Господа бога пусти филить по таким приметам — собьется. Приметы излагать впредь в следующем порядке: пол, лета, рост, телосложение, цвет волос, национальность и особые, как-то: сутуловатость, хромота, кособокость, беременность. Одежду наблюдать сверху вниз: головной убор, платье, брюки, ботинки или калоши. Особые приметы: пенснэ, трость, зонтик, сумочка... Петренко?

Петренко *(выскакивает)*. Здесь, Евстратий Палыч.

Медников *(указывая на картон с рисунками)*. Покажь.

Петренко. Демонстрация. *(Берет кий, указывая на рисунок.)* Примерно — стою, наблюдаю. Примерно — идет человек. Сумлеваюсь.

Медников. Почему начал сумлеваться?

Петренко. Первое — молодой, второе — студент, третье — идет осторожно, косится.

Медников. Так.

Петренко. Пропустил его три шага и пошел, будто гуляю.

Медников. Приметы.

Петренко. По формуляру: пол — мужеской, лета — 21, рост — средний, телосложение — худощавое, цвет волос — черный, национальность — еврей.

Медников. Почему?

Петренко. Сразу видимость ударяет, Евстратий Палыч...

Медников. Молчать...

Петренко. Лицо — бледное, тощее, волос — курчавый, глаз — мрачный...

Медников. Так.

Петренко. Одежда — политехник. Особые приметы: пенснэ, в правой руке — продолговатый сверток.

Медников *(филерам)*. Усвоили?

Голоса. Усвоили, Евстратий Палыч.

Медников. Так-то... Практические занятия. Пример слежки. Тутышкин. *(Выскакивает молодой сыщик.)* Социалист, иди конспиративно. *(Тутышкин идет.)* Девяткин. *(Девяткин выходит.)* Вытри морду, не маленький. Покажь высшую слежку. *(Тутышкин и Девяткин показывают слежку.) (Сбоку, в кулисах, невидимые филерам, появляются Зубатов и Азеф, который стоит спиною к публике, — лица его не видно.)*

Зубатов. Боже сохрани, ни в каком случае они не должны вас видеть, кроме совершенно надежных. Вон тот, Петренко, ему можно довериться. Он один будет знать вас в лицо. *(Кивает пальцем Медникову, тот срывается со стула.)* Кончайте, Евстратий Павлович, есть серьезный разговор.

Медников. Сейчас, Сергей Васильевич, момент. *(Возвращается к филерам.)*

Зубатов *(Азефу)*. Евстратий Павлович поднял московское отделение на небывалую высоту. Провинция, даже Петербург, выписывает от нас филеров на гастроли.

Медников *(филерам)*. Главное, — филер идет гуляя, филер не напирает; главное, чтобы вы, сволочи, помнили: звание филера — почетное звание, чтобы это на морде было написано. Инструкции на ночное дежурство все получили?

Голоса. Все, Евстратий Палыч.

Медников. Пошли. *(Филеры уходят. Медников гасит верхний свет.)*

Зубатов *(Азефу)*. Но, разумеется, наружное наблюдение — филеры, это только половина дела. Изнутри, вот что нам нужно поставить серьезно, — внутреннее наблюденьице. *(Хлопая себя по одному и по другому карману.)* Чтобы здесь у меня социал-демократы, здесь социалисты-революционеры, друзья сердешные. Хи-хи...

Медников *(зажигая лампу над столом)*. Пожалуйте. *(Зубатов и Азеф идут к столу, садятся. Азеф — спиной к публике.)*

Зубатов. Проморгали в Петербурге генерала-то, Евстратий?..

Медников. Проморгали, Сергей Васильевич.

Зубатов. Надо нам серьезно за дело приниматься, Евстратий.

Медников. Да, надо бы, Сергей Васильевич.

Зубатов *(указывая на Азефа)*. Евстратий, а ведь он больше нашего осведомлен, ей-богу...

Медников. Ничего нет удивительного, Сергей Васильевич.

Зубатов. Только все намекает, около ходит, а прямо не говорит, хи-хи.

Медников. Так что ж, Сергей Васильевич, сразу-то брякнешь,— как-то и не почтенно. Весу мало.

Зубатов. Весу мало. Дело тонкое. *(Азефу.)* Так вы говорите, что заветы народовольцев возрождаются? У партии крылышки подросли. *(Азеф кивает.)* Во главе индивидуального террора стоит Григорий Андреевич Гершуни? *(Азеф кивает).*

Медников. Сведения правильные.

Зубатов. Не торопись, Евстратий, не забегай. И он — личный друг Гершуни, он, Азеф. *(Азеф встает, прохаживается, снова садится к столу — большой, мрачный, сутулый.)* Перспективы открываются, Евстратий... Верите вы мне, Евно Филиппович, — ежедневно повторяю Евстратию и господам жандармским офицерам и в Петербург пишу: господа, вы должны смотреть на сотрудника, — в партии провокаторами их называют, правда, — так вот: смотрите на сотрудника, как на любимую женщину, с которою вы — в незаконной связи. Ведь такую — острее, ужаснее любишь. Один неосторожный шаг, и вы ее опозорите. Вы проваливаете сотрудника, — для него это гражданская, а то и физическая смерть. Любите его, берегите его, балуйте вашего сотрудника. Вдруг он перестает давать сведения, отходит. Правильно, правильно, — значит, наступил душевный перелом... Бережно отпустите его, расстаньтесь по-братски. Устройте его на легальное место, исхлопочите пенсию... Да что говорить, Евно Филиппович, я даже и революционеров люблю, как родных детей...

Азеф. Верю.

Зубатов. И вам опасаться нас не нужно. Идите к нам с открытой душой. С которого годка вы у нас работаете?..

Медников. С девяносто второго года... Скоро юбилей, Евно Филиппович.

Зубатов. Десять лет в незаконном браке... Верим. Любим. Всегда довольны. Всегда с восторгом читаю ваши письма. Но, родной мой... Время теперь подошло, — вот. *(Чиркает себя по горлу.)* Надо нам работу расширять. От обороны — к нападению. Ах, Евстратий... Представь... помысли только... Вот так же, скажем, беседуем мы втроем... И Евно Филиппович — глава эсеров, глава бомбистов, все динамитные мастерские у него в правой ручке... Красота-то какая?.. Свои люди... Вот бы нам так устроить. А?

Азеф. Нет... Не возьмусь...

Зубатов. Почему не возьметесь, почему?..

Азеф. Невозможно...

Зубатов. При ваших-то талантах, Евно Филиппович, невозможно... Бросьте... Берите отдельные группы эсеров, — северную, южную, томскую, москвичей. Объедините их, сплотите... Чтобы порядо-

чек, порядочек был. Центральный комитет за границей. Мы — здесь. Вы — душа и там, и тут. Красиво.

Медников. Большими деньгами около этого дела пахнет.

Зубатов. Да мы на голову встанем, раскошелимся...

Азеф. Попытку можно сделать при одном условии.

Зубатов. Ну-те.

Азеф. Полное доверие ко мне... Абсолютное...

Зубатов. Евстратий! А? Разве это не обидно слышать?

Медников. Кажется, Евно Филиппович, отказа в деньгах, али проверки ваших счетов, али в чем еще недоверия не замечалось...

Азеф. Я должен быть один в этом деле. Если раскрою провокатора — казню.

Зубатов. Правильно, правильно.

Азеф. Игра слишком опасна. Опыту департамента полиции я не доверяю. В Одессе виделся с госпожей Ц. Она сильно законспирирована. Пишу в Петербург, подчеркиваю: действовать нужно чрезвычайно деликатно. Через неделю ее арестовывают. Это почти мой провал.

Зубатов. Вот сволочи в Петербурге, Евстратий.

Медников. Сволочи, Сергей Васильевич.

Азеф. Кстати, в среду на прошлой неделе мне передавали, что Гершуни крайне стеснен, ищет денег.

Зубатов. Гершуни? Он здесь?

Азеф. Деньги ему нужны для организации покушения на уфимского губернатора Богдановича. Мне это удалось узнать с большим трудом.

Зубатов *(вынимает бумажник)*. Сколько денег нужно господину Гершуни?

Азеф. Семьсот рублей.

Медников. Тьфу, прости господи.

Зубатов *(вынимает деньги, они дрожат у него в руке)*. Миленький, сынок, а за это что?.. Получу-то что я за эти деньги?..

Азеф. Голову Гершуни.

Зубатов *(всплескивает руками)*. Умница... Понял, понял... Евстратий, он на место Гершуни метит во главу террористов...

Азеф. Разве я вам это сказал?

Зубатов. Ничего не говорил, да тебя здесь и нет, и не было. Евно Филиппович, ступай, делай по своему разуму... Безотчетно, бесконтрольно, доверяю, как самому себе... *(Обнимает.)* Иди, родной... *(В дверь вскакивает Девяткин.)*

Девяткин. Сергей Васильевич, к телефону из Петербурга...

Медников *(вскакивая, гасит свет)*. Куда прешь, конспирации не знаешь?

Бал-маскарад.

Бал-маскарад в клубе средней руки. Колонный зал. Музыка играет мазурку. Маски танцуют с увлечением. Время — за полночь. Есть уже пьяные, — показываются из дверей буфетной. На переднем плане, — направо, — столик, бутылка шампанского. Сидит Варя в бальном платье. Она — в тоске. Видимо, кружится голова. Ужас охватывает ее, отвращение. На первом плане появляются Настя,— девушка из веселого дома, и Софья Карловна, — содержательница этого дома. Настя одета маркизой. Все последующие сцены идут непрерывно одна за другой, но перемежаются музыкой и танцами. Сцены, как вспышки, в разных местах бала.

Азеф *(во фраке и полумаске, садится рядом с Рачковским)*. Разумеется, крайняя осторожность.

Рачковский. Будьте совершенно покойны.

Азеф. Я заинтересован.

Рачковский. И не напрасно. Вас не ценят. Ваши услуги должны оплачиваться втрое.

Азеф. Благодарю и не спорю.

Рачковский. Еще важнее: гибнет само дело. Департамент разгромлен, Плеве разогнал людей, работавших из-за идеи, из принципа, из любви к государю.

Азеф. Кроме того, он подозрителен.

Рачковский. Подозрителен, жаден, самоуверен и глуп. Он метит в диктаторы. Для России Плеве вреднее, чем десять боевых организаций.

Азеф. Для меня это ново. Вы меня смущаете.

Рачковский. Я человек с сердцем. Я понимаю, молодые, горячие головы бунтуют. Покарай, но стремись устранить причину недовольства. Он думает подавить брожение одними виселицами да еврейскими погромами. Я поседел, думая об этом... Жаль Россию, жалко государя.

Азеф. Стало быть, люди, которых я любил, которые верили в меня, как в бога, благороднейшие, святые, идеалисты... Все, кого я с такою мукой принес в жертву во имя блага государства... Все это напрасно?.. Даром!.. А мне кто заплатит за мои страдания?.. Душа дьявола светлее, чем моя... И все это напрасно, даром?..

Рачковский. Не горячитесь, мой благородный друг. Все поправимо. И ваши страдания, и ваши жертвы воссияют на алтаре отечества...

Азеф. Поправимо? Не понимаю.

Рачковский. Нужно дать свободу историческим событиям.

Азеф. Яснее.

Рачковский. Предположим... Я ничего не знаю... Для примера... Министр по средам, — так около десяти утра, — ездит на Гага-

ринскую к госпоже Даненко, красивой женщине. А по четвергам в тот же час ездит на Варшавский вокзал...

Азеф. Среды и четверги, около десяти... Это регулярно?

Рачковский. Я хочу сказать, — когда человек возбуждает к себе такую ненависть, как можно поручиться?.. Окружи его хоть десятью тысячами филеров. Вывернется горячая голова... С бомбочкой... Я ведь в душе историк и фаталист...

Азеф. Я — тоже...

Рачковский. События кого должны вынести... Во главе департамента?.. Меня-с... История... Железная логика... А тогда — либеральнейшие реформы... А денег на святое дело — не жалеть... Деньги — рекой...

Азеф *(проходящей мимо толстой русалке)*. Да вот он я... Чего ты ищешь?.. Пойдем. *(Обхватывает ее, уносится в танце.)*

Рачковский. Человек, счет. *(Платит по счету, затем уходит.)*

Азеф *(появляется на хорах, лицо его искажено, возбуждено)*. Хитрит. Чорт его знает... Прямое указание... Среда и четверг... Среда и четверг... Если рискнуть?.. Могущество какое... А если он только испытывал? Не сказал ли я?.. Все было тонко... Я ничего не обещал... Зачем хитрить ему?.. Выгода прямая... Он — в начальники и деньги — рекой. Дать волю организации, самому установить алиби за границей... Приятно, когда жирная скотина, погромщик, взлетит на воздух... Нет... Все равно, — я в руках Рачковского... Арест, и без суда на виселицу... Бежать к министру, донести? Нет... Не поверит... Лишние подозрения... Фу, чорт... Убить, или не убивать? Не понимаю... Орел или решка, орел или решка, орел или..? *(Скрывается.)*

Азеф *(проходящей мимо Насте)*. Душка... У меня есть одно дельце. *(Вынимает из кармана рубль.)*

Настя. Торговое?

Азеф. Ты угадала, дитя улицы, — именно, торговое. Я не могу решить... Взять товар, или не брать. Решай... *(Кладет рубль на стол, закрывает ладонью.)* Если орел, — убью... капитал. Решка, — пойду, скажу — берите сами... Ну... Угадывай... Дело крупное...

Настя. Постой, выпью... *(Пьет. Азеф оборачивается и видит человека одетого, как Плеве, в маске. Азеф вздрагивает. Человек глядит на него.)*

Азеф. Дурак... Сними маску...

Петренко. Это я. Совершенно конспиративно. Тут мы хотим задержать четверых. Подозрительные.

Азеф. Здесь никого подозрительных нет. Дурачье. Иди спать. Проспись.

Петренко. Виноват. *(Отходит.)*

Азеф *(Насте)*. Ну... Орел или решка?..

Настя. Орел...

Азеф *(поднимает руку, глядит на монету)*. Орел. Ты угадала. *(Хрипит, выкатив глаза на Настю.)* Орел. Ты ведь сказала орел?.. Так тому и быть...

Папиросник.

Набережная Фонтанки. Слышен полицейский свисток, — бегут, оборачиваясь, беспатентные торговцы: — две, три бабы с яблоками, мальчишка с папиросами, мужик со щетками и игрушками.

Петренко. *(Он в форме околоточного, на груди — медали.)* Я вас, бродяги... Попадитесь мне еще... Желтоглазые... *(С противоположной стороны идет Девяткин; он, как и раньше,— в штатском.)*

Девяткин. Афанасию Ивановичу, с добрым утречком.

Петренко. Здравствуй, Девяткин.

Девяткин. Поздравляю, Афанасий Иванович, с высоким чином.

Петренко. Спасибо.

Девяткин. Грудь ваша сверкает, как иконостас, Афанасий Иванович.

Петренко. Н-да, сверкает ничего себе.

Девяткин. Отчего мне такого счастья нет, Афанасий Иванович?

Петренко. Потому что ты не обстоятельный человек. Пьяница,— это первое, плохой семьянин, озорник, ера, и дальше тебе заурядного филера не пойтить.

(Проходит степенный разносчик, на лотке — папиросы, кошельки, гребни. Это — Каляев.)

Девяткин. Нет, Афанасий Иванович, я решил эти все глупости бросить, начну запрещенные книги читать, мечтаю поступить в партию социалистов-революционеров провокатором.

Петренко. Выдержки в тебе мало.

Девяткин *(кивнув Каляеву)*. Поди сюда. *(Каляев поспешно подходит.)* «Одалиску» за пятнадцать.

Каляев. Пожалуйте.

Петренко. И папиросы-то не обстоятельные куришь, — «Одалиску». В твоем убогом состоянии надо курить «Трезвон».

Девяткин. Слабость, Афанасий Иванович. До свиданьица.

Петренко. Прощай. *(Девяткин уходит. Петренко сурово глядит на Каляева.)* Патент есть?

Каляев. Как же, имеется, васокородие. *(Поспешно достает патент.)* Я здесь постоянный. Не откажите,—«Дюшес», высший сорт. *(Подает папиросы, Петренко кладет их в карман.)*

Петренко. Новое правило, соблюдать строжайше, запомни: уличный продавец с лотка должен находиться в непрерывном движении.

Останавливаться запрещено, кроме, как для примеру: подходит к тебе покупатель, требует папирос. *(Берет с лотка четыре коробки «Дюшес», кладет в карман.)* Тут можешь остановиться, но деньги получил и — пошел. Понял пример?

Каляев. Понял, вашесокородие. Я и то все на ходу. Ну, разве остановишься перекинуть лоток на другое плечо.

Петренко. Это дозволяется, но не стоять.

Каляев. Покорно благодарю, — научили, вашесокородие.

(Появляется обыватель.)

Обыватель. Спешно... Папиросы... Коробку «Ада».

Каляев *(подает)*. Купите, барин, портсигарчик, тисненый,— Скобелев — белый генерал.

Обыватель. Отстань. *(Возвращается.)* Впрочем, давай сюда,— сколько?

Каляев. Тридцать копеечек, без запроса.

Обыватель. Для подарка. Понимаешь? Все-таки что-то привез из столицы. *(Уходит.)*

Петренко. Ты сам, что же, деревенский?

Каляев. Третий месяц в Питере торговлишкой занимаюсь. Не столько выгодно, сколько интересно. Все глаза проглядишь. Что ни человек — то генерал, али полковник.

Петренко *(засмеялся)*. Вот дурак. Деревенщина. Нет, в столице много лиц и чинами ниже, не все генералы.

Каляев. А я так всех за генералов почитаю, не поспеешь кланяться. Ну, вон, вашесокородие, карету подали. *(Показывает рукой.)* Быть не может, чтобы не генералу.

Петренко. Да, в этой карете не то что генерал ездит, а поднимай выше.

Каляев *(испугался)*. Кто же? Да неужто... *(Снял шапку, перекрестился.)* Сам царь?..

Петренко. Царь не царь, а министр.

Каляев. Господи, вот привелось.

Петренко. А кучер его, — видишь, — сюда идет, — Василий. Шесть министров возил. Ты с него денег не бери.

(Входит Василий, кучер Плеве.)

Василий. Десяток первого сорту.

Каляев. Пожалуйте, Василий Васильевич, выбирайте.

Василий. Ты неправильно величаешь. Величать меня Петровичем.

Каляев. Запомню. Извините, Василий Петрович, деньги я уж получил.

Василий. Ну, ладно.

Каляев. Мы тут в самых лучших обстоятельствах, Василий Петрович. Местечком очень дорожим. Вы уж, если что, с козел только кивните, — я подбегу.

Василий. Ладно, парень. *(Уходит.)*

Петренко *(Каляеву).* Ну, пошел, пошел, двигайся. *(Каляев отходит.)*

Каляев. Папиросы, гребешки, портсигары, карандаши разные, бритвы и прочие принадлежности...

(Входит Медников, в фуражке, с портфелем.)

Медников. Это еще что? Лотошники? *(Петренко.)* Не знаешь последнего распоряжения!.. Никаких — с лотками. Очистить набережную. Свисти дворника. Этого в участок. *(Проходит.)*

Петренко *(свистит).* Подожди, малый. *(Каляев останавливается.)* В участок тебя отведут...

Каляев. Вышесокородие... За что?

Петренко *(рассердился).* Не твое дело. Не рассуждать. Велено. *(Появляется дворник.)* Отведи в часть. *(Указывает на Каляева, уходит.)*

Дворник *(Каляеву).* Идем.

Каляев. Да пойти-то я пойду, друг.

Дворник. Поворачивайся.

Каляев. Неохота. Торговля хорошо идет, — продержат в клоповнике до вечера, а ведь товар сохнет. Землячок, возьми целковый? *(Подает рубль.)* Больше бы дал, не наторговал еще. Да за мной будет целковый, ей-богу... Милое дело...

Дворник *(берет деньги).* Ну, иди, сукин сын, — только больше не попадайся.

Каляев. Спасибо, милый. Запомню. И ты меня запомни.

Выбор метальщика.

Там же. Ночь. Фонарь. По ту сторону реки слышен рояль. Каляев с лотком останавливается у решетки, слушает.

Каляев. Бетховен... Да, да... Снежные вершины... Гармоническая буря... Изливается великая, добрая красота... Освобожденный мир. Прекрасная будущая жизнь... Ах, это там, где открыто окно. Женщина, одна. А внизу ходит филер. А — вон его высокородие Петренко интересуется, — кто это играет так поздно... Какая мерзость... Грязь. Убожество, мрак... *(Опять музыка.)*

Душно. Без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна,
Буря бы грянула, что ли,
Чаша с краями полна.
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенного горя
Всю расплещи.

Грянуть, взорвать, расплескать проклятый покой, черное, каменное царство...

(Входит Павел Иванович.)

Павел Иванович. «Дмитрий жив и здоров».

Каляев. «Дмитрий жив и здоров».

Павел Иванович *(громко)*. Ну-ка, — папиросочек.

Каляев. Пожалуйте, барин.

Павел Иванович. Сейчас должно все решиться.

Каляев. Назначен день?

Павел Иванович. Да. Четверг на будущей неделе.

Каляев. Наконец-то...

Павел Иванович. Место казни, — близ моста через Обводный канал на Измайловском проспекте. Между десятью и половиной одиннадцатого утра Плеве проедет на вокзал.

Каляев. Где передача бомб?

Павел Иванович. Бомбы привезет Швейцер в половине десятого на Торговую улицу за Мариинским театром. Там он передаст три снаряда, — две бомбы по шести фунтов и одну большую в двенадцать...

Каляев. Большую мне, прошу тебя.

Павел Иванович. Первого метальщика с большим снарядом назначит Иван Николаевич. Он сейчас должен подъехать. Затем, получив снаряды, вы сходитесь в церковном саду Большого Покрова на Садовой. Там буду я ждать. От Покрова я вас направлю на места на Измайловский и на Обводный. *(Слышно, подъехал извозчик.)*

Голос Сазонова. Пр-р-ру, любезный.

Голос Азефа. На.

Голос Сазонова. Прибавьте, барин.

Голос Азефа. Хватит.

Павел Иванович. Это Сазонов привез Ивана Николаевича. Завтра утром Сазонов продает лошадь и пролетку и уезжает в Тверь. Он вернется только в четверг с поездом в восемь утра. Ты уезжай послезавтра в Лугу, вернешься с поездом в десять утра. Все точно рассчитано. Ну, Янек, в четверг будет игра. Ты счастлив?

(Входит Азеф.)

Азеф. Еще одна деталь. Этого я требую безусловно. Если Плеве будет убит, — все участники должны утопить свои бомбы и немедленно покинуть Петербург.

Павел Иванович. Будет сделано.

Азеф. Убить во что бы то ни стало... Не щадить себя... Если в четверг Плеве останется жив,—я ни за что не ручаюсь... *(Прислоняется к решетке.)*

Павел Иванович. Что с тобой, Иван?

Азеф. Лихорадка... Жар... Чорт знает что такое... У меня, кажется, галлюцинации... Ты никого не видишь? В воротах?..

Павел Иванович. Успокойся, это тень...

Азеф. Дорогие товарищи, неприятные известия... Из Варшавы... Страшная тревога в Варшавском комитете... Ждут арестов... Мне необходимо ехать... Это ужасно.

Павел Иванович. Как, в четверг тебя здесь не будет?

Азеф. Я еду в Варшаву завтра.

Каляев. Справимся и без него.

Азеф. Самоуверенности больше всего боюсь. В особенности поэзии.

Каляев. Я доказал на деле, что умею работать.

Азеф. Спокойно подойти, когда карета мчится, и бросить под нее двенадцатифунтовый снаряд дело мужчины. Мечтатели тут опасны. Я не могу покойно уехать, покуда бомба не будет в надежных руках.

Каляев. Иван Николаевич, я могу нарушить дисциплину, я могу наговорить вам страшных слов...

Павел Иванович. Иван, зачем ты его обижаешь?..

Азеф. Опять чувствительные разговоры... Может быть, поплачем втроем...

Каляев. Я буду бросать бомбу.

Азеф. Нет... *(Несколько раз кашлянул, слышно, как с козел спрыгнул извозчик.)* О нарушении товарищем Каляевым дисциплины я буду говорить в ЦК. *(Входит Сазонов, одетый извозчиком, с кнутом.)*

Сазонов. Барин, прибавьте полтинничек.

Азеф *(Сазонову)*. Метальщиком будешь ты.

Сазонов. Янек, я с тобой спорил, что я буду метать. Знаете, товарищи, я прямо последнее время спятил... Привязались мысли... Лягу спать, глаза заведу, — и полезли... Будто призраки какие-то, — окровавленные, повешенные, замученные... В уши кричат, — иди убей Плеве... Покою нет. Хорошо, что скоро теперь конец. *(Азефу.)* Больше ничего?

Азеф. Окончательные указания получишь завтра от него. *(На Павла Ивановича.)*

Сазонов *(голосом извозчика)*. Благодарю вас, барин хороший *(Идет к лошади.)* Эх, овес-то нынче по руп двадцать пудик... Да сам прокормись, да в деревню пошли... *(Ушел.)*

Павел Иванович *(Азефу)*. Ты совсем отстраняешь Янека?

Азеф *(закуривает, отходит)*. Нет, пусть стоит с бомбой на случай... Мне в Варшаву телеграфировать до востребования. Явка там же, где и раньше. *(Ушел.)*

Павел Иванович. Янек, не сердись на него. Он слишком волнуется. В самом деле, — разве по физической силе тебя можно сравнить с Егором? Но уж в следующую казнь, — первую бомбу — тебе...

Каляев. Подожди... Тише... *(Слышен стук кареты и топот лошадей.)* Это карета Плеве... Он сам... Ты видишь? Гля-дит на нас... Какое страшное лицо... *(Слышно, как совсем близко проносится карета.)*

Карета министра.

Часть вестибюля. Огромный колонный подъезд. Сквозь двери видна часть улицы и, впоследствии, верх подъехавшей кареты. В дверях ливрейный швейцар с булавой.

(Входит с улицы Девяткин, в руках у него пакетик с вишнями.)

Девяткин. Министр еще не выходил?

Швейцар. Куда прешь, ну, куда прешь в парадный подъезд?

Девяткин. Я сегодня в охране. *(Плюет косточки на пол.)*

Швейцар. Куда плюешь, сволочь, в руку должен плевать. Поскользнется еще кто, — я отвечай. *(Девяткин подобрал с пола косточку.)*

Девяткин. Вишенек, Алексей Егорыч, не желаете?

Швейцар. Ей-богу, в зубы тебе дам булавой. Смотри — наследил. Вытри.

Девяткин. Это я, Алексей Егорыч, где-то сегодня втоптался. *(Вытирает следы платком.)* Походил свое. Будет, — с той недели перехожу на секрет.

Швейцар. Лисицей от тебя воняет. Уходи из вистибула. Ей-богу пожалуюсь министру.

Девяткин. Сегодня на улице, Алексей Егорыч, двадцать шесть градусов в тени.

(Послышались шаги и голоса. Девяткин юркнул на улицу. Справа входят Медников и личный секретарь министра, за ними Плеве. Он нахмурен. Идут молча, быстро. Вдруг Плеве остановился, поднял голову. Остановились впереди него Медников и секретарь. Смотрят на министра.)

Плеве. Какой сегодня день?

(Медников и секретарь изумленно переглянулись.)

Швейцар. Четверг, ваше высокопревосходительство, святых Трифона и Аверяна, преподобного Сатира и великомученицы Иулии.

Плеве. Что?..

Медников. Четверг-с

Секретарь *(с улыбкой)*. Четверг. Честное слово.

Плеве. Да... Это странно...

Секретарь. Сегодня высочайший доклад, куда вы и следуете, ваше высокопревосходительство. Докладная записка и материалы в вашем портфеле, — все в порядке.

Медников. Три агента, — Девяткин на велосипеде, Гартман и Бутылкин на одиночке, как обыкновенно, все в порядке.

Плеве. Да... Очень, очень странно... Я что-то другое хотел спросить... *(Секретарю.)* Что?..

Секретарь. Ваше высокопревосходительство, очевидно, хотели спросить — какая погода сегодня?

Плеве. Да... Именно... Какая сегодня погода?

Швейцар. Двадцать шесть градусов в тени, ваше высокопревосходительство.

Медников. Удушающая жара-с.

Плеве. Удушающая?

Секретарь. Видимо, собирается гроза.

Плеве. Гроза... Да... вспомнил... я хотел спросить — который час.

Швейцар. По пушке — без семнадцати минут десять, ваше высокопревосходительство.

Плеве. Пора. *(Идет и сейчас же почти падает. К нему подскакивают все трое.)* Ах... Ах... Я поскользнулся.

Медников. Наступили на вишневую косточку...

Швейцар. Ваше высокопревосходительство, нехорошо... Не ездили бы сегодня со двора.

Плеве. Косточка? *(Медникову.)* Покажите... На каком основании здесь косточка? *(Швейцару.)* Как ты смеешь пускать сюда с косточками? Кто подсовывает мне под ноги косточки, — хотел бы я знать?!. Болван!.. Молчать!.. *(Всем.)* Распущенность... Неряшество... Грязь... Интриги... Чтобы я сломал себе ногу... Вы этого добиваетесь?

Медников. Сегодня же произведу самое строжайшее расследование.

Плеве. Подите сюда. *(Медников к нему подскакивает.)* Я желаю спросить. *(Едва сдерживаясь, смотрит ему в глаза.)* Где Азеф? Почему я его не вижу? Что за непроницаемые тайны? К четырем часам сегодня... найти... привести его... хотя бы под конвоем...

Медников. Ва... ва... ва...

Плеве. Что?

Медников. Азеф в Варшаве.

Плеве *(отступил)*. В Варшаве? Вы уверены в этом? Вы не сошли с ума? Кто его отпустил? Каким образом он мог попасть в Варшаву, когда он при охране меня?..

Медников. Он представил для поездки веские основания.

Плеве. Милостивый государь, мне это все начинает не нравиться... *(Берет его за лацкан, смотрит в глаза.)* Что это? Заговор? *(У Медникова подогнулись коленки.)*

Секретарь. Ваше высокопревосходительство, без четверти десять, вы рискуете опоздать на поезд. Высочайший доклад ровно в одиннадцать.

Плеве. Что? Я опоздал? *(Оставил Медникова. Секретарю.)* Это ужасно... *(Стряхнул оцепенение, взглянул на часы.)* Боже мой... Карету!

Секретарь. Карету!

Швейцар. Карету его высокопревосходительству!

Медников *(уже выскочил из подъезда)*. Василий, карету!..

(Слышен голос кучера, топот лошадей, грохот колес. Карета подкатывает.)

Плеве *(закрыв глаза)*. Господи, помоги. *(Крестится, сходит, его провожают, подсаживают в карету.)*

Швейцар. Благополучного путешествия, ваше...

Плеве *(резко обернувшись)*. Болван...

Секретарь. Пшел. *(Карета пошла.)* До свиданья. *(Возвращается, уходит направо, напевает.)* Я — поросенок, и не стыжусь, я поросенок, и тем горжусь, моя маман была свинья, похож на маму очень я...

Медников *(швейцару)*. Алексей, подай стакан воды, я, кажется, с ума сошел...

Казнь.

Широкие ворота с колоннами. Сквозь ворота Измайловский проспект, мост через Обводный канал. В воротах стоит Павел Иванович в легком пальто, в панаме, читает газету. Вынимает часы, в сдержанной тревоге оглядывается.

(Появляется Петренко. Озабочен.)

Петренко. Дворник! Ах, бездельники! ах, лодыри! Дворник!

Дворник *(появляется с метлой и совочком)*. Здесь, вышескородие.

Петренко. Не знаешь, что сейчас должен проехать министр! Вся улица загажена. Кто здесь гадил?..

Дворник. Только что ломовики стояли, я прогнал, не успели убрать.

Петренко *(указывает на улицу)*. Подбери. *(Дворник идет, подбирает, скрывается. Петренко слегка козырнул Павлу Ивановичу.)* Простите, который час?

Павел Иванович. Без трех десять.

Петренко. Мерси. *(Весь подобрался, пошел, скрылся за воротами.)* Эй, ломовой, куда прешь, поворачивай!

Павел Иванович. Ну, что же... *(Идет Каляев, в правой руке, в платочке, сверток.)* Янек, пора.

Каляев. Пора?

Павел Иванович. Иди. Станешь на мосту. Смотри, только тогда бросай, если Егор промахнется.

Каляев *(подходит к нему, наклоняет голову)*. Поцелуй меня.

Павел Иванович. Прощай. *(Целует его.)*

Каляев. Прощай. Мне легко. *(Пошел через ворота, свернул к мосту, скрылся.)*

Дворник *(возвращается с метлой и совком)*. Лошадь нагадила, — дворник виноват. Их тысячи, что я — бегай за каждой, мети. Сам побегай, чорт толстопузый. *(Уходит.)*

Павел Иванович. Наконец-то! *(Входит Сазонов в форме железнодорожного чиновника, под мышкой большой сверток, завернутый в бумагу.)* Егор, с минуты на минуту — он проедет.

Сазонов *(остановился, поглядел наверх, лицо спокойно, серьезно)*. Помоги.

Павел Иванович. Что?

Сазонов. Затекла рука. Помоги взять в правую. *(Павел Иванович помогает ему взять сверток из правой руки в левую.)*

Павел Иванович. Не урони.

Сазонов *(выпрямился, высоко поднял голову, слушает. Издалека слышен налетающий шум лошадей и кареты)*. Едет... *(Он пошел через арку.)*

Павел Иванович. Скорее...

(Сазонов пошел направо, скрылся. Шум кареты совсем близко. Рядом. Сазонов опять появился. Лицо его — с разинутым ртом. Обеими руками он поднял сверток. Бросил. Взрыв. Грохот. Темнота. Огонь. Задребезжали стекла. Тишина. Издалека сдавленный крик. Снова светло. Видны дымящиеся остатки кареты. около лежит Сазонов, опершись на левую руку. Лицо в крови. Затем около него появляются с изуродованными от ужаса лицами Девяткин и два филера.)

Девяткин. Бей его!

Сазонов *(силясь подняться)*. Да здравствует Боевая Организация! Долой самодержавие! *(Сыщики кидаются на него. Подбегает Петренко.)*

Петренко. Господа, господа, разойдитесь... *Павел Иванович закрывает лицо рукой и отходит, сбегается толпа, крики: «Министра убили!.. Осторожнее, сейчас вторую бомбу бросят!.. Собаке собачья смерть!.. Убили, ура!.. Разойдитесь!..». Шум толпы растет, — похож на грозный прибой волн.)*

Год спустя.

Кабинет в шикарном ресторане в Петербурге. Направо и налево двери, скрытые портьерами. Прямо широкая стеклянная дверь. За ней виден зал ресторана, где проходят блестящие офицеры, женщины в вечерних платьях. Впоследствии за один из столиков садится Рачковский. Играют румыны. В кабинете сидит Азеф, мнет угол у скатерти. Мрачен, опух. Перед ним бутылка шампанского.

Азеф *(проходящему за дверью лакею)*. Человек! *(Лакей появляется.)* Что эти дураки там кота хоронят?.. Скажи, чтобы играли веселое.

Лакей. Слушаюсь!

Азеф. Подожди. Должна притти одна дама. Спросит Гастона Леви. Проведешь ко мне.

Лакей. Слушаюсь. *(Уходит.)*

Азеф *(наливает вино, бутылка пуста, он швыряет бутылку под стол)*. Чорт! Человек! *(Лакей появляется.)* Не видишь разве, что нет вина?

Лакей. Виноват! Того же самого? *(Ушел.)*

Азеф *(встает, заглядывает за одну боковую портьеру, за другую, садится. Лакей приносит вина).*

Лакей. Кушать что будете?

Азеф. Подождешь.

Лакей. Слушаюсь!

Азеф. Гурьевскую кашу приготовишь. Как можно больше цукатов и миндалю.

Лакей. Слушаюсь. *(За дверью появляется Варя под вуалью.)* Они-с?

Азеф. Да. Убирайся. *(Лакей впускает Варю, уходит.)*

Варя. Гастон!

Азеф. Вы опоздали?

Варя. Зачем вы так рискуете? Пока я шла через залу... Тысячи глаз щупали... Здесь филеры, я уверена... Вы — так открыто, на виду.

Азеф. Почему у вас заплаканные глаза?

Варя. Разве вы забыли, Иван Николаевич?.. Сегодня ровно год, как повешен Янек.

Азеф. Годовщина Каляева. *(Грызет миндаль.)* Покойник меня терпеть не мог. Да, да. Нехорошо, когда поэтов вешают. А знаете, — в Москве по крышам собирали мозги великого князя. Мизинчик на университете нашли. Отлично его угостил Янек. Кстати, я выяснил: Каляева можно было легко спасти. Он даже и не упал после взрыва. Подхватить на лихача, на вокзал, за границу. Невдомек было. Напрасно пожертвовали человечком. *(Варя глухо зарыдала.)* Этого совсем не нужно. Я вас позвал не для переживаний в стиле Надсона. Вам известно, что у нас за последнее время целый ряд провалов. Ни одно дело я не могу довести до конца. Аресты и казни. Восемнадцать повешенных...

Варя. Иван Николаевич... Я не могу больше вести эту омерзительную жизнь... Товарищи гибнут... Революция гибнет...

Азеф. Революция сорвалась. Наступает черная ночь... Фу, чорт, эти румыны все жилы из меня вытянули...

Варя. Я сойду с ума... Конспиративная квартира давно уже никому не нужна... Иван Николаевич. Целыми днями, разряженная, как кукла, брожу по этим проклятым комнатам... Ночи без сна... Призраки погибших товарищей... Это хуже тюрьмы... Освободите меня... Как на счастье пойду на самое опасное дело, на смерть...

Азеф. Вы кончили? У нас не растрепанной осталась, в сущности, одна группа Зильберберга. Самая сильная, самая боевая. Так вот, — я боюсь арестов...

Варя. Ареста Зильберберга?

Азеф. Я не напрасно бываю в этом ресторане. Здесь можно коечто слышать в замочные скважины. С часа на час нужно ждать ареста. Его намерены схватить на улице. Вы одна можете его предупредить. Пусть он едет на Николаевский вокзал и ждет меня у телефонной будки... Если будет малейшая возможность, я вызову его под именем Штифтара.

Варя. Поняла, поняла. *(Поспешно встает.)*

Азеф. Все это — спешно, экстренно. Ступайте. Я боюсь, что будет поздно. *(Варя надевает шубку. Азеф стоит, грызет ноготь.)* А если мы уже опоздали? Его арестуют... Варя... Я устал... Я не могу больше бороться... Варя, вы бы уехали со мной в Америку, в Аргентину?.. К чорту на рога... Где можно забыть все... Уйти от крови...

Варя. Если вы шутите так, — вам должно быть стыдно, Иван Николаевич... Нет... Серьезно вы этого сказать не могли... Бросить товарищей... Борьбу... Когда позади столько смертей... Столько казней... Я бы не допустила вас...

Азеф. Застрелили бы?

Варя. Иван Николаевич, я вас люблю... Я вас люблю, как женщина... Я не могу, чтобы вы упали... *(Входит лакей.)*

Лакей *(Азефу)*. Вам записка.

Азеф *(Варе)*... Так до свиданья, моя дорогая. *(Варя уходит. Азеф лакею.)* От кого?

Лакей. А вон старичок сидит. *(Показывает на Рачковского.)*

Азеф. Отнеси ему бокал шампанского. *(Лакей уносит Рачковскому стакан вина.)* Люблю, как женщина... Откуда прыть взялась... *(Глядит в зеркало.)* Ну, что ж... Ничего удивительного... И побежишь, милая, петушком.

Рачковский *(входит сбоку, из-за занавеси)*. Вы продолжаете настойчиво пить Ирруа деми сек. Уверяю вас, мой молодой друг, что это плохая марка. Я не притронулся к бокалу, который вы мне послали.

Азеф. Напрасно, он не был отравлен. *(Закрывает одну половину занавесом.)*

Рачковский. Осторожность никогда не мешает.

Азеф. С каких это пор вы стали со мной осторожны, ваше превосходительство?

Рачковский. После случая с великим князем Сергеем Александровичем.

Азеф. Раз навсегда кончим этот разговор. В убийстве великого князя я не замешан. Я предполагал, да. Предупреждал московскую охранку, — да. Каляев действовал на свой страх и риск. Да и вообще мне все это надоело. Я порываю все связи, бросаю работу в полиции... Я устал. Уезжаю.

Рачковский. Куда?

Азеф. В Аргентину.

Рачковский. Значит, — круги смыкаются?

Азеф. Да, смыкаются. Я едва выскочил живым после доноса из вашей канцелярии про инженера Азиева...

Рачковский. Голубчик, Евно Филиппович, ну — нехорошо... Вы уверяете, что донос шел от чиновника Меньщикова, — я его выгнал... Мне-то какой расчет проваливать самого ценного сотрудника?

Азеф. Какой расчет? Арифметика... Покуда партия сильна, покуда я выдаю ценных людей, — я нужен... Вы меня ватой обкладываете, как младенца в колыбели... Боевая организация разбита, партия наполовину ослаблена выдачами... Такой головой, как моя, можно пожертвовать, чтобы вместе со мной разгромить на смерть одним ударом всю партию.

Рачковский. В мою честность, в благородство не верите?

Азеф. Нет.

Рачковский. Правильно. Но — логическая ошибка. Вы слишком горячитесь. Вы нам еще добрый десяток лет будете нужны, Евно Филиппович, батюшка... Есть тонкий проект... Если бы вы согласились сдать несколько революционные позиции и перейти, скажем, в партию кадетов. Милюков плакал бы целые сутки слезами счастья, глядя на вас. А там и депутатом в Думу. Работа тихая, благородная...

Азеф. Ну, а деньги-то вы все-таки с собой принесли?

Рачковский. Я без денег из дому не выхожу, Евно Филиппович.

Азеф. Мое последнее слово, — я хочу кончить эту канитель с Зильбербергом. Вы его без меня не возьмете. Я его вам не отдам за месячное жалование. Сегодня, может быть, моя жизнь ломается...

Рачковский. Что же, — давайте кончать, давайте, давайте...

Азеф. Я сказал и — точка, ваше превосходительство. Зильберберг вам нужен, а не мне... *(Кричит.)* Человек!

Рачковский. Дороговато спрашиваете, Евно Филиппович, — к вам и подступиться страшно.

Азеф. Я не арап. Я спрашиваю настоящую цену. А вы знаете, что такое Зильберберг?

Лакей *(входит)*. Что изволите?

Азеф. Подай гурьевскую кашу.

Лакей. Готова-с! *(Уходит.)*

Рачковский. Вам выгодно, — само собой, — представить его змеем горынычем с преужасной пастью, изрыгающей дым и пламя... Боюсь, что ваш Зильберберг окажется безобиднейшим еврейчиком... А денежки-то заплочены...

Лакей *(входит с кашей)*. Пожалуйте. *(Ставит, уходит. Азеф ест.)*

Азеф. Не хотите, не надо.

Рачковский. Евно Филиппович, вы получаете семьсот пятьдесят рублей в месяц, это губернаторское жалованье. Кроме того — наградные к Пасхе и Рождеству по двести пятьдесят рублей. Да премии за серьезные выдачи. В хороший год тысяч пятнадцать наберется. А с той стороны разве монета не перепадает?

Азеф. Чувство порядочности не позволяет мне брать у партии ни одной копейки.

(Рачковский молча начинает смеяться.)

Азеф. Каши хотите?

Рачковский. Любуюсь вами, люблю.

Азеф. Мне это сегодня уже говорили.

Рачковский. Посему, — вот. *(Кладет на стол деньги.)*

Азеф. Сколько?

Рачковский. Пять тысяч.

Азеф. Двадцать пять тысяч

Рачковский. Так... до свиданья.

Азеф. Мое почтение. *(Протягивает руку.)*

Рачковский. Вы просто с жиру сбесились, с ума сходите.

Азеф. Мне кажется, — вы с ума сходите, ваше превосходительство. Группа Зильберберга, совершенно автономная, работает в одном направлении: убийство государя императора. У меня есть доказательства. *(Рачковский изменился в лице, сел.)* Покушение должно быть в ближайший срок. Оно будет, чорт возьми! Вы не знаете Зильберберга. Мне кажется — вас мало устраивает, если, скажем, в департаменте станет известно, что вы торговались из-за каких-то двадцати тысяч за голову государя...

Рачковский. Хорошо. Я передам вам деньги, когда буду сам держать за пиджак Зильберберга.

Азеф. Позвольте..

Рачковский. Молчать... Вы получите двадцать пять тысяч в этом кабинете.

Азеф *(идет к телефону)*. Алло! Дайте Николаевский вокзал... Петр Иванович, нельзя же его брать здесь, при мне... Верный мой провал. Он даст знать из тюрьмы.

Рачковский. Он не даст знать из тюрьмы...

Азеф. Это кто?.. Дежурный?.. Пожалуйста, здесь дожидается моего телефона один господин... Моя фамилия Гастон Леви... Попросите его к аппарату... *(Рачковкому.)* Все равно, — это слишком опасно... Пошлите сыщиков на Николаевский вокзал, пусть арестуют при выходе, на площади.

Рачковский. Зильберберг будет схвачен в этой самой комнате, закован и послезавтра повешен по приговору военно-полевого суда...

Азеф *(хрипло)*. Даете честное слово, что послезавтра он умрет?

Рачковский. Даю.

Азеф. Алло! Это вы, Штифтар?.. Говорит Гастон Леви. Да, тут нужно провести небольшую партию сырцового шелка... Я сейчас у Донона, третий кабинет. Пожалуйста, возьмите лихача, — гоните, дорогой. Спросите у швейцара... Он проведет... До скорого... *(Вешает трубку.)* Меня также нужно арестовать при нем... Пусть даже бьют.

Рачковский. Кто это — Штифтар?

Азеф. Так — один.

Рачковский. Я спрашиваю — кто Штифтар?

Азеф. Он.

Рачковский. Занавесьте эту дверь. Я буду наготове здесь. *(Показывает на боковую дверь.)* Знаком будет, когда вы крикнете: «Человек, карточку заграничных вин»... *(Ушел.)*

Азеф *(один, ходит)*. Двадцать пять тысяч... Сорок в Лондоне... Шестьдесят в Берлине... И — стоп... Пусть это последнее... Последнее... Последнее... И похороним все... Чорт найдет в Аргентине... *(В полураскрытую дверь заглянула Настя.)*

Настя. Гастончик, ты один? Здравствуй!

Азеф. Кто?

Настя. Ты не один, что ли? Я не зайду. Знаешь, Гастончик, а я разбогатела, богатеющая стала... Живу с одним помещиком, — ну, такой дурак, влюбился. Приходи в седьмой кабинет, познакомлю. Одел меня, как куклу, я даже удивляюсь. За границу меня берет. Говорю, — прямо блаженный... Приходи.

Азеф. Настя...

Настя *(вернулась)*. А?

Азеф. Настя. *(С дикой жадностью целует ее в губы. Она испугалась, вырвалась.)*

Настя. Этого я совсем не люблю. Даже нахально. Эх, распух ты, милый. Живешь нехорошо. *(С гримасой исчезла за дверью.)*

Азеф *(задергивает занавеси на двери. Берется за голову. Крутит головой. Берет со стола бутылку, поливает голову. В дверь стук)*. Да, войди!

Лакей *(входит)*. Вас господин спрашивает.

Азеф. Проси. *(Лакей уходит.)* Последний... Последний...

Зильберберг *(входит. У него бородка. Одет в дорогую шубу)*. Иван Николаевич, что это значит? Варя передала мне, что...

Азеф. Дорогой мой. *(Грузно обнял его, навалился как туча.)* Вас ищут по всему городу.

Зильберберг. Но каким образом?

Азеф. Не понимаю... Я узнал случайно... Чудом... В замочную скважину... Здесь ужинал Рачковский...

Зильберберг. Но мне бояться нечего. Я — Штифтар...

Азеф. Не за вас, голубчик, за дело трепещу... Такие ужасные времена... Аресты, казни... Хоть все бросай... Ваша группа — единственная наша надежда...

Зильберберг. Очень все странно. *(Направляется к той боковой двери, на которую Рачковский указал Азефу.)*

Азеф. Нет... Здесь безопасно, как у Христа за пазухой... Снимайте шубу... Будем ужинать. Здесь можно — до утра. Я заказал тройку... Прямо к финляндской границе... А хотите, пойдем в зал? Там, кстати, я видел свободный столик, — рядом ужинает великий князь и шеф жандармов... Пикантно, зато безопасно...

Зильберберг *(с коротким вздохом)*. Ну, давайте ужинать. *(Сбрасывает шубу, садится, закуривает.)*

Азеф. Страшно интересуюсь... Не как член ЦК... Лишь в порядке частной информации... Подвигается? Знаю, что не скажете... Но, — есть надежда?

Зильберберг. Не позже конца месяца Николай Романов наверное будет убит. *(Встает, чтобы взять шубу.)*

Азеф. Спички?.. Вот...

Зильберберг. Нет. В шубе оставил револьвер...

Азеф *(по пути хватает его за талию)*. Что же мы закажем? Каюсь, — я большой обжора. Плоть проклятая... *(Кричит.)* Человек...

Зильберберг. Подождите звать... Я возьму револьвер...

Азеф. Человек, карточку заграничных вин!

(Боковая дверь с треском раскрывается, выскакивают: Девяткин, Петренко, Медников, несколько городовых и Рачковский.)

Зильберберг. Вот как!..

(Зильберберг устремляется к шубе. Девяткин кидается ему в ноги. Он падает. На него наваливаются. Он сбрасывает с себя нападающих и снова хватает шубу. Его берут сзади. Валят.)

Азеф. Не надо. Не надо. *(Его сбивает с ног городовой.)*

Медников. Легче, убьешь!

Петренко *(замахнувшийся револьвером на Зильберберга)*. Живучий, дьявол...

Зильберберг. Мерзавцы! Мерзавцы!..

(Ему скрутили руки. Посадили за стол. Подходят: Медников и Рачковский. Девяткин валяется под столом. Азеф — на диване, его держат двое городовых.)

Медников *(Зильбербергу)*. Фамилия?

Зильберберг. Я не желаю отвечать мерзавцам и насильникам.

Медников. Ответишь! *(Замахивается.)*

Рачковский *(удерживает его)*. Подождите... Вы — Штифтар?

Зильберберг. А тебе какое дело, сыщик, палач...

Рачковский *(Азефу)*. Это, действительно, Штифтар? *(Азеф молчит.)* Ах, виноват... *(Бросает ему на колени деньги. Зильберберг с ужасом глядит на Азефа, еще не веря. Азеф побагровел.)* Вы слышали, что я спросил?

Азеф. Штифтар.

Рачковский. У него есть и другая фамилия?

Азеф. Да.

Рачковский. Какая?

Зильберберг. Иван!

Азеф. Зильберберг.

Зильберберг *(рванулся к нему)*. Ты сказал?.. Ты?.. Ты?.. Предатель!..

Медников. Ведите его!

Зильберберг *(Азефу)*. Предатель!.. Я дам знать товарищам...

Медников. Не дашь... Завтра повесим.

Зильберберг *(плюет Азефу в лицо. Его уводят).*

Рачковский *(Азефу).* Благодарю. *(Уходит. Остаются Азеф и Девяткин.)*

Девяткин *(подходит к Азефу).* Подметка... Богопротивная сволочь...

(Азеф с ревом вскакивает, кидается на него. Девяткин прячется за стол.)

Суд.

Ноябрь. Ночь. Площадь в одной из глухих частей Парижа. Ветер. Дождь. Направо — разрез комнаты. Горит камин. Смятая постель. На полу раскрытый чемодан. У камина — сонный, помятый, в ночной рубашке сидит Азеф. Пишет, держа блок-нот на коленях, чернильница — на каминной полке. Процесс писания доставляет ему физическое мучение. Налево на площади разрез комнаты, сдаваемой под собрания. Здесь многочисленное собрание. Стол, за которым сидят судьи, пуст. Публика сидит молча, кто читает газету, кто жует сандвич, кто тихо беседует. Несколько человек проходят через площадь, прикрывшись зонтами, борясь с ветром. Войдя в зал суда, потирают с холода руки На первом плане, близ входной двери, сидит за столиком Бурцев, — взъерошен, весь зарылся в бумаги и тетради. Пишет, читает, выглядывает, как крыса, из-за бумаг. По площади проходят, рядком, в пелеринах с капюшоном, заложив руки за спину, двое французских полицейских.

Павел Иванович *(перешел через площадь, вошел к Азефу)* Это я, Иван... *(Азеф вздрогнул, успокоился.)* Перерыв. Судьи пошли подкрепляться...

Азеф *(иронически).* Судьи!

Павел Иванович. Что, — ты не волнуешься, конечно?

Азеф. Покуда ты и Чернов на моей стороне, — я ничего не боюсь.

Павел Иванович. После перерыва взяли слово Виктор и я.

Азеф. Расскажи им мою жизнь. Вот моя защита, — моя биография.

Павел Иванович. Эх, если бы ты согласился сам выступить...

Азеф. Не желаю унижаться. Стоять на одной доске с Бурцевым... Итти в суд... Нет, я чувствую — это меня совсем разобьет. Старайся, милый, насколько возможно, избавить меня от этих волнений. *(Показывает на то, что писал.)* Вот — письмо. К тебе. Но, в сущности, это обращение ко всей партии... Нет... Я ждал каторги, я ждал веревки палача... Но отдать партии все силы, всю жизнь, — и получить — клеймо предателя! Нет, молчи, Павел. Бурцев, разумеется, будет наказан... Но я-то, — чем смою оскорбление?.. Заподозрить меня... Хотя бы на секунду усумниться... Какая грязь!.. Какое падение морального уровня в партии... Разбираться чуть не два месяца в идиотских обвинениях Бурцева... Прежде всего, это пощечина мне...

Павел Иванович. В суде все больше убеждения, что Бурцев просто сумасшедший...

Азеф. Негодяй, и темный негодяй... Мстительный самолюбец! Что ему до партии? Выше всего собственная персона. Сожалею, что вовремя не устранил его от работы.

Павел Иванович. Теперь он и сам понимает, что борется за жизнь.

Азеф *(ударил кулаком по каминной полке)*. Нет... Меня душит бешенство... Жевать до сих пор пресловутое письмо об инженере Азиеве.

Павел Иванович. С этим письмом Бурцев давно провалился. Для всех очевидна рука Рачковского. Да и вся бурцевская мозгология в стиле Шерлока Холмса — бред... Но вот что неприятно...

Азеф. Что неприятно?

Павел Иванович. Бурцев поклялся, что на сегодня приготовил какую-то ультра-сенсацию.

Азеф. Опять что-нибудь вроде разговора в вагоне с жандармским генералом о моей службе в полиции... Тьфу... Блаженные интеллигенты, уставя брады, смакуют всю эту чушь... Факты... Факты, факты, факты... Я — провокатор? Дайте факты. Плеве — это факт. Казнь великого князя — факт... Это мы с его превосходительством Рачковским нарочно провокаторски убили великого князя, чтобы нам больше кредитов отпускали на борьбу с террористами! Что ж... Очевидно, Бурцев и то видел,— в замочную скважину, — как я, негодяй и великий провокатор, продал за двадцать пять тысяч рублей Зильберберга... Может быть это тоже — факт?.. Плюю на такой суд...

Павел Иванович. Иван, ну — успокойся... Не унижай себя...

Азеф. Больно...

Павел Иванович *(глядит на часы)*. Арест и ужасная казнь Зильберберга, действительно, загадочны. Мы — кругом в загадках. Ну, я побежал.

Азеф *(обнимает его)*. Доверяю тебе мою честь и жизнь.

(Павел Иванович ушел. Азеф мрачно садится у огня камина. Спустя некоторое время вздрагивает, идет к постели, вытаскивает из-под тюфяка какие-то бумаги и сжигает их в камине. Начинает укладывать чемодан, но не кончает и опять садится у огня. В то же время, налево, в зале суда — оживление. Вошли судьи, — двое стариков с большими бородами и пожилая женщина с красивым, усталым лицом. Они садятся. К Бурцеву подходит Варя.)

Варя. Бурцев, я верю, что вы честный человек... Но вы — глупый человек...

Бурцев *(из за бумаг)*. А? Как? Что вы сказали?

Варя. После всего сказанного на суде, — настаивать с вашей стороны — упрямство, которому нет оправдания...

Бурцев. Упрямство?

Варя. Неужели вы до сих пор не понимаете?..

Бурцев. Все понимаю...

Варя... Что вам останется делать, когда проснетесь, — увидите что Азеф кристальный человек...

Бурцев *(показывает пальцами)*. Застрелюсь... Непременно.. Это решено ..

Варя. Конечно, лучше это сделать самому, — правда Бурцев..

Бурцев. Подождите... Варенька... А если я окажусь прав?

Варя *(горько засмеялась)*. Ну, тогда мы все перестреляемся, а вы пляшите от радости...

Бурцев. А ведь я — прав... *(Грозит пальчиком из-за вороха бумаг.)* Погодите, на сегодня я приготовил сюрприз... Рот разинете..

Председатель суда. Павел Иванович, ваше слово.

Павел Иванович. Мне остается сказать немногое. Но это немногое — больше всего сказанного за два месяца. Боевая организация постановила, ввиду исключительной остроты момента, обнародовать биографию Азефа.

Бурцев. Одностороннюю. *(Председатель звонит.)*

Павел Иванович. Иван Николаевич, — теперь маска конспирации снята, — или — Евно Филиппович Азеф принимал участие в казни губернатора Богдановича. После ареста Гершуни встал во главе боевой организации и казнил смертью врагов народа — Плеве, великого князя Сергея, нижегородского губернатора барона Унтерберга, адмирала Чухнина, предателя попа Георгия Гапона, саратовского генерал-губернатора Сахарова, петербургского градоначальника фон-дер-Лауница, военного прокурора Павлова, покушался на жизнь генерала Мина, полковника Римана, адмирала Дубасова, генерала Клейгельса. Сверх того, Азеф организовал четыре покушения на царя.

Бурцев. Они роковым образом не удались. *(Председатель звонит.)* И, разумеется, не могли удаться. *(Председатель звонит. Бурцев вскочил среди бумаг.)* Кровавая тень Зильберберга взывает из могилы, товарищи!.. *(Шум, крики.)*

Павел Иванович *(кричит)*. Ты слышишь, Бурцев, держи я в руках письмо, где рукой Азефа было бы написано, что он провокатор... и тогда крикнул бы, что это — ложь, подлог охранки...

Варя *(Бурцеву)*. Докажи сам свою непричастность к полиции *(Председатель звонит. Шум.)*

Председатель. Товарищи, уважайте личность!

(Бурцев молча, как сурок, поглядел на Варю, на Павла Ивановича, насупился, сел).

Председатель. Виктор Михайлович, вы просили слова?.

Чернов. На последнюю реплику Бурцева каждый честный революционер ответит: «Купайся сам в грязи, но не пачкай других». *(Бурные аплодисменты.)* Товарищи, дорогие товарищи!.. Укажите мне в истории нашей партии более блестящее имя, чем Азеф? Спрашиваю, как член партии, как историк, как человек. Азеф — это, прежде всего, технический гений революции. В жестоких условиях царизма он создал стальную

мощь боевой организации. Он бьет без промаха. У него математический ум шахматного игрока. В основу революции он положил динамит и научно-разработанную слежку. В основу революции он положил свое большое сердце. *(Аплодисменты.)* Чтобы говорить об Азефе, нужен тонкий психологический подход. Это — человек долга, это человек страсти, это человек нежнейших лирических переживаний. Огромный телом, с каменным лицом древнего идола, он внушает страх... Взгляд его выдерживали немногие... Но кто знал, что это был нежный и преданный семьянин, до безумия любивший своих малюток... Преданный как пес своей жене... Надо только хорошенько всмотреться в его открытое лицо, в его чистые детские глаза, излучающие бесконечную доброту... Он — вне греха, вне подозрений. Пощечину, которую намеревались нанести ему, возвращаю Бурцеву. *(Аплодисменты, крики: «браво», «долой Бурцева», «охранник», «долой», «вон», «к чорту предателя»!).* Грязное пятно должно быть смыто с партии...

В а р я. Кровью.

Ч е р н о в. Сегодня суд должен заклеймить Бурцева. Предлагаю судьям окончить позорную проволочку, бессмысленные допросы свидетелей... Вынести, наконец, правый приговор. Товарищи, из этой залы мы все пойдем к тому, кто, одинокий, оклеветанный, закиданный грязью, — рыдает в безумной тоске у потухшего камина... *(Всхлипывания.)*

В а р я *(Бурцеву)*. Может быть, ты забыл дома револьвер? Чего же ты медлишь?

Б у р ц е в. Товарищи судьи, я могу говорить?

П р е д с е д а т е л ь. Ваше слово.

Б у р ц е в. Да. В истории партии не было более блестящей личности, чем Азеф. Но я прибавляю: если только он не провокатор. (*Общий смех.)* Через несколько минут вы будете рыдать. *(Выскакивает из-за бумаг.)* Простите... Я жду главного свидетеля обвинения... Это ужасно...

(Девяткин появляется в это время на площади. Он в пальто, в котелке и с зонтиком. Кланяется двоим проходящим полицейским, спрашивает что-то и показывает бумажку. Один из полицейских указывает ему на дверь суда. Девяткин входит.)

Б у р ц е в *(глядя на часы)*. Минута терпения. На карту поставлена жизнь партии, моя жизнь и так далее. Совершенно очевидно, — тот громадный материал обвинения, который за два года мне удалось собрать, рискуя подчас всем... не находит отклика... Почтенное собрание — глухо и слепо...

П р е д с е д а т е л ь. Прошу выбирать выражения...

Б у р ц е в. История нас рассудит... *(Входит Девяткин. Бурцев, опрокинув стол с бумагами, кидается к нему, хватает за руки.)* Очень рад... Чудно... Хорошо... Вы едва не опоздали... Вы готовы? Если волнуетесь, — стакан воды.

Д е в я т к и н. Владимир Львович, это вы беспокоитесь, но я совершенно владею нервами. Куда поставить зонтик?

Бурцев. Очень хорошо... Записка при вас?

Девяткин. И записка при мне, и свою речь я вполне обдумал Однако народу много. А на улице ветер, — так с ног и бьет...

Бурцев. Вот мой свидетель!

Председатель. Ваша фамилия, свидетель?

Девяткин. Николай Христофорович Девяткин, мещанин города Арзамаса, Нижегородской губернии.

Председатель. Вы не партийный?

Девяткин. Цель моего переселения из негостеприимного отечества в Париж — так или иначе потрудиться на пользу партии социалистов-революционеров. После того, как по долгу опостылевшей службы я получил выбитие двух передних зубов, — этот незначительный факт окончательно переполнил чашу моего терпения, и я решительно порвал со старым. Тут счастливая звезда свела меня с высокоуважаемым Владимиром Львовичем, и жизнь моя повернулась задним концом вперед. Я стал нелегальным.

Председатель. Кем вы были раньше?..

Девяткин. Как вам сказать... Таиться не могу... Был заурядным филером. *(Сразу во всем суде страшная тишина.)* Бессознательность и глубокая нищета швырнули меня на эту скользкую дорогу. Но встречи с господами революционерами убедили меня в противном...

Бурцев. Николай Христофорович — искренний человек. Я много и подолгу с ним беседовал. Он весь — на ладони. Он выступает здесь, как свидетель ареста Зильберберга. *(Волнение в зале. Слышно, как повторяют имя Зильберберга.)* Подробное описание ареста изложено им в записке суду.

Девяткин *(подает председателю рукопись)*. Вначале изложена история моей жизни, во-вторых, некоторые анекдоты из порядков охранного отделения, в-третьих,— то, как произошел во мне глубокий душевный перелом, — вследствие чего я плюнул в лицо провокатору Раскину, он же Евно Филиппович Азеф.

Варя. Позор выслушивать сыщика... Я протестую... *(Голоса: «Тише, тссс, пусть говорит».)*

Девяткин. Мадам, я еще не окончил. В-четвертых, — я пишу собственно об этом пресловутом Азефе, или «тайна ареста Зильберберга».

Варя. Я повторяю, — это позор для партии...

Председатель *(звонит)*. Бурцев имеет право поставить своего свидетеля, мы обязаны выслушать... Свидетель, каким образом вам известны подробности ареста?

Девяткин. По долгу службы, я, как филер, обязан первым врываться в помещение и лететь турманом под ноги преступника. Вследствие чего, кинувшись под Зильберберга, получил увечие в виде выбития двух передних зубов...

Председатель. Где это происходило?

Девяткин. В ресторане Донона, в третьем кабинете.

Варя. Ложь... Это чудовищно... Я знаю...

Девяткин. Пардон, мадам, имейте мужество... Я вас признал. В тот вечер вы прибыли к Донону на серой лошади. На вас была черная бархатная шляпа, коричневая шуба, скунцевый мех шалью, серые боты, в руках продолговатая сумочка. Вы прошли в третий кабинет, где сидел Азеф.

Варя. Да, я была у Донона... Но это ровно ничего не значит...

Девяткин. Имейте терпение. Вы пробыли минут пятнадцать, после чего к Азефу вошел Рачковский...

Варя. Этого не могло быть!

Девяткин. Они разговаривали тоже не больше этого, после чего Азеф стал звонить на Николаевский вокзал и попросил к аппарату Штифтара, который был предупрежден вами, что его вызовет Иван Николаевич... *(Страшное молчание.)* После чего Штифтар на автомобиле прибыл к Донону в третий кабинет, где рядом была засада. Азеф дает знак, дверь с ужасным грохотом раскрывается, и Штифтара хватают. Здесь же, при Рачковском, Азеф называет его настоящим именем... *(Пауза.)*

Варя. Это — правда... Азеф — предатель!..

(После мгновения тишины, в зале поднимается неистовый шум. Лезут к судьям, опрокидывают стулья, кричат исступленно, без слов. Варя, Павел Иванович и Чернов скрываются. Двое французских полицейских спешат через площадь на шум. Входят в зал.)

Полицейский. Это что такое?.. Банда анархистов?.. Пять часов утра... Немедленно прекратить безобразие. *(Другой гасит свет. Зал суда очищается. По площади пробегают полупомешанные фигуры, жестикулируют на ветру... Только и слышно: «Азеф. Азеф — провокатор, конец, гибель»... Направо, ближе к двери дома, где сидит Азеф, останавливаются Чернов и Павел Иванович.)*

Чернов. Что же это такое?.. Что же это такое?

Павел Иванович. Возьми себя в руки...

Чернов. Партия, организованная провокатором... Ты понимаешь впечатление?.. Это разгром партии... Мы что-то должны предпринять.

Павел Иванович. Только одно, — итти и убить. *(Оба скрываются за угол дома. В то же время Азеф, встревоженный голосами на площади, подходит к окну, силится разобрать в темноте, — что происходит. Дверь отворяется, входят Чернов и Павел Иванович. Азеф радостно устремляется к ним навстречу, но сейчас же, по выражению лиц, понимает, что произошло что-то непоправимое.)*

Азеф *(сорвавшимся голосом)*. В чем дело, господа? *(Они молчат.)* Ну, так в чем же, однако, дело, господа?

Павел Иванович. Четырнадцатого мая, вечером, ты был в ресторане Донона?

Азеф. Я у Донона не был.

Павел Иванович. Ты ужинал в третьем кабинете. *(Подает листок.)* Прочти стенограмму.

Азеф *(берет листок, читает, ничего не видя)*. Смешно. Я там не был...

Чернов *(Павлу Ивановичу)*. Я тебе говорил...

Павел Иванович. Варя подтверждает эти показания.. Ты был у Донона, ты вызвал Зильберберга, ты предал его Рачковскому..

Азеф. Это неправда, чорт вас всех возьми!

Павел Иванович. Значит, Варя лжет?

Азеф. Нет, она лгать не может.

Павел Иванович. Значит, ты лжешь?

Азеф. Нет, я говорю правду.

Павел Иванович. Где же объяснение?

Азеф. Не знаю.

Чернов *(Павлу Ивановичу)*. Я тебе говорил...

Павел Иванович. Как ты объясняешь целый ряд неожиданных арестов за последнее время?..

Азеф. Я полагаю, что в партии, действительно, есть серьезный провокатор... Впрочем, — что это за допрос?.. *(Резко.)* Мое прошлое ручается за меня... Павел, мы столько лет жили душа в душу... Виктор, я любил тебя, как брата... Как вы могли прийти ко мне с таким гадким подозрением?

Чернов. Иван Николаевич, если ты только, действительно, ну, как-то там... я не знаю... имел, что ли, какое соприкосновение... Расскажи откровенно... Нам нет нужды губить тебя... Дегаев до сих пор отлично живет в Америке...

Павел Иванович. Нет... Мы должны выяснить все сейчас... Поставить точку. Иван, ты знаешь, — зачем мы пришли...

Азеф. Убить меня. Мальчишки! В революцию лезете... Учредительное собрание... Россией хотите править... Два месяца не можете понять, — кто я: провокатор, или ваш вождь... Ну, — разгадай... Пойми... Решись... Убей... Болтуны, бездельники... Я волоку на горбу все дело партии... Всю работу... А вы — призраки... Сбесившиеся интеллигенты... А у вас только — разговоры... Что вы без меня? Нелегальную брошюрку издать в эмиграции... Да гнить в кофейных... *(Рванул рубашку на груди.)* Павел, уверен ты, что я предатель, — стреляй...

Чернов. Товарищи, товарищи, подождите... Не надо спешить... Иван, мы даем тебе время, — двадцать четыре часа... Оправдайся...

Павел Иванович *(хрипло)*. Хорошо... Завтра мы придем...

(Павел Иванович толкнул дверь, ушел, не оборачиваясь.)

Чернов. Ужасно... Ужасно... *(Ушел.)*

(Азеф подождал, пока закрылась дверь. Кинулся к чемодану, стал кидать в него разные вещи... Поверх рубашки натянул пальто, надвинул

глубоко на уши котелок, схватил зонт, чемодан, пошел к выходу. Дверь отворилась, вошла смертельно бледная Варя. В руке — револьвер. Азеф уронил чемодан. Понял — это смерть.

Варя. Заведомо дают возможность бежать?

Азеф. Варя... Единственная моя любовь... *(Стал на колени.)* Подожди... Выслушай...

Варя. Врешь... Врешь...

Азеф. Ошибка... Я объясню, как это случилось.....

Варя *(направляя на него револьвер)*. Мерзавец!..

(Азеф завизжал, лег на пол.)

Варя. Гадина... Не человек... Подними голову... Я выстрелю... *(Ударяет его ногой.)* Какое омерзение... *(Пошла к двери. Выстрелила в себя, упала.)*

(Азеф вскочил. Глядит на нее. Ногой отшвырнул револьвер. Схватил чемодан. Выскочил на улицу.)

Азеф. Шоффер!.. Шоффер!.. *(Шарахнулся в ужасе от полицейских.)* Шоффер!.. На Северный вокзал... Гони, гони... гони!..

Рассказ о ключах и глине.

Бор. Пильняк.

«Здесь из-под земли выбивался студеный ключ».
Вс. Иванов.

... Это арабская песня:

Мастер, осторожней касайся глины,
когда ты лепишь из нее сосуд,—
быть может, эта глина есть прах возлюбленной,
любимой когда-то:
так осторожней касайся глины своими теперешними руками.

В Палестине, в Сирии на берегу Средиземного моря совершенно особенно, как нигде в мире, гребут арабы. Их восемь человек, они в чалмах, они в широчайших шароварах, раздувающихся на ветру, они босоноги и только подошвы их охраняются от жара земли библейскими сандалиями, привязанными к ноге ремнями. Их ноги загорели так же, как лица и руки. Арабы красивы, сильны, гибки, похожие на птиц. На корме каика, там, где на коврах сидят европейцы, раскинут над головами европейцев белый шатер, — но арабы под солнцем. У каждого араба по одному веслу; каик громоздок, широкобортен, похожий на шаланду; — и восемь арабов, все сразу, закидывая весла в воду, взлетают на одной ноге над банкой; другую ногу они сгибают в колене, шаровары их раздуваются ветром, шаланду качают зеленые волны, вместе с шаландой и ветром качаются арабы; тяжестью своих тел арабы выгребают весла,—той ногой, которая была в воздухе, они опираются о борт шаланды, отталкиваются ею и вновь взлетают на воздух, над банкой, над волнами. И, взлетая в воздух, красавцы, похожие на птиц, все сразу они — нет, не поют, а всклекотывают на своем гортанном языке совсем так же, как птицы, разбуженные в ночи:

Мы мужчины, молодцы! Мы мужчины, молодцы!
Боже мой, путь еще не кончен: — путь еще далек — —

это всклекотывают они к тому, чтобы ободрить свой труд в зное и море, в бирюзе волн, — это всклекотывают они потому, что поистине «путь еще не кончен»: — потому — что они же поют — в пустыне, в ночи, под

пальмами и звездами, отдыхая около своих белых мазанок, или около верблюда, или около оаза — поют о мастере, который должен быть осторожен с глиной, ибо и глина есть память любви и лет — —

I.

В порт-Одесса у Потемкинского мола стоял пароход под флагом Союза Социалистических Республик, под полными парами, готовый отшвартоваться, чтобы итти в море. Утром боцман с подвахтой умывали судно,— из шланг на палубы выливались сотни ведер воды, судно чистилось и скреблось, — и, умытое, готово было блестеть, если было бы солнце. Но солнца не было, были последние дни октября, моросил дождь, и вода за бортом болталась серенькая, как серенький в море ожидался туман. В полдень стали грузить переселенцев. Лебедка в трюм сваливала чемоданы, корзины, тюки, матрацы, комоды, корыта. Люди растекались по палубам со всем тем человеческим добром и отрепьем, которое можно повезти с собой, с перинами, с постелями, с лукошками, — кто-то нес граммофон, кто-то поставил под вельбот корзину с двумя гусями. Это были палубные пассажиры, их было пятьсот человек, — это были евреи, едущие в Палестину, едущие на родину, где не были две тысячи лет. На палубе, в проходах, под шлюпками, около труб (пароход был двутрубным, громадина), в трюме для третьего класса наваливались горы вещей так, как валятся вещи, вытащенные в пожар из горящего здания. На вещах торопливо раскадывались постели, и там сидели женщины и дети. Старики выискивали пустые места, чтобы поспешно раскинуть коврик, надеть на лоб тфилн, покрыть плечи талэсом, взять в руки священную книгу и, полуприкрыв глаза, закинув голову, причитать древними словами, — и их сгоняли с места на место, в новые и новые места сваливая подушки, детей, ночные горшки, самовары. На палубах громко говорили, должно быть, ссорясь, мешая русский язык с древне-еврейским. На палубах остро запахло тем запахом, которым пахнут гетто и пароходные трюмы: пароходные трюмы и гетто пахнут одинаково — быть может, потому, что гетто всегда были лишь перепутьем для этого идущего народа.

Вскоре на палубах, которые так тщательно были вымыты утром, валялись огрызки арбузов, куриные кости, рваная бумага, — откровенная грязь ползла из корзинок и лукошек. К сумеркам все палубы были забиты людьми и вещами, надо было проходить по вещам и людям. От палуб в серую муть сумерок несся чуждый русскому уху молитвенный гул. Эта тесная груда людей была черна — не только потому, что люди были черноволосы и смуглолицы, не потому, что в сумерках одежда, вещи и теснота казались черными, но и потому, что в словах, в движениях, в выкриках уялась черная, испепеленная кровь людей, мистически настроенных.

Сумерки сменились черною ночью. На море загорелись огни. Замигал, умирая и возгорая вновь, маяк. Судно притихло во мраке. Уже посвистел второй гудок. Капитан весь день сидел у себя в каюте, пил

кофе и отдавал приказания. Пришел старший помощник, сказал, что все работы окончены,— что молодежь — сионисты из Тарбута собрались на баке, митингуют, приготовили свой синий сионистский флаг. Капитан отпил последний глоток кофе, — сказал, чтобы давали третий гудок, и стал натягивать на себя черное кожаное пальто с капюшоном.— Пароход загудел черным страшным воем. Капитан вышел на мостик под этот вой. И как только затих вой гудка, пароход завыл иным воем — воем слез, прощания, проклятия, воздеваемых к небесам рук, закинутых к небесам острокадычных шей и голов. За этим воем незаметно было, как во мраке у кормы копошился катерок, тужился, посапывал, оттаскивал громаду от мола. Вой не смолкал,— и тогда в вое возник ритм песнопения: эта песнь была гортанна, однотонна, обреченна, вся облитая кровью и горечью,— это был сионистский гимн, тот гимн, в котором пелось о Сионе, о предвечной избранности этого рассеянного, благословенного и проклятого народа, ныне идущего в Сион. В темноте не все заметили, что на баке за фальшбортом был поднят сионистский флаг. — И тогда этот вой и эту песнь покрыл рев капитановой глотки:

— Мооолчать, на баке! — проревел капитан. — Штурман Погодин, посадите зачинщиков в канатный ящик! — Мооол-чать!!

На баке на несколько минут произошла сумятица. Кто-то кого-то толкнул. Кто-то кого-то обозвал жидом. И пошел гвалт.

— Как?! — на советском судне и — жидом!?

— Вы уже меня назвали жидом?!

— Вы нахал, мерзавец, скотина!

— Моол-чать! В канатный ящик!!

— Гражданин капитан, — меня ударили по шее?

Опять заревел из мрака с капитанского мостика капитан:

— Моолчать! Штурман Погодин, виновных и зачинщиков ко мне на мостик.

— Есть! — ответил штурман (и подвахта стала кого-то в толпе отбирать. Толпа стихла и заежилась).

— Слушать команду! — крикнул покойнее капитан. — Сионисты!— когда мы выйдем в море, разрешаю вам петь, от пяти до девяти вечера и от девяти до двенадцати дня... Мооолчать! Зачинщиков в канатный ящик! В море пойте, сколько в душу влезет!

Катерок перестал уже копошиться под кормой. Пароход стал форштевнем к морю. Огни на набережных и наверху в городе слились в одну плоскость, маяк проплыл сбоку. И из моря, с просторов, подул, обвеял широким крылом просторов и бурь морской ветер. Дождь перестал, но звезд не было, и судно уходило в черный тесный мрак. Капитан, старый уже, добрый, в сущности, и усталый человек, сошел в штурманскую рубку, склонился над картой и попросил принести ему стакан чаю. Все лишние огни на пароходе потухли.

. . . .

...Пароход шел от туманных берегов Скифии к солнцу Мраморного, Егейского, Средиземного морей, к сини моря, неба и гор, — туда, где в Греческом архипелаге — до сих пор еще возникают новые острова и дымят вулканы, — туда, где возникали и гибли великие культуры, египетская, ассирийская, греческая, арабская, — туда, где тысячи и тысячи прошло народов, нарождаясь, побеждая, умирая, в этой стране солнца, камня и моря, создавая религии, искусства, культуры, цивилизации и — умирая там, где каждый камень — памятник... — «Мастер, осторожней касайся глины», — евреи! — Погибли ассиры, финикияне, филистимляне, египтяне, греки, римляне, арабы, — среди них затерялся народ, иудеи, тот народ, что не погиб, прошед через всю знаемую историю человечества. Навуходоноссор — вавилонянин — увел евреев из Палестины, перерезав оставшихся; через четыреста лет, уже при персиянине Кире, Ездра привел обратно евреев в Палестину. Римлянин Тит с землей сравнял Иерусалим. — И тогда началось двухтысячелетнее рассеяние евреев, мицриам. Иные из них возникали в Скифских степях полчищами, — хозары, — но эти погибли. Другие, и многие, оставили в истории человечества память о том, что римскими купцами они расползлись по Римской империи, что арабскими менялами они пришли в Испанию (и впоследствии, при Филиппе II и Изабелле, иезуитом Торквемадо изгнаны были в сутки, — чтобы — нищими — расползтись по Средиземному морю, народив иудейскую ветвь испаньолов, — сафардим). Те евреи, что остались у развалин Иерусалима, в пустыне, были добиты и доразогнаны в средние века, в начале второй тысячи христианского летосчисления, — крестоносцами, в дни, когда Готфрид Бульонский врывался в Иерусалим, чтобы сделать там Иерусалимское королевство, — и христиане, конечно, не пожалели иудеев, новые и новые толпы их рассеивая по земле. И в памяти человечества остался этот народ, всюду гонимый, — остался в памяти человечества менялой, банкиром и ремесленником, — и еще остался тем народом, которым пользовались все жулики человеческой истории для жульнических своих целей, ибо в тринадцатом веке короли не громили евреев за взятку, точно так же, как в Нью-Амстердаме (как назывался Нью-Иорк прежде чем стать Нью-Иорком) дали возможность остаться евреям только потому, что у них были деньги, которыми могли они откупаться, — точно так же, как в Иорке, древней столице Англии, англичане гордятся стеклами в соборе, забывая, что эти стекла есть еврейский пот и еврейская взятка — опять за то же, за то, чтобы не громили и не гнали евреев. Вся история евреев окрашена погромами и гонениями, — и вся их история окрашена тем, что евреи — еврейство — не потеряли своего облика и через века пронесли свою мечту, свою тоску, извечную свою печаль — печать и тоску вечного народа, — пусть гонимого, но все же сшивавшего и сшивающего историю человечества красною нитью иудаизма. И навсегда у евреев осталась мечта о своем государстве, об Иерусалиме, о своих пророках и о своих буднях. Триста лет тому назад смирнский еврей

Саббатай-Цеви был возвеличен в Мессии и тысячи еврейских семейств пошли тогда за Саббатаем — умирать. 2 ноября 1917 года английский министр иностранных дел сэр Бальфур написал еврею лорду Ротшильду о том, что Палестина, под мандатом Англии, отныне есть национальный очаг еврейского народа. И вот теперь на пароходе под флагом Союза Советских Республик ехало пятьсот человек евреев к своему национальному очагу. Пароход уходил в синь средиземных морей — —

Ветер дул уже холодом. Сзади горел, умирая и возрождаясь, маяк, и исчезали огни порта. На корме, над винтом, прислонившись к фальшборту, стоял старый еврей, в кафтане, в ермолке с клинообразной бородой по пояс — старый еврей, который ехал к Стене Плача, чтобы выплакать там все свои слезы и чтобы без слез уже, счастливым, умереть на обетованной земле, в долине Иосафата. Он смотрел назад, на ту землю, где родился он, где родились его деды, прожившие здесь в гонении столетья, — и он, старик, плакал, прощаясь. Он должен был это сделать — и он проклял эту землю рассеяния: но не плакать — возможности не было, слезами горя. Ту же землю, что лежит впереди за морями, — он поцелует, он поцелует своими старческими губами, старою своею грудью припадет к земле, прижмется к ней, — и эти старческие поцелуи будут самыми страстными — самыми страстными поцелуями из всех, какими когда-либо он целовал,— и ту землю он обольет слезами горя. — Маяк уже скрылся, умер во мраке. Черная стояла кругом ночь, обдувал ветер холодом.— Старик по загруженным палубам пробрался к себе, к своим вещам. Здесь были растянуты тенты. Люди уже спали, уставшие от дня. Светила здесь несильная электрическая лампочка. На корзине лежала — спала — женщина, и ее голова повисла в воздухе. За ящиками на перине спало целое семейство. У электрической лампочки висела клетка с канарейкой, и канарейка не спала. На полу в проходе спал старик, подложив под голову рюкзак. На скамье спали обнявшись, чтобы не упасть, две девушки, под скамью поместился и покуривал перед сном юноша. Все остальное место было завалено вещами. — Старик сел на свой матрас около своей жены и последнего своего ребенка, поехавшего с ними, — накинул на плечи талэс, надел тфилн, раскрыл книгу и — бесшумно, одними губами — стал читать молитвы. Еще десяток таких же стариков сидели так же с такими же книгами. Старик увлекся чтением,— где-то, на конце фразы, смысл которой был особенно ударен, где говорилось о строгости жестокого Иеговы, старик поднял горе голову и пропел эту фразу. Сейчас же ему откликнулись другие старики. И вскоре на палубе возникло странное, чуждое русскому уху, молитвенное пение, напряженное, страстное, как страстна может быть черная кровь — —

...А на баке около форштевня в этот час стоял юноша, в кожаной куртке, в галифе и в новеньких галошах. Лицо у него было — если бы осветить его в этот момент фонарем — было торжественно, строго и решительно, но это же лицо указывало, что юноша был слаб здоровьем, быть

может, страдал уже чахоткой. Глаза его были прикрыты пенснэ, шнурок от пенснэ лежал за ухом. Юноша стоял прямо, откинув голову назад, смотрел вперед, подставлял грудь под ветер. Уже качала волна, и за бортами сопело море, и бак медленно поднимался, чтобы опуститься с шипом в волны. Этот юноша, прощаясь с девушкой, оставшейся на берегу, крикнул ей: — «в будущем году — в Иерусалиме!» — и он страстно пел свой сионистский гимн.— Там впереди за морями была обетованная земля. Старики ехали к Стене Плача — он ехал в Тэл-Авив, эхолуцец, — он ехал мостить дороги, садить сады, растить виноград и рициновое дерево, копать колодцы, сушить Тивериадское озеро и его лихорадки. Он, демократ, сионист, социалист, ехал строить свое государство, потому что он не хотел быть непрошенным гостем в странах рассеения, хотел себя освободить от чужих народов и их — этих чужих — оставить свободными от себя. Он руками, грудью, плечами — киркой и лопатой — должен был построить свой дом, свой мир, — он, сын народа, всегда гонимого и никогда не теряющегося, великого народа. В ночи и ветре, — через ночь и ветер, — перед глазами его вставали подступы к Сиону, в пыли и зное дули аравийские ветры, и там вдали в красных песках стоял город с высокими, зубчатыми стенами, разбросанный на каменистом плоскогории. В этот город идут караваны верблюдов,— но это он, это его братья пророют там дороги вплоть до Индии и всю каменистую пустыню, где сейчас изредка торчат пальмы да джигитуют бедуины, превратят в апельсиновый сад. Там, в Палестине, после двух тысяч лет вновь возник древний язык, — и кто знает, быть может, среди камней, около рва, обсаженного кактусами, там, где потечет вода, возраждающая пустыню, он скажет далекой девушке, как говорил уже однажды у себя в местечке в Витебской губернии, — скажет девушке о прекрасной любви... Их, из этого местечка, сейчас ехало семеро, четверо юношей и три девушки, все они были и эхолуцны, и из Тарбута. Это они протащили через таможню и полит-контроль сионистский флаг и пели свой гимн перед уходом в море. Когда кричал капитан, они совещались, — петь или не петь дальше? — и это он отговаривал петь, полагая, что пение мешает капитану командовать судном,— утешая тем, что, когда они выйдут в море, они попоют. И юноша, как старик, пошел спать. Все семеро они устроились вместе, под вельботом. Товарищи его уже спали, свалившись кучей на мешки. Он снял сапоги вместе с галошами, подсунул их поглубже под вельбот, всунул в сапоги чулки, — и втиснулся в товарищей, скромно поправив сбившиеся на девушке юбки. Эта девушка не проснулась, но проснулись — другая девушка и юноша. Тот, что разбудил их, тихо сказал, с трудом, на древнем языке: — «В Палестине англичане ведут такую политику, что разделяют арабов и евреев. Нам необходимо коллективно обсудить, как достигнуть дружбы арабов. Впоследствии нам совместно придется воевать с англичанами — —»

Ночь была глубока. Все спали на пароходе. Пароход затих, и слышно было как шумят волны и ветер. Капитан с вечера заснул в штурманской

рубке,— проснулся в этот глухой час, слушал, как отбили склянку, вышел на мостик. Небо очистилось, светили звезды. Шли на траверзе Дуная. Капитан справился о курсе, покурил. У компаса стоял человек в плаще, разговаривал со штурманом.

— Не спите? — спросил капитан.

— Да, не спится. Хожу, смотрю.

— Вы, извините, по делу едете? — спросил капитан.

— Нет, еду посмотреть. Вернусь вместе с вами обратно. Ведь мы будем проходить — поистине по человеческой истории. Интересно посмотреть, что осталось от человеческой колыбели.

Капитан сделал презрительнейшее лицо, поджал губы, словно съел кислое, и сказал:

— Ничего не осталось от всего этого, самое безобразие. Я ходил и в Америку, и на Дальний Восток. Хуже Ближнего Востока ничего нет, одно надувательство и безобразие, извините,— что турки, что греки, что левантийцы, что арабы. Турки с арабами еще ничего, — одни честные, а другие работать могут.— Капитан помолчал, спросил:— Извините, я имя ваше позабыл.

— Александр Александрович Александров.

— Извините, Александр Александрович, а я думал, что вы еврей,— сказал капитан.

— Да я и есть еврей.

— Вы — партийный?

— Да, я коммунист, только я еду под чужой фамилией и с чужим пассом.

— Я тоже партийный, — ответил капитан.—Не хотите ли стакан пуншу? Идемте в рубку. —

Ночь была черна, все огни потухли на пароходе. В рубке капитан, стоя, локтями облокотился на карты и, с карандашом в руках, говорил о Константинополе, о Смирне, об Афинах, о Бейруте, о Яффе...— Против капитана сидел немолодой человек, тщательно одетый в прекрасно-сшитый серый костюм, тщательно выбритый, сухолицый, со ртом, полным золота. Этот человек давно уже потерял всяческие национальные черты, его как следует выгладила Европа. Лицо его было немолодо, но такое, по которому трудно определить возраст, оно было энергично и утомлено, — и было таким лицом, которые недолго хранятся в памяти. У него была привычка подбирать нижнюю губу, покусывая ее, а глаза его смотрели упорно, верно сказывая, что этот человек может думать быстро, точно, разумно. Этот человек держал в руках стакан пунша, но не пил его,— машинально, должно быть (хотя этот человек был того склада людей, которые очень внимательны), он перебирал в пальцах стакан и заглядывал на его дно.

Потом было утро.

Тогда к капитану подошел тот юноша, который простоял ночь у форштевня, в галифе, но без сапог, в одних галошах на красных, домашнего вязания чулках. Юноша спросил капитана:

— Гражданин капитан. Вы вчера сказали нам, что, когда мы выйдем в море, мы можем петь от девяти до двенадцати дня и от пяти до девяти вечера. Скажите пожалуйста, мы уже вышли в море?

Судно шло морем уже около полусуток, — на лице капитана изобразились посменно страдание, недоумение, опять страшное страдание, обида. Капитан вынул руки из брюк, уперся ими в боки, потом стал разводить руками, все дальше и дальше назад, выставляя вперед живот. Потом рука капитана подперла его щеку, лицо изобразило плач,— и по палубам полетел бас капитана:

— Да это же чорт знает что такое! Да это же вы издеваетесь над капитаном! Да это же, да это ж!..—и уже свирепо, двойным басом:—Молодой человек, не сметь издевательских глупостей спрашивать у капитана! — —

Через несколько минут, все же, капитан мирно ел маслины и мирно беседовал с Александром Александровичем. Юноша же энергично ходил по палубе с девушкой, пусть жарко, но под руку: он был в галифе и в шляпе, в руках у него была тросточка; девушка была в нитяных туфлях, чулки были надшиты, черные и серые. Она была очень некрасива, кривонога, широкобудюка. Он смотрел сосредоточенно; они ходили очень быстро; он говорил, должно быть, о чем-то очень значительном, и тем не менее под руку; и надо было заключить о том, что, пусть они оба некрасивы, — всегда прекрасна молодость!

II.

Судно — синью морей — шло в Палестину.

Через день моря был Босфор, Кавак. Там турки возили палубных пассажиров в баню. Глаз пригляделся к пассажирам. Было известно, что под лестницей на спардэк поселилась семья бухарских евреев; в их костюмах и, должно быть, в их быту отразилась та тысяча лет, что прожили они среди узбеков: мать, в узбекском халате, лежала на пестрой перине, прикрывшись широчайшим шелковым одеялом, подобрав под себя детей,— как легла на перину, так и не вставала с нее, должно быть, решив не вставать до Яффы; отец же от времени до времени вылезал из-под перины, тоже в халате, и бегал на другой конец парохода, тоже к бухарскому еврею, поиграть в кости; мать резала арбузы и давала огромные ломти детям,— около их логовища лежала гора арбузных корок и тут же стоял ночной горшок для детишек.—Горские евреи, выходцы с Кавказа, на подбор красивый народ, держались вместе, табунком мужчины, табунком женщины,— они везли с собой кусочек кавказских вершин и ущелий,— гибкостанные, высокие, медлительно-ловкие, потомки хозар.—Если присмотреться внимательнее, украинские евреи — рослее, здоровее польских и литовских; это от того, должно быть, что, когда громили гайдамаки евреев, они вырезывали всех мужчин и насиловали всех женщин, от девочек до старух, вливая в еврейскую кровь гайдамацкую. — Почти все литовские евреи, ремесленники, были хилы. — На спардэке у трубы устроилась

семья субботников, украинцев, принявших еврейство; он, муж, кроме украинского языка знал еще древний еврейский,— она же, жена, умела говорить только по-украински; все дни она сидела так, как сидят, отдыхая, русские бабы, на полу, широко расставив ноги; голова мужа лежала у нее на коленях и она искала у него в голове вшей, — впрочем, это в то время, когда они не молились.—Старики-евреи попросили у капитана место для молений; капитан отвел им пустое трюмное помещение. Там в этом пустом трюме света не полагалось. Там была сделана моленная. Там горел десяток свечей, и все же был мрак. Там пахло так, как всегда пахнет в трюмах — и как пахнет в гетто. Там на полу, кто на чем примостился, сидели старики в талэсах, в ермолках, с коробочками тфиллнов на головах с кожанопереплетными книгами. Из трюма по жилым палубам неслись песнопения. Там в трюме нечем было дышать, глаза резало удушье свечей, там было очень жарко,— и круглые сутки там молились люди неведомому, страшному Адонаи, неистово, страстно, обреченно. Субботник-украинец молился здесь со всеми остальными, так же, как остальные, закидывая высоко горе голову.— Молодежь все время митинговала на баке.—Классных пассажиров было немного, это были зубные врачи, несколько актеров (один из этих артистов приходил к капитану со следующими словами: «Простите, гражданин капитан. Я артист московских больших и малых театров, оперный артист. У меня билет до Яффы третьего класса. Нельзя ли мне устроиться во втором, там есть свободные каюты» — —; зубные врачи, актеры, маклер все время были на спардэке, пили чай и ели из кулечков, запасенное с земли; их жены на подбор были толсты, откормленны; они нежились на шэз-лонгах и около них болтались молодые штурмана и практиканты; мужья несколько раз принимались за преферанс.

В первый вечер моря необыкновенно умирало солнце. Торжественная проходила тишина,— и тогда море и мир, все провалилось во мрак, а звезды стали такие, что, что — нельзя было подобрать к ним сравнения. В этот час никого не было на спардэке, кроме Александрова: евреи от торжества сошествия ночи ушли к своим койкам. Над водой стал месяц и быстро пошел в небеса, рядом с яркой звездой; по морю, в синем мраке, легла от месяца дорога,— и Александрову стало ясно, что, если у турок всегда такой полумесяц, как этой ночью, византийской вязи, то понятно, почему у турок, у ассиров, у мидян, у египтян были ночные, лунные цивилизации. Около месяца, застежкою, горела яркая звезда.

Утром судно пришло к Босфору, к Геллеспонту, к этому красивейшему, величественнейшему в мире земному месту, где склонились друг к другу горами Европа и Азия. Вода и небо были ослепительно сини. Солнце грело жарко. С земли дул ветер, гудел в вантах,—и от этого ветра еще лучше было солнце: такой ветер должен все раздувать, оставляя свою синь и солнце... Впрочем, вода была синей только в проливе, под бортом парохода и у берегов она была зелена, как яхонт. Направо на европейском берегу и налево на анатолийском росли фиговые леса. На вершине горы главенствовали над проливом развалины сердцеподобной генуэзской кре-

ности. На взморье было до десятка пароходов, их гуды отдавались многими эхами. Справа и слева с моря шли фелюги, под косыми своими парусами, пестрораскрашенные. Судно прошло в Кавак, в контроль. В бинокль на берегу были видны очень маленькие и пестрые восточной архитектуры трехэтажные домики, стоящие прямо на воде так, что под домами были устроены для каиков гаваньки. Над одной из гаванек была кофейня, на терраске над водой сидели люди за кальянами. Судно приняло полицию, врача и пошло на карантинный пункт, в баню. Опять за бортом зашелестела яхонтовая вода, опять задул ветер, тот, который необходим солнцу.

Впрочем, солнце, небо и землю наблюдал только один Александров, потому что остальные пассажиры были настроены так же, как, должно быть, перед погромами. — Никогда не плохо человеку помыться в бане,— но то, как делали это турки, когда они категорически гнали мыться в баню пятьсот взрослых человек, при чем никто из этих людей в дальнейшем своем пути не имел права выходить на берег в Турции,— это было похоже на издевательство.— К бане готовились еще с вечера, шептались, спорили,— старухи ходили к капитану, объясняли про свои болезни и просили заступничества капитана, не веря ему, что он бессилен оградить от мытья. Капитан сначала сердился, потом развеселел и рассказывал женской делегации о том, что в турецких банях моют евнухи, что в турецких банях есть такая специальная персидская грязь, от которой слезают волосы и которой турки моются, ибо магометанский закон не допускает волос на теле, и что этой грязью будут мыть женщин. Одна старуха, вполне серьезно, чтобы не ходить на мойку, скоропостижно забеременела, но ее же соседки подняли ее на смех и вытащили у нее из-под юбки подушку.

Судно отдало якорь около бани. С судна были спущены на воду три вельбота. Опустили два трапа. На палубы набрались добродушнолицые турки, полиция и санитары. Карантинный флаг был снят. Домики на берегу под платанами мирно дымили, дымок уходил в горы, — в анатолийские просторы и синь. Все было очень пустынно. И такой был синий под солнцем ветер. — Доктор по списку стал выкликать — Розенфельд, Геликман, Френкель, Кац, Карп! — и по трапам на вельботы поползли с узелочками люди, к бирюзе воды.

— Ямайкер! — вызвал доктор.

Никто не откликнулся.

— Ямайкер! — повторил врач.

Ямайкера пошли искать по палубам. Погрузка остановилась. Ямайкера нашли не скоро, он спрятался где-то в машинном под валами. Два турецких полицейских привели на палубу старого, очень худого человека, клинобородого. Лицо его было испуганно, борода дрожала. Он говорил о том, что жена и ребенок записаны в другом списке, и он хочет ехать вместе со своей женой. Вельбот покачивался внизу на волнах, набитый людьми. Человек с кошелкой для белья, в пенснэ, крикнул оттуда сердито:

— Товарищи, что за шуткэ! прошу относиться к делу серьезно и не понимаю из-за чего и почему шум — —

...Поистине, пароход шел по векам. Босфор, Золотые Ворота, Геллеспонт — здесь прошли все народы мира. Каждый камень, каждая развалина есть здесь память веков, от дней доисторических до норманнов, до памятника Олегу в том месте, где он поставил свои струги на колеса. Судно заходило во многие порты, но эмигранты не выходили на землю. Судно шло солнцем, морем, просторами, Егейей, там, где совершенно понятно, почему греки создали такую прекрасную мифологию, ибо Паросы, Андросы, Лесбосы, Скарпанто, Скопелосы сами по себе фантастичны, как греческий эпос, — судно шло невероятной синью моря, неба, гор, луны, восходов, закатов, дней: переселенцы не видели этого, не хотели или не умели видеть, — это проходило мимо них так же, как прошли те века, когда они не были на родине. Они не заметили, как увидел Александр Александрович Александров, что афинский Акрополь есть ключ ко всей европейской *дневной* цивилизации, этот белый, выжженный белым солнцем, единственнейший комок мрамора, ключ к истории тысячелетий, где ныне сторожиха сушит после стирки красные панталоны. — Александр Александрович Александров балдел, сходил с ума, у него на бок съезжал галстух; на автомобиле он мчал в Айю-Софию, поминал, что в этой церкви янычары в один день зарезали сорок тысяч греков тысячу триста лет тому назад (точно так же, в скобках, как в шестнадцатом году двадцатого века неподалеку в Дарданеллах были убиты и зарезаны те же тысячи людей, англичан, французов и турок, о чем памятью остались выскочившие на берег английские дредноуты, — точно так же, как в тысяча девятьсот двадцать первом году Мустафа Кемаль-паша, обложив русской тяжелой артиллерией Смирну, предложил грекам в двадцать четыре часа уйти из Смирны, всем до одного, от солдата до новорожденного, — и, когда греки не успели уйти, — сначала — тяжелой артиллерией — расколотил суда на рейде, а потом разбил, разгромил, сжег город, скинув в море до двухсот тысяч греков, солдат, женщин, стариков, детей, — оставив на обгоревших улицах, в мраморе, покой для сов, поселившихся там). Александров понуро смотрел на те несметные кладбища, города смерти, что на десятки верст могильных камней полегли вокруг развалин Стены Константина в Византии, — и весело поглядывал на могилы сорока султанских жен, зарезанных султаном потому, что он не знал, которая из них — одна — изменила ему... В Эдикюлэ показывали колодезь крови, где турки рубили головы всем, начиная с султана.— — По землям Анатолии прошли все народы. В пыли лежат развалины Сард, Эфеса, Пергамы, Магнезии, Милета, Геликарнаса. Смирнская провинция памятует трехтысячелетье, легшее на нее пылью. Магнезия, куда мчал на скверном автомобиле по скверному шоссе Александров, столица лидийских царей, переименована в Магнезию из Танталиды, основанной Танталом, — тем самым, который, украв нектар, едово олимпийских богов, угощал им своих танталидских гостей. И на Сипилском хребте, видном из Магнезии, видна женщиноподобная скала Ниобеи, о которой сообщено Геродотом и воспето Овидием, — то обстоятельство, что скала эта возникла из ока-

меневшей от горя Ниобеи. В Геликарнасе родился Геродот, — ныне там пыль и запустение, и несколько турецких лачуг. Геликарнас переименован в Геликарнас из Эфеса, — того самого, в котором, в ночь рождения Александра Македонского, Герострат сжег храм Дианы-Артемиды, — чтобы прославиться: и Александров задирал вверх голову, чтобы посмотреть развалины храма. В самой же Смирне, в теперешних ее развалинах, ютятся совы, но здесь по преданию родился и писал Гомер, — и здесь же до сих пор, — ныне в развалинах, на мостовых, построенных римлянами, по которым шли римские когорты, — пляшут под арфы левантийские танцовщицы, пляшут танец живота, застрявший из веков, и мажут себя перед танцем из веков же застрявшей амброй. — — В Егейском море, в Греческом архипелаге каждый день из сини благословением выходило солнце и благословением закатывалось, чтобы народить необыкновенную луну. Море — синевой — проносило судно мимо островов, где каждый остров — история и легенда. Ночами светила луна, и ночами на небо поднимались звезды, такие, которых никогда не видно из Лондона, Берлина, Москвы, — в полночь на несколько минут на кварту из-за горизонта выходило созвездие Пояса Иакова и сейчас же скрывалось за горизонтом. Ночью же судно прошло мимо Сенторинского вулкана, мимо этой стихии земных недр, вулканом выбрасываемых в небо. Луна меркла от вулканного красного света, было слышно, как дышит вулкан. Лицо капитана, около которого стоял Александров, было зловеще в этом красном мраке. Было очень величественно. Но на судне никто не видал этого. Александров неистовствовал от земель, городов, солнца и луны.

На судне почти не было событий. Каждое утро боцман мыл палубы, и тогда роптали палубные пассажиры, ибо приходилось перетаскивать с места на место вещи, — но шланга боцмана смывала за борт очень много грязи и объедков. В портах к пароходу подъезжали каики, и помощью веревок велась торговля инжиром, финиками, маслом, табаком, хлебом, — и тогда борт парохода походил на местечковую ярмарку, мелочную и очень шумную. Среди классных пассажиров было известно, что такая-то жена зубного врача забегает грешить в каюту радииста, и об этом знали все, кроме мужа. Поговаривали, что матросы понабрали себе жен на рейс с нижней палубы, но это делалось незаметно. Раза два были ссоры, в которые вмешивался капитан, чтобы примирить, когда возникали два ссорящихся коллектива. Однажды, уже в Средиземном море, на юте был большой шум: старик-отец ночью, проходя из моленной, увидел, что дочери его нет на месте; он пошел ее искать и нашел лежащей с юношей за якорями. Отец ее проклял. И утром толпа стариков, вместе с отцом, громко проклинала ее, на древнем языке. Она стояла у решетки фальшборта, над ней повисали проклинающие руки, вокруг нее тряслись седые бороды, и было непонятно, почему она не бросается за борт от безобразия и — почему это старики только орут, но не избивают ее камнями. Девушка же

была покойна и, когда зацеплялась за кого-нибудь взглядом, покойно говорила, одно и то же:

— Ну, и что? — Я еду из Тарбута, и мой жених из Тарбута, а он — мелкий торговец, мой отец— —

Судно протекало мимо Византии, Смирны, Пирея, Салоник, — судно шло синью Босфора, Дарданелл, Егейи, Средиземья. Все это протекало мимо. Чем дальше шло судно, тем страстнее неслись молитвы из трюма, из моленной, тем жестче сжимались руки и глотки в молитве. Уже за недалекими синями — обетованная земля; мицриам — изгнание — окончено. Каждый, кто ступит на землю отцов, поцелует эту землю, священнейшую, родину.

В Салониках, — в городе, разбитом и разграбленном так же, как Смирна, где целые кварталы лежат в развалинах, — на пароход села семья греческих евреев, сефардим. Их было семеро, старуха-мать — бабушка, сын-отец, жена и дети. Это были евреи второго — испанского — пути рассеяния. Их предки расстались с предками едущих на пароходе полторы тысячи лет назад. В Салониках неимоверно жарило солнце, день был золот и синь. Эти евреи, конечно, ни слова не знали по-русски. Они поспешно взбирались по траппу. И на палубе вся семья,—от старухи, которая шла впереди, до четырехлетнего ребенка, — все заплакали, все протягивали руки и, восклицая на древнем языке, все они — страстно, почти-истерически, как братья, которые не виделись десятки лет — попадали в объятья, страстно целовали всех евреев, что были на палубе. И те, что были на палубе, поистине, вставали в очереди, как в Москве в 1919 году за хлебом, чтобы поцеловаться, — пусть у некоторых это было формальностью. — В моленной в трюме — на железе палубы, на канатах, на подостланных матрацах — сидели люди в талэсах и тфилнах, молились Адонаи; там чадно горели свечи и нечем было дышать — —

Однажды море развело волну, это было уже в Средиземьи. И море, и небо посвинцевели, загудел в стройках на пароходе маистра, зеленая муть волн полезла на палубы. Люди тогда хворали морской болезнью. Человеческие тела завалили все палубы. Первыми затошнились женщины, потеряли в болезни стыд. Стонали, причитали, валялись не следя за платьями, их рвало тут же на палубы, около их подушек и голов. Иные висели над бортами, и ветер метал их волосы. За бортом величествовали стихии. На борту страдали люди. Меж тел ходила команда, иных тащила к борту, иным притаскивала воды, иных водила по сортирам. Ходил по палубам молчаливый доктор, больные просили у него спасения, — доктор отмалчивался, лишь изредка, неизвестно почему, спрашивал у женщин таинственным голосом, — «а что, понос имеется? —» женщины поспешно рассказывали обо всем том, как варит их желудок, — и доктор проходил мимо. Когда доктор видел уж очень победневшие лица, уж очень запекшиеся губы, он говорил санитарам, чтобы облили холодной водой и относили на спардэк, к трубам, на ветер и туда, где меньше качало. По палубам со шваброй ходил боцман, покойный чело-

ек; он подходил к тем, кто томился, и спрашивал:—«что, мутит?» — и роизводил тот звук, который не передать литерами, который производится во время рвоты, «ы-ык»,—и человека сейчас же судорожно тошнило г этого звука; боцман шваброй растирал по палубам рвоту и говорил:— амое верное дело поблевать, сразу легче. Опять же я подмыл!»—За бором стихийствовало море. В эти часы особенно много было людей в моленой. Во мраке там нечем было дышать от запаха рвоты. Огни свечей метались от качки. Там исступленно молились люди, страдающие качкой, оре поднимая запекшиеся бороды.

А в ночь перед Палестиной море гремело грозой. Во мраке исчезли ебо и вода. Только молнии кололи и рвали небо и воду, и выл ветер, гремел гром. Было очень странно смотреть, как, когда померкнет молния, светится еще — фосфорически — вода; — и тогда казалось, что рохочет громом не небо, а вода, вот та, что лезет на палубы, вот та, в котоую зарывается нос судна. Всегда величественны и грозны грозы. На судне икто не спал, но все люди, табунами, забились по щелям, дальше от грозы, страхе, в молитвах.

III.

...Впереди была Палестина — —

На Урале в России, где-нибудь около Говорливого или Полюдова амня, выбился из-под земли студеный ключ, протек саженей десять вновь ушел в землю, исчез. Проходил мимо этого ключа путник, наклоился, чтобы испить, — и не выпил ни капли, потому что вода солена з горечи, негодна для питья. Или прилег путник, чтобы испить, — и бжег губы, ибо горяча вода, как кипяток. Но путник встал, пошел дальше забыл дорогу к этому ключу, забыл про ключ — —

За грозами революций и войн, за делами, разбоем и буднями новых ародов, правящих миром — республикацев СССР, англичан, французв, немцев, китайцев, республиканцев Северо-Американских Соединенных Штатов, — за заводами Ланкашира, Рура, Токио, Чикаго, — за дипломатией Кремля, Вестминстера, Версаля, Потсдама: — как помянуть том человеческом ручье, который протек на судне Торгового флота ССР из порт-Одессы до порт-Яффы? — и какой это ключ — студеный рький ли солью, кипящий ли? — и к чему этот ключ, — что можно им омкнуть, отпереть? — —

... Там, за синей мглой моря, была Палестина, эта страна выгоревего камня, страна песков и зноя,—эта страна, где больше, чем где-либо, ошло великое разрушение древних цивилизаций, — безводная страна, е только у оазов растут пальмы, — брошенная страна, ибо никто не праве сказать, что это—его страна.—В Палестине девять месяцев в году т дождя, и тогда над землей стоят столбы красной пыли, и тогда такой ар над землей, жар пустыни, что нужны усилия фантазии, чтобы не спуть Палестину со сплошною печью. Потом три месяца под-ряд льют ливни,

и люди тогда хворают папатаджей, страшной болезнью, окончательно изнуряющей (впрочем, так же, как в жары непривыкший человек погибает от болезни харара, изъедаемый москитами). В ливни Палестина превращается в болота. В ливни Иордан, обыкновенно шириной в уличную лужу, разливается до четверти ширины русской Москвы-реки. В ливни, в болестях папатаджи, люди заботятся о воде, в этой безводной стране, собирают ее в подземные цистерны, чтобы потом в девять месяцев без дождья пить эту дождевую муть, ибо другой воды нет в этой стране, кроме морской, которую опресняют по побережью морскими опреснителями. В этой стране естественно растут только кактусы, пища арабов, да у оазов пальмы. Здесь на камнях, с страшным трудом, арабы взращивают апельсины и касторовое дерево. — В этой пустыне живут арабы и сафары, местные евреи. Их быт — быт пустыни, корана и библии: быт колокольцов на шеях верблюдов, этих тоскливых колокольцов в пустыне, быт осла, быт деревни за кактусами и за пальмами, где ручными мельницами женщины мелют зерна, женщины в чадрах, и куда не заходят европейцы в боязни быть убитыми, — быт пыльных городков с зловоннейшими улицами, где не разойдутся два верблюда и где обязательно запутается европеец, — с мечетями, где дворы мечетей превращены в постоялые дворы для ослов, — с кофейнями, где левантийки и феллашки пляшут танец живота, — быт кальяна, мечети, синагоги, корана, библии, — беспаспортный быт, ибо даже англичане не в силах навязать арабам паспорта, — быт страшного солнца и величественной луны, когда воют в пустыне шакалы, — быт песков, которые ползут на Палестину из Аравии, — многовековый, старый, нищенский, тесный, упорный быт.—В Иерусалиме столкнулись святилища трех великих религий: мечеть Омара, где Магомет ушел с земли к Аллаху, — гроб Иисуса Христа в темном подземелии — и развалины Иерусалимской стены, стена еврейского плача; каждая из этих религий, пока она не умерла, не отдаст своих святилищ.—Англичане пришли в Палестину «по мандату», в эту «мандатную» страну, с тем, чтобы создать Великое Арабское Государство, никому не нужное, кроме англичан, — и нужное англичанам к тому, чтобы проложить сухопутную дорогу в Индию. И англичане сделали из Палестины «национальный еврейский очаг», с тем, чтобы еврейским мясом колонизовать арабов, — с тем, чтобы дать повод к горестной еврейской остроте (ибо еврейский народ всегда сам про себя выдумывает анекдоты), остроте о том, что в Палестине — власть английская, земля арабская, а страна — еврейская! — Англичане жили в лагерях в Палестине, за пулеметами и солдатами, и в тот час, когда на окраинах под луной начинали выть шакалы, англичане скрывались в своих лагерях, за пулеметы.—Евреи приезжали в Палестину—работать, хлебопашествовать. Первым делом — по сравнению с арабами и сафарами — они оказывались *европейцами*, по костюму, по манере жить, по понятиям, в своем неумении пить протухлую воду, в страданиях от жары, папатаджи и харары. Те евреи, которые приезжали с деньгами, ехали в Тэл-Авив, в городишко около Яффы, куда *запрещен* доступ арабам

и где можно было бы жить, если бы у человека было по сто восьмидесяти зубов, по десяти ног, и если бы человек носил бы сразу по полудюжине карманных часов, ибо тогда хватало бы работы на всех дантистов, портных и ювелиров, съехавшихся в Тэл-Авиве; но у человека гораздо меньше зубов, — и те евреи, что приезжали с деньгами, попросту скоро становились нищими. Те евреи, которые приезжали через Тарбут и Эхолуц, шли в английские казармы; сюда брались люди только до сорока лет, — там им давались одежда, обужа, пища и несколько пиастров, — и они мостили для англичан дороги, рыли каналы, высверливали воду, окапывались от ползущих песков, при чем мужья жили в одних бараках, а жены в других, — их кормили англичане за длинными казарменными столами, и вечером казармы запирались. Третья волна евреев шла на землю, та, которой посчастливилось получить денег от барона Ротшильда или с американских подписных листов, — тогда они копали камень, рыли гряды, ссаживали в неуменьи руки, изнывали от жары, наспех читали брошюры по сионизму, жили в палатках, — а ночью, когда поднималась луна и выли геены, брали винтовки и караулили поля, ибо арабы не утеряли еще память о филистимлянах, восстанавливали филистимские времена и нападали ночами на евреев.—Англичане не смешивались с евреями и арабами.— Евреи не заходили в арабские деревни.—Арабы не пускались в еврейские поселки.—В пустыне глухо позванивали бубенцы верблюжьих караванов. На Иудейскую долину наползают пески пустыни. В Хайфе надо часами путаться в арабских закоулках, в зловонии, — можно часами любоваться — европейцу — ослиным постоялым двором под мечетью и базаром, тут же около мечети. Главная улица Тэл-Авива нищенствее, но похожа на Уайт-Чапль-стрит в Лондоне и на одесскую Дерибасовскую. В Яффе — на глаз европейца — такая теснота в переулках, такая красота, такая экзотика, — так необыкновенны эти широчайшие белые штаны арабов, пестрота нарядов, красок, лиц, звуков, — под этим воспаленным солнцем, — так прекрасны, так красивы сафары и сафарки, библейские евреи, мужчины на осликах, в белых хитонах, с пейсами до плечей, с лицами, похоронившими в себе тысячелетье, — женщины, единственные здесь, кроме европеек, с непокрытыми лицами, — с лицами, скопившими в себе тысячелетья красоты Сиона — —

...Ночь перед Палестиной в море неистовствовала грозой. И всю ночь перед Палестиной страстно молились евреи, — перед той прекрасной, обетованной землей, их родиной, где не были они два тысячелетия, — молились в страхе, в стихиях, в громах, посланных им Адонаи, — молились, должно быть, так же страстно, как молились в этом море многажды, несколько тысяч лет назад, в золотой век Ассирии, Лидии, Египта, Греции, когда здесь, в бурях и грозах, гибли галеры и на галерах молились люди, — молились так, как молятся перед гибелью.

Тогда к рассвету стихла гроза, и на рассвете в синей мгле возникла желтая земля пустыни, пески, камень, — только очень далеко вдали,

за песками были видны синие горы. Люди вышли на палубу. Люди принарядились, чтобы крепче подчеркнуть свою нищету — нищету смокинга в утренний час. Капитан сверкал кителем. Александров вышел на палубу в огуречном шлеме, нарядный, свеже выбритый, в белом костюме. Вода была зелена. Небо синело так, что об него можно было вымазаться. Судно блестело чистотой. Краски и солнца, и воды, и неба, и судна были совершенно первородны, голы, без полутеней, точно их вырезали ножницами. — Берег стал ближе, видны стали пальмы на берегу, белые груды домов, мечеть, два парохода на рейде, фелюги, каики. И моторная лодка пошла к пароходу. Люди на палубах были в священной строгости, торжественны. Эхолуццы столпились на спардэке, рядами, готовые запеть свой гимн, в задних рядах был приготовлен сионистский флаг. Старики и женщины были готовы упасть на священную землю, чтобы поцеловать ее, и готовы были целовать тех, кто сейчас придет за ними.

Судно пришло в Палестину 1 ноября: несколько лет тому назад 2 ноября министр сэр Бальфур написал лорду Ротшильду о национальном еврейском очаге в Палестине. Моторная лодка пристала к штормтраппу. Трое — три англичанина в военной форме, офицер и два сержанта — вошли на борт. Эхолуццы на спардэке закричали ура, запели гимн, заприветствовали, — старики бросились вперед с простертыми руками, спросить и узнать: — ни один мускул не дрогнул на сухих, выявленных лицах англичан, они прошли мимо толпы, точно толпа была пуста. Англичане прошли на мостик к капитану, улыбнулись, поздоровались, спросили о море и о погоде, сострили. Капитан широкоруко «вэри-матчил» и «иэзил», разводил руками, хохотал, предложил русской водки и икришки. Англичане не отказались, белоснежный лакей за тэнтом на спардэке заблестел кофейником, салфетками, тарелками, кеглей летая мимо толпы. Англичане были озабочены, и за водкой обсуждали совместно с капитаном — нижеследующее: назавтра, 2 ноября, в день декларации Бальфура, ожидалось анти-еврейское выступление арабов; англичане не имели права сразу выпустить евреев на землю, без карантина и бани баня же могла пропустить только триста человек, — а карантин стратегически так был расположен, что можно было ожидать нападения на него арабов; англичане предлагали судну уйти на эти дни в море; капитан широкоруко хохотал, пил водку и доказывал, что каждый день простоя стоит ему двести фунтов, — тем паче, что пассажиров надо кормить; тогда стали торговаться о цене. Англичане пили водку не хуже капитана. Капитан и англичане за водкой хитрили больше часа. Тогда англичанин, офицер, вышел к толпе и сказал о том, что они, англичане, триста пассажиров примут здесь в Яффе, по алфавиту, кроме первого и второго классов, которые могут сойти с парохода без карантина, триста человек, — остальные же будут отвезены пароходом в порт-Хайфу, в хайфский карантин. Говорил англичанин по-русски. Англичанин сказал евреям, что они должны быть осторожны, запретил петь гимн, чтобы оправдать гостеприимство арабов. Англичанин сказал, что он, подплывая на катере,

видел сионистский флаг, — и англичанин предложил флаг сдать ему, англичанину. Толпа эхолуцщев окаменела. Англичанин твердо попросил его не задерживать, — но сам не тронул флага, глазом указав сержанту принять его и убрать. Тогда англичане ушли на катер, ни мускулом не простившись с толпою, и с парохода видели, как в зеленой воде поплыли синие лоскутья знамени. Тогда не стоило уже говорить об огне глаз приехавших в обетованную землю, ибо на борту стояла растерянная толпа, избитая так же, как избивали в древности камнями, — такая толпа, какою она была многажды, в дни еврейских погромов, — такою, когда еврею всячески хочется доказать, что он не еврей. — И тогда на место англичан приехала на каике делегация местных евреев, представители разных организаций, — чтобы начать приемку приехавших; среди них были и женщины, и у всех у них почему-то были очень пыльны ноги, точно они прошли огромные десятки верст; никаких приветствий не было; делегация села за столик и стала выкликать — Авербах, Альтшуллер, Аронсон. — Первым сошел с парохода Александров, потому что у него была виза корреспондента и туриста, — а с десятым пассажиром, с женщиной — —

— — ей было сорок два года, она приехала через Тарбут, эхолуццка, — и ее не выпустили на берег, она должна была плыть обратно, потому что англичане пускали в Палестину эхолуццев только до сорока лет, так как, должно быть, люди после сорока лет уже не годились для палестинского режима; женщина плакала и говорила, неизвестно к чему, что она девственница, — она действительно, должно быть, была девственницей, и у нее никого не осталось в России, — брат ее был в Палестине. Ее оставили на борту, не пустили на берег, и брат махал ей — растерянно — кэпкой с лодки — —

Порт-Яффа — в сущности — никакой порт, ибо он с трех сторон открыт ветрам, а каменные рифы у берега только увеличивают опасность для пароходов, стоящих на рейде. Но всегдашняя волна на рейде приучила гениально работать арабов: на волне они работали лучше, чем турки у Золотого Рога. Ночью в тот день был шторм, теперь шла волна. Шаланда, ставшая у борта парохода, вставала на дыбы. Арабы — красивейший, сильнейший народ — плясали на пляшущей шаланде и очень шумели. Цепь арабов стала на трапе и на борте. Они ссаживали на шаланду пассажиров. Араб на борте подхватывал пассажира или пассажирку, поднимал на воздух и бросал вниз на трапп; там подхватывал второй араб и сбрасывал дальше; пассажир летел над водой, — но внизу на кипящей, на встающей на дыбы шаланде подхватывали двое уже арабов, и обалдевший, перепуганный, орущий или визжащий пассажир летел на уготованное ему место на банке; в это время летел уже дальнейший пассажир, и первый не успевал опомниться и рассесться, как пустое около него место занимал следующий обалдевший. Когда шаланда была окончательно набита людьми, она уходила — не на землю, которую так долго ждали, чтобы поцеловать, — а: в баню, где по команде мыли взрослых людей — —

Путь был закончен. — Или начат? — —

. . . .

...Команду парохода англичане не выпустили на берег, сошли только капитан и Александр Александрович Александров. Отвал был назначен на полночь. Но капитан распорядился, чтоб, если будут сильнеть волна и ветер, или раньше срока восстанут арабы, — давать гудки и разводить пары.

Александров на каике приплыл в гавань, прошел каменными лабазами и закоулками, вышел на площадь во всекрасочную толпу арабов, евреев, ослов, верблюдов, муллов, автомобилей, пальм, хибарок, кофеен, лавочек с луком, финиками, апельсинами, кактусовыми шишками. Александров у стойки, выходящей на улицу, выпил мастики, раз, два и три. Шлем его сполз на затылок, сухие губы под английски-подстриженными усами полуоткрылись, открыли золото зубов, лицо обливалось потом, было стремительно, чуть-чуть хищно. Он купил себе английских сигаретт, сладко закурил, — пошел по пальмовой аллее, где под пальмами неподвижно сидели, поджав под себя ноги арабки, в белых чадрах, карауля верблюдов и поджидая мужей, и где не так уж вопили торговцы. Там он кликнул себе автомобиль, скомандовал мчать в пустыню, в Тэл-Авив, в Иудейскую долину, — машина пошла мимо кактусов, мимо бесконечных кладбищ, мимо пальм, мимо арабской деревни (Александров приказал остановить машину, хотел пройти по этой деревне, — за кактусами тесно столпились белые мазанки, стали кружком ослы, головами вместе, сидели на порогах женщины; шоффер, с которым Александров до этого говорил по-английски, непокойно сказал — по-русски, с одесским акцентом: — «не стоит туда ходить, неприятность будет». — «Почему?» — спросил Александров. — «Так, знаете ли, еще чего доброго убьют», — ответил шоффер). Мчали мимо огородов, возделанных лопатой, — и пустыня оказалась рядом, в нескольких километрах: красновато-желтые пески, волна за волной, точно умершее море, — и пески уходили за горизонт, даже пальмы не торчали в песках, — и оттуда, с песков веяло нестерпимым жаром, испекающим. — Машина вернулась, чтобы мчать по Иерусалимскому шоссе, в Иудейскую долину, — влеве на песчаных и на каменистых холмах остался Тэл-Авив, «холм весны». Прошел навстречу запыленный отряд, вздвоенными рядами, — ашомер, — еврейской вооруженной стражи, — винтовки и покрой одежды были английские, лица были утомленны и пыльны — —

В десять часов капитан и Александров встретились, как уславливались, в портовой таверне. На пороге кофейной стригли мальчику голову, голова была в струпьях, и из-под струпьев ползли вши. Трое играли на непонятных инструментах очень тоскливое, как пустыня, и сплошь дискантовое, — четвертый бил в бубен. Сначала плясали два мужчины, араба, потом еще пара мужчин в женских платьях, — потом плясала старуха, очень грязная, но продушенная амброй. Александров пришел

ьяным; капитан, который выпил вдвое больше Александрова, был благо-ушно трезв. Александров махал палкой, говорил об ослином постоялом воре, о красавице-сафарке, о тартуше, куда его завез выпить напитка з индийского дерева шоффер и где он напился дузики, — записывал то-то поспешно в блок-нот, — смотрел с восхищением, как пляшут два лясуна в женских нарядах. Нарядный костюм Александрова был ылен и растерзан.

Капитан наклонился над Александровым, сделал серьезное лицо, асправил усы, помолчал и заговорил:

— Александр Александрович, я хочу вас спросить, извините, — ы на самом деле еврей?

— Да, еврей.

— Извините, Александр Александрович, — ну, вот, вы приехали а родину, ну, вы все видели, как мы везли их, как их приняли, — ну, обще...

И Александров заговорил поспешно, весело:

— Я совсем обалдел от красоты. Я, ведь, во всех портах выходил, ак только отдавали якоря, выходил на берег и ложился спать, только огда уходили в море. Я первый раз вижу это солнце, эти синь, тепло, оре, горы, историю наяву, в руках. У меня море спуталось с греками солнцем, с днем, — а Мустафа Кемаль-паша и его революция непременно язаны с ночью Ирана, Азии, Ассирии, Сирии, — и исторические века ловеческой культуры непременно связаны одною силой с Сенторин-им вулканом; — силы, толкающие лаву из вулкана, — это именно те лы, что толкают человеческие цивилизации, что толкнули нас, комму-стов, на мировую революцию. Мои предки жили и здесь, в Палестине, в Риме, и в Испании, и в — чорт их знает, где они жили эти тысячи лет! , что приехали сюда, что-то сохранили за эти тысячи лет, — у меня чего не сохранено, ни один народ, ни одна страна мне не мать, я все гу только любить и видеть. Вы заметили, те, что ехали на судне, никуда смотрели, ничего не видели. У меня нет родины, моя родина и мои дичи — весь земной шар и все люди, — я интернационален, потому что две тысячи лет терял родину, и я коммунист, потому что я умею видеть, меня есть ремень, приводной ремень, который я знаю, который пере-шинит весь мир. Я хочу и умею видеть. Весь мир мне родина. Я смотрю этих танцоров, — из них прут века, так же, как из Стены Плача, так же, к из русского мужичишки, как из английского потомственно-почетного бочего, как из Сенторина, как из Акрополя. Это мой приводной ремень. меня, быть может, есть холодок веков моих предков, — я лучше вижу, люблю: но — тем лучше я вижу! Вот этого танцора я люблю, потому вижу, статистически вижу — —

— Вам все равно, что Россия, что Англия, что Япония, что Пале-на? — спросил капитан.

— Все равно! — мне — —

Капитан неодобрительно пожевал губами, посмотрел косо, и первый раз стало заметно, что капитан — подвыпил. Капитан расправил усы и сказал таинственно:

— Вы, стало быть, анти-семит? — Я в партии с 1917 года, всю гражданскую войну на плечах вынес, — а вот тоже не люблю еще японцев. Придешь к ним в порт, положим, в Токио, а они — чорт знает что за народ! — и капитан сделал до слез презрительную рожу.

. . . .

...У полночи капитан и Александров возвращались на борт. Шли они дружно обнявшись, не спеша, покачиваясь. Пароход на рейде давно уже отгудел третим гудком. В порту было темно, и мыльными пятнами ложились лунные блики на камень, по которому, быть может, хаживали и Иисус Христос, и цезарь Тит. Луна огромными осколками ломалась в море. В каике спали арабы, поджидавшие капитана. Капитан разбудил ближайшего, тот улыбнулся, сказал дружелюбно — «москоби, большевик!» — и растолкал товарищей. Где-то совсем рядом провыл шакал. Проснувшиеся арабы заклекотали, как клекочут орлы, просыпаясь перед рассветом. Синяя волна обсыпала большими и малыми осколками луны, качнула, не пустила каик от берега. Арабы заклекотали, потащили лодку, пошли за ней в воду. Тогда волны приняли каик в свой ритм. И в ритм волнам, и в ритм веслам, как птицы, опираясь одной ногой о банку и отталкиваясь другой от борта, повисая над водой, похожие на птиц, загребли арабы. И чтобы грести дружнее, они ободряли себя короткой, гортанной песней, значащей приблизительно то же, что российская дубинушка. Они всклекотывали:

Мы, мужчины, молодцы! Мы, мужчины, молодцы!
Боже мой, путь еще не кончен! — путь еще далек — —

IV.

«Вот арабская песня:

Мастер, осторожней касайся глины,
когда ты лепишь из нее сосуд, —
быть может, эта глина есть прах возлюбленной,
любимой когда-то: —
так осторожней касайся глины своими теперешними
руками» — —

На Урале в России, где-нибудь у Полюдова камня, идешь иной раз и видишь: выбился из-под земли ключ, протек саженей десять и вновь ушел в землю, исчез. Наклонишься над ключом, чтобы испить, — и не выпил ни капли: или солона вода, или горяча вода, — а иной раз и не хочется пить, но наклонился и — нет сил оторвать губ от воды, — так

хороша она — — И вот тут, лежа у ручья, видишь, как один за одним — сотни, тысячи — гуськом ползут муравьи, падают в воду, плывут, тонут, ползут: эта армия муравьев пошла побеждать, умирая — —)

...Судно шло обратной путиной. Было 3-е ноября, — через четыре дня наступала годовщина Русской революции. На судне были будни. На спардэке заседал судком — судовой комитет. Годовщину революции приходилось праздновать в море. Общее собрание вырешало, как провести праздники. Александрову поручили проредактировать стен-газету. Затем все принялись за уборку судна. Подвахта кочегаров примостила к трубам доски на манер того, как примащивают их каменщики и маляры на постройке новых домов в России, — залезла на эти доски, повисла на них и размалярывала заново трубы, пела про Камаринского мужика.

Капитан лежал в шэз-лонге, с блок-нотом на коленях: писал воспоминания об Октябрьском перевороте в Одессе.

Плодородие.

Рассказ.

Всеволод Иванов.

Посвящается Феде Богомильскому.

Глава первая.

Прибежал сынишка Алешка. Весело тряся недоуздком, радостно крикнул, что Серко разорвал путы о камень и ускакал в гольцы. Смеяться было нечему, Мартын со строгим лицом повернулся к сыну и нехотя вытянул его по потной спине недоуздком. И когда ударил, стало так тоскливо и жалко: то ли сына, то ли затерявшуюся в горах лошадь, — он перекрестился на видневшийся через заборы крест молельни и сказал кротко жене:

— Ты уж обедать не жди... дегтем кабы смазана была, тогда бы не угнала, а то теперь овод, поди, ее к лёдову затурил. Вот гнилота: путы — на что волос, а и то — сгнил. Скоро и пригоны порушит... работашь, работашь...

Жена его, маленькая болезненная и тощая словно недосиженный цыпленок, зная, что напрасно говорить и напрасно сердиться, далеко брызгая жидкой слюной, все ж крикнула ему:

— Заработался, леший!.. мотри: толстый как церква. Ишшо дите беззащитное бьешь, ты бы себе за свою леность по мусалу съездил. Ох, пропасть бы мне скорее...

Чтоб подняться к гольцам, нужно было пройти через все село, через кладбище и сосновую рощу, оттуда начинался березняк, затем Святой Овражек и, наконец, — гольцы. Мартын достал единственную новую ситцевую — в большой цветок — рубаху. Пелагея даже побледнела от злости, прижалась к голбчику, рот у ней пересох, и ей самой стало страшно своего гнева. Она ткнула ему вслед тощим пальцем, словно пронзая что́; разглядела свой палец, — и тонко, будто с большой высоты, завыла.

Улица шла по берегу, где на необычайно зеленой траве вверх днищами были раскиданы лодки. Над берегом и озером тлелся легкий как дремота

гуман. Отдаленные горы, как снежный обруч висевшие над долиной, гоже были в синевато-розовом тумане.

Один лишь бот, принадлежавший Мартыну, валялся ближе всех к воде, боком, — днище было треснутое, пакля вылезла, и, обиднее всего, кто-то нагрешил под него. Ребятишки, наверное!

Мартын хотел поругаться, но вспомнил, что не только бот, но и сети его давно сгнили. Было жарко, собаки, высунув ровные розовые языки, лениво глядели на него, словно приглашая проходить и не мешать сну. Мартын бодро дернул плечом, оправил рубаху:

— Направлю; вот с понедельника али со вторника начну...

Ему, неизвестно с чего, стало весело, — он любил уходить в горы. Там легко думалось о кладах, редко встречались сельчане, при первом же слове упрекавшие его в лености. Сельчане были староверы, — киржаки по-алтайски, любили с благочестием помогать друг другу, любили, чтоб упоминали часто об такой помощи. А Мартын все забывал, и благочестием его наполнить было так же трудно, как бочку плевками.

Когда он начал подыматься проулком ко кладбищу, навстречу ему попалась Елена, жена начетчика Скороходова. Она была высокая, полная, льняные косы выбивались из-под длинного платка на синий старинный сарафан. Мартыну понравилось какое-то раздолье, несущееся от нее, пухлые белые руки тихо потрогали маленький подбородок, когда над ней низко пролетела сонная ворона.

— Здравствуйте, Мартын Андреич, — протяжно сказала она, плавно проходя мимо него. И белые руки ее — казалось — неистово как-то улыбнулись.

— Иех, касатка, — сказал ей Мартын вслед, — иех, поповски дочери — што голубые лошади: либо добры, либо дики.

И вдруг у него громко — будто в реве — заныло сердце. Сначала он словно бы сдержал себя, — но оно мотанулось будто щука на крючке, сорвалось, — и понесло. Мартын глядел в радужные от древности стекла окон — какие-то мелкие рыбешки дрожали в них. Солнце поднялось высоко; басом, точно бык, прокричал петух; мальчишка с псалтырем в обеих руках торжественно пробежал мимо Мартына.

На кладбище он посмотрел, как над могилами, старинными голбчиками в виде маленьких домиков, опушались березы. Вспомнил почему-то, если в радуге выделяется зеленый цвет — к урожаю, и — взглянул на небо. В Святом Овраге он послушал, — не ржет ли Серко, хотя помнил, что путал его версты за три от Оврага на березовой елани — поляне. Подле одного пня, похожего на сига, увидал перезревшую, почти темную землянику. Ягоды были темные и приторно сладкие. Он выплюнул их с омерзением и пошел по березняку выше. Вспомнил он еще о разрушившемся боте и — решил, что и тут чем-то виновата Елена!

— Краля толстопузая, — уныло сказал Мартын, — тоже лезет!

И опять заныло сердце, и трава под ногами казалась жесткой, словно солома.

— Я те мурсало-то расквашу, попади на меня.

И он закричал так, что даже сам вздрогнул:

— Серко-о!.. Сер-ко!!. Ну-у!..

Эхо отчетливо без перекатов повторило его крик. Рассыпчато покатился камень. И эхо и тилиликанье камней указывало на близость гольцов. Мартыну надо было взять вправо, а он полез влево по самой крутой тропе. Облепиха путалась в коленях; громадная паутина с жирным пауком посредине села ему на лицо. Теперь вокруг него были матерые лиственницы, кое-где с них пластами была снята кора (для покрытия хлевов); яро-желтая смола походила на ледяные сосульки. Подосинники синели в траве; дятел говорил где-то о кладах. Мартын огляделся — и опять рассердился не то на лошадь, не то на Елену. Прохлада охватила его, он лег полежать — ко сну он был падок,— но в боку вновь словно хлестнулась заноза. Он ударил по стволу лиственницы, так что на недоуздке осталась сера:

— Опоили меня, што ли, чем?

Глава вторая.

Осиновые листья лежали кверху изнанкой. Осинник и попавшийся овражек густо заросли пучками. Мартын, как дети, любил пучки. Сломал одну, есть не мог, — и, даже не думая о ней, полез влево. На самом дне овражка Мартын выронил пучку — и поскользнулся на ней. Упав, он вдруг ощутил мокрый холод в колене, наклонился ниже. Прозрачный до того, что паутинка, упавшая вместе с сучечком, виднелась на донышке его, маленький ручеек пробирался у него под ногами. Овражек — показался ему незнакомым. Жужжали пчелы, должно быть недалеко: пасека. Он поймал пчелу, она ласково зашипела у него в ладони, будто торопя его выпустить,— и не укусила. Он последил за ее полетом и пошел по ручью дальше.

То, что тут тек ручей, казалось ему большим непорядком, и это даже заглушило его сердце. Откуда ручей? Озеро в долине Кок-Таш наполнялось весной тающими снегами со склонов гор; осенью оно сильно мелело — и тогда легко было ловить карасей и линей.

— Родник, видно, забил. Придется проследить, да и Серко небось к воде вышел. Где ж, коли не у воды искать коня?

Овраг скоро кончился, ручеек тек уже из березняка. Был ручей теперь шириной не больше поларшина; тек он так медленно, — упавшие березовые листья долго цеплялись друг за друга словно играя, а потом качаясь скользили дальше. А местами вода была столь прозрачна, что ее можно было заметить только по журчанию.

— Не иначе, родник.

И вдруг, выходя из березняка, он увидал болото: самое настоящее болото, с мелкими кочками, поросшими остро пахнущей осокой. Это было уже совершенно чуднό — никогда по склонам гор, окружавших долину Кок-Таш, не слышно было о болотах.

— Да заплутал я, што ли? — и Мартын встревоженно поднялся на высокую безлесую скалу. И тогда сразу, поверх запахов хвои, снизу из долины пахнуло на него цветущими хлебами. От волнения у него словно колос прошел по горлу. Ему казалось, что сквозь синеватую пленку тумана, закрывавшую озеро и долину, он видит поля, плотно затканные севом; звенят усики; подмигивает игривый овес; просо — лохмато, будто староверческие бороды... много телег едут осматривать поля; голоса звенят ясно, — значит, будет ведро, будут закрома подперты кедровыми слегами, чтоб не развалились...

— Соберу зерно, ружье обязательно куплю, на горносталя уйду в камни... а там видно будет...

Он вновь вспомнил Елену — и кинулся к ручью.

Болотом итти было трудней, осинник перегнил — часто нога вязла в кислой няше — грязи. Перед самым концом болота, из осинника выскочил журавль. Нелепо расставляя ноги, он разбежался, оглянулся со страхом — и медленно полетел. Поднявшись над скалой, на которой был Мартын, журавль тоскливо курлыкнул. И журавль, и болото, и тоска — все было зряшнее, пустое, — — Мартын обрадовался гольцам, обширному серому полю, голым скалам вдали и твердому, с каменным запахом лишаев, ветру.

А ручей уже был величиной с шаг и встречал его грохотаньем влекомых им галек.

— Чисто навожденье!.. и Серко не могу найти...

Он поднялся совсем высоко, едва ль заскачет сюда конь. Болотце, через которое он проходил, — далеко внизу, — закрыл туман. Показались впереди холодные, крытые рыжими лишаями, словно обдерганные скалы. Сверху хлынул ледяной ветер, знобким коробом натянул за плечьми рубаху. Мартын, вправляя рубаху в штаны, упрямо потряс недоуздком:

— Я-то узнаю, в чем тут запалошная события!..

Солнце поднялось высоко, но было прохладно. Шаг становился все легче и легче, но было такое чувство — итти-то он шел, а словно часы не сходил с места. Закопошилась знакомая всем — долинная тягость, но все же Мартын не повернул назад.

Слева из гольцов вышла темно-бурая гряда холмов. Ручей уперся им в бока. С самого высокого холма Мартын разглядел внизу, еще левее, начало пустынной каменистой долины, соседней с Кок-Ташем, называемой Талас. Она была необитаема, гола, холодные потоки вод с ледников устремлялись туда, чтобы, соединившись в реку, направиться в Нор-Зайсан. На холме было еще холоднее. Он вновь спустился на гольцы.

Наконец, он увидал Тиляшские неприступные скалы. Они подымались в густое синее небо. Вершины их походили на поставленные дыбом челноки; огромный беркут, словно часовой, нехотя и злобно кружил над ними. За скалами начинались ледники, незнаемое ледово, вечные холода, смерть.

И здесь-то Мартын увидал — огромная с часовню глыба, выпавшая из скалы, открывала что-то похожее на окно или погреб. Там словно синие нити в ткацком станке блестели тускло льды, и оттуда-то хлестал на волю неизвестный ручей. Выше и по бокам ледяного погреба шли широкие в ладонь трещины, осыпался щебень.

— Дивеса, — сказал со смехом Мартын. Он был доволен, что знает, откуда течет ручей. С розового, похожего видом на паука камня он наклонился напиться из крошечной запрудки. Беркут отразился в воде, и ему показалось, что беркут летает над ним.

— Брысь, — весело сказал он.

Но вода была столь холодна, что словно молотком ударило его в зубы. Спокойствие охватило его; он свистнул; подмигнул неизвестно кому и побежал вниз. На одной из еланей он встретил Серко, стоявшего по голову в траве и яростно отмахивающегося тощим хвостом от оводов. Конь, увидав хозяина, заржал — в редких зубах его торчали листья таволожника. Таволожник цвел, значит, хорошо пойдет в сети карась, шибко пойдет.

Глава третья.

Утром он почистил Серко, и баба долго дивовалась на его усердие. Дальше ему захотелось на озеро. Он вычерпал бот, кое-как затукал щели куделей, Алешка сел за лопашные весла. К курье — узком протяжении озера, заросшем камышом, — встретились им рыбаки-сельчане, сытые, здоровые. В ботах у них стояли большие корзины, наполненные рыбой: золотисто-серыми карасями и темно-янтарными линями. Похвалили Мартына: «надо, надо, клев на уду».

Мартын смазал морду внутри пресным хлебом, вода, казалось, гнулась под прутьями морды, когда он опускал снаряд. Долго и весело расходились круги по воде. Утро было крепкое, как холст; кудерочки облаков ходили стайками. Жить бы поживать, да посмеиваться в такое утро, да в таких местах!

Ресницы от теплоты слипались, словно березовые мочки. Мартын начал смазывать вторую морду, — но вдруг опять защемило сердце, он отодвинул горшок с тестом и посмотрел на горы.

— Пàрит, Алешка?

— Но, пàрит, — возразил ему Алешка, — я вижу, на сеновал хошь. Сичас ветер с лèдова подует, жара-то и схлынет. Я самолов поставлю.

— На поле надо сходить, поворачивай-ка, Алешка.

Алешка обиделся.

— Дай хоть морду спущу.

Он ловчее и быстрее отца поднял широкую плетеную, похожую на корчагу, морду. Мартын удивился на его сноровку, но было обидно, что сын не почитает его; гляди — лет через восемь прогонит отца на палати и возьмется за хозяйство. Мартын сказал ему об этом.

— И будешь...—уверенно ответил Алешка,—лежи!

Мартын рассердился, выругал его.

Вытащив бот на берег, Алешка взял нож и пошел в березняки за вениками, а Мартын направился на пашню. Погонка хлебная — концы колосьев, образующих ровную землю плоскость — блестела словно начищенная; изредка над ней выныривали от легкого ветра князьки: более высокие и крупные колосья. Все было как нужно — в цветенье дул легкий ветер, погода ясная, в колосе завязывалось доброе зерно. Пахло теплой соломой и сухой землей; в пыли играли воробьи; перепел выстукивал: «вот идет, вот идет»...

Мошки бились табуном, бабочек-белянок было много — все к урожаю, к ясности,— сердце у Мартына захолонуло еще больше: от жары что ли, или устал, много пробыв над водой. Он вернулся домой, влез на сеновал — баба только что привезла накошенной травы. Трава была мелкая, точно волос, и пахла медом. Он тупо выслушал бабью ворчкотню, даже не обругал, — и так лежал до вечера. Угрюмо смотрел он на ветхую крышу сеновала и так мотал головой, будто крыша могла сейчас упасть и раздавить его. Так он пролежал до вечера, а вечером поел картошки с луком, переложил топор под лавкой лезвеем к стене и — вернулся опять на сеновал.

И следующий день пролежал Мартын. Баба начала беспокоиться.

— Болит где, што ли?

«Разве к доктору съездить?» — подумал Мартын. Но доктор жил далеко, за двадцать верст, к тому же Мартын думал, что доктора могут помогать только в животе, до всего остального они еще не дошли.

— Чего ж лежишь ты тут будто лёдово?..

Мартын вспомнил синюю стену льда, выдавившего дно скал, холодный ручей, бьющий с рокотом из-под льдов.

— Ты мне на завтра хлеба отложи. Мне надо в камни сходить.

Утром он, верно, ушел в камни.

«Выкупаться, гляди — поможет», — думал он, идя Святым Оврагом к болотцу.

На болотце была уже довольно глубокая топь, кое-где по открытым местам ветер, прорывавшийся через осинник, колыхал по воде осоку. Крякали утки, легкий пар подымался от затопленных пней. Мартын обеспокоился, что придется далеко обходить болотце — не раздалось ли оно еще в ширину. Поток за болотцем стал еще шире, он увлекал с собой камни величиной с гусиное яйцо, с шипеньем рыл в гольцах свое логово. Камушек, где еще недавно Мартын стоял и пил воду из потока, был под водой и, казалось, вырос. Лед под скалами сел ниже и отверстие погреба расширилось. Мартын сунул в поток руку — ее захватило будто петлей и повлекло...

А тоска оседала на душе все ниже и ниже, как эти льды. Мартын вышел из тени скал и ему сразу стало теплее, хотя с ледников через скалы несло холодом.

— Жара-то какая... ледово-то тает как поди там... Ишь, ведь, камень роело, чисто крот...

И он подумал, что сейчас начало самой жары, льды начнут таять по-настоящему недели через две... Солнце упало в погреб, и льды ощерились словно клыки. С металлическим звоном откололась глыба величиной с бочку и, качаясь, выкатилась по потоку, на гольцы.

— Вот потечет-то!.. Ведь этак-то...

Он хотел пошутить, что теперь им не надо набивать на лето погреба свои льдом, но вдруг мучительная мысль опалила его сверху донизу так, что заныли икры.

— Ведь этак-то в долину река пойдет!..

Он еще не мог понять — как это пойдет река в долину, через матерую черную землю, через эти нивы и покосы, где колос тяжестью в человечью руку, а сено на вилах словно бобровая шапка. Но, не оглядываясь, кинулся вниз по гольцам.

Пробежав сосновый лес, он выскочил на дорогу. Здесь догнал он Турукая-Табуна, Микиту, веселого мужика. Турукай был мужик никчемный, пустой, и если б не тесть да не отец, он всегда сидел бы подле озера с удочкой, рассказывал сказки да ловил окуней. Собой он был какой-то мочалистый, постоянно кашлял и много врал. Турукай сидел на возу березовых жердей. Увидав Мартына, он заулюлюкал, заорал; лошадь, привыкшая к его выходкам, только повела ушами.

— Мартын, друг сердешной, таракан запешной, откедова? А я как раз сотый воз жердей в этой неделе везу, да едва под пропасть не пал, медведь, сукин сын, лезет из черни. Ладно, лошадь ученая. Садись, подвезу.

Мартын сел. Нежная белая кожица на жердях во многих местах облезла, показалась другая, зеленая. Мартыну, кто знает почему, стало жаль березки да и брехняка Турукая тоже было жаль.

— Река идет в долину-то, — сказал он тихо, — из ледова идет. Сейчас сам видал.

— Ну? Река? Плоты, значит, будем плавить; я, брат, мастак по плотам, раньше до вриволюции меня купцы в расхват на плоты звали, невест-то сколько давали, с приданым... тысшши.

Он уперся руками в бока и долго хохотал.

— Али мельницу открою, на шастнадцать поставов с аликтрическим освещеньем. Брать буду по копейке с пуду, всем мельникам по округу — конец. Еще убьют, пожалуй?

— Да ты не болтай, Микита. Я те всурьез говорю, река.

— Взаболь? Ишь, лошадь под тобой вспотела, как сел, так вся пòтом изошла... к сердешному делу, выходит.

— К сердешному? — переспросил Мартын.

Но Турукаю, видимо, стало скучно.

— Ко мне девка пришла ноне, яйца занять. Я, ведь, кур новых купил... голанских... десять рублей пара, каждая весом по полпуда, небось. Я говорю девке-то: «пойди на поветь, там куры свежих яиц нанесли... собери сама», я оглобли строгал. «Да правей бери — таам они и несут-

н». А правей-то-жерди разошлись, в повети-то яма. Она и бу-ух!.. только руками полснулась. И застряла, трафи ее, посередь жердей, юбка на голову, орет. А я скорей в пригон, скорей беру прут — да и снизу-то и давай е щекотать. Ногами голыми машет, вертит, ругатся, в конец-то... в дождь дарило... едва со смеху не сдох!

Он долго катался по жердям, хлопал себя по ляшкам, визжал:

— Да, у тебя, Мартын, мурло-то, чисто ты погань какую съел!.. ли идет вот попадья с работником, и встречаются им две собачки...

Но когда Мартын и этой сказке не рассмеялся, Турукай обиделся:

— Зболтанный ты какой-то, Мартын, — скушно с тобой, чисто в туесе.

Он стегнул лошадь, жерди затрепетали, защелкали, Турукай запел сню.

Кому тут говорить?

Мартыну не спалось. А когда поднялся над озером месяц и погал в воде лениво мигавшие звезды, стало так тоскливо, что заныли пальи. Он пошел по селу. Подле изб, как и везде у сибиряков, лежали на каз богатства: все плуги, косилки и жнейки. Они портились от погоды, сяц блестел тускло и кроваво на ржавщине. Ворота высокие, как у кретей, с крытыми железом кровлями. На бревенчатых заплотах сидели шки, сытые, толстые. Ночь была под Ивана-Купальника; девки в эту чь сбирают двенадцать разных трав, кладут под подушку — завечают ою судьбу. Девки шли в обнимку с парнями, с полными горстями трав, хо, без голоса словно скотина с водопоя. Кое-где в палисадниках тинько истошно охали, и тогда сразу тяжелел живот у Мартына. В одной бе проснулась баба, вспомнила, что завтра Иван-Купальник, и голая, месяце, вышла к окну, поставила на подоконник под Иванову росу стые крынки — от ивановой росы снимок-сметана делается толще. уди у ней не вместились бы и в крынку; она сонно медленно качалась не замечала стоявшего под окном Мартына. Окна везде были настежь, и, залось, в вековечном сне храпят киржацкие избы. Спокойно дышала скона во дворах — тоже если не идет в хлев — к добру, к ясности. В одй избенке мельтешил жировик, там вдова шинковала, но пили там тоже ко, будто больше для сна. В окне Мартын увидал мужа Елены, начетчика ороходова, он уговаривал соседа итти домой. Мартыну захотелось пить, но кто ему поверит в долг? И тогда он озлился, выругался и пол к Скороходовской избе. Он перелез палисадник, черемуха хлестнула по горячему лицу, он поднялся на заваленку. Плахи заваленки качаь (землю, чтоб не прели бревна, выкинули от плах и от стен), пазы ли мхом, а изба, вся наполненная месяцем, дышала хлебом и человеком. ена лежала на кровати, и пухлые руки ее свешивались до полу, словно я свою тень. Ребенок, посвистывая носом, спал на голбце. Месяц ушел облако — и Мартыну было приятно видеть темное жерло избы. Только сильнее пахнуло оттуда человеком. «Экая сыть», — уныло сказал про я Мартын, плюнул в выставленную на росу крынку и пошел обратно. ни и девки расходились по домам. Девки зыбались чреслами, шел от

них плотный запах кислого хлеба, а парни словно спали. Мартын остановился перед молельней; некогда прямой — раскольничий крест скосился от древности. Мартын в бога не верил, и ему казалось, что все верующие притворяются, но сейчас он обидчиво сказал:

— Видно, и бог-то тоже спит... у одного меня, што ли, сердце-то ныть обязано?

Безгромовые зарницы мелькали над белыми вершинами; беззвучно качались камыши, и выпрыгнувшая из воды рыба словно растаяла в воздухе.

Глава четвертая.

Мартын сидел на заплоте, он веревкой перехватывал матицу, чтобы затем попытаться с лошадью вместе потянуть и выпрямить покосившиеся ворота. Мимо прошел Антип Скороходов, он был сильный плечистый мужик в проседь, картуз низко сидел над длинными словно огурцы ушами. Отойдя несколько шагов, Антип остановился, подумал и одернул пиджак, вернулся к Мартыновым воротам.

— Мартын, я ведь тебя как птицу могу с заплота стряхнуть, — сказал он, положив крепкие волосатые руки на бревна.

— А стряхни, — нехотя сказал Мартын, — может, ворота выпрямишь. Мышь скирдой не задавишь.

Скороходов повернулся к нему спиной и сказал, глядя на озеро:

— Колдуешь все... деревню обещаешь затопить...

Мартын озлился и закричал:

— Кабы да мне грамоту да обученье, я бы вас, толстопузых чертей, всех превзошел. Ты, вот, начетчик, писанье выучил, — почему ты понять не можешь, что деревню-то зальет? Только к брюху подойдет, тогда и засикильдите.

— Ну? А ты, Мартын, старайся, старайся.

Он наклонился к нему, огляделся по сторонам, и на висках у него показался пот.

— Ты, вот, по горам стал похаживать, а я тебя понимаю... на воде-то ты глаза людям отводишь... а главная мысль твоя — металл. Я тебе без хитрости: бери меня в пай. Работников наймешь, брата пошлю — сам все дела буду вести, как по ниточке.

Округ гор там — прииска. Были когда-то прииска и в пустынной соседней долине Талас, куда бегали потоки с ледников. Из таких сел, вроде Ильинского, на прииска народ больше уходил зряшный, пустой, у которого с хозяйством ничего не выходило. «В металл пошел» — было вроде ругани. По правде, богатеями с приисков и старанья не возвращались.

— О золоте не спишь, а того, леший, не поймешь, что скоро через месяц-два али раньше деревню затопит.

Антип погрозил толстым волосатым пальцем:

— Мартын, не хитри. Говорят тебе: в пай пойду!

Глядя ему вслед, трудно было понять: поп ли это, купец или знахарь. Пиджак длинный, волосы тоже длинные, в одной руке пук травы и кореньев, а в другой кнут. Мартын разозлился на ненужные эти мысли и на то, что подумал: «хорошо бы с ним в пай». Он кинул нагретую солнцем веревку на землю, погрозил кулаком воротам:

— Вешаться на такой махине, только.

Поглядел на горы.

— Сам уплыву, тони все барахло, — а не пойду.

Но через день он взял лопату — и пошел.

В Святом Овражке пучки уже подсохли, ему захотелось есть. Он остановился, подумал: не вернуться ли ему домой за хлебом. В кустах, рядом, треснул сучок, — кто-то фыркнул, — Мартын раздвинул кусты и увидал обвитое паутиной лицо Антипа Скороходова. Скороходов был тоже с лопатой, руки его беспокойно перебирали черень, а фигура была строгая, и голову он держал немного на бок, словно читал молитвы.

— Дай, думаю, посмотрю, где это ты металл, Мартын, роешь.

И он осторожно вздохнул.

— Пойдем, — сказал Мартын. — Хлеба ты не захватил?

Антип указал на оттопыренную пазуху, Мартын кивнул и пошел вперед.

Болотце уже было сплошь залито водой. Вода, видимо, не успевала уходить в землю и испаряться и несколькими струйками, теряясь в траве, искала выхода в долину.

— Видишь? — указал Мартын.

— Ну?

И по губам Антипа Мартын узнал, что морокует он совсем иное и два ль видит воду и думает о ней. Из кармана у него торчал завернутый в тряпку нож, и нож-то особенно разозлил Максима.

— Долго мне еще с вами, дураками, возиться! Понимаешь?

Антип не обиделся на его ругань, он как-то не по характеру торопливо поддернул штаны и ласково заглянул Мартыну в глаза.

— Это тебе, начетная твоя дурь, должно быть, дороже металла. Ручей-то течет в долину, а долина-то как блюдечко — не вытека — не втока. Ты вот попробуй капать в блюдечко по капле... Капай да капай. .

— Здесь, што ль, Мартынушка, россыпь-то?..

Мартын яростно плюнул.

— Дурак!

— Где ж?

— Выше.

Мартын и не повел его к Тиляшским скалам, все равно — метла метлой, не человек. На самом низком холме, из цепи закрывавших проток в долину Талас, Мартын ткнул перстом в землю и сказал:

— Здесь. Рой! Да глубже.

Он сел рядом на камень и тоскливо глядел, как моталась в руках Антипа лопата. Прорыл тот не больше аршина, лопата зазвенела и сломалась.

— На породу наткнулся,— с недоумением сказал Антип.— В другом месте разве порыть, а то пласт-то тонок больно.

— Не надо. Не прорыть значит.

Долина Талас лежала перед ними пустынная, бурая и тихая. Сколько воды может принять, а поди ты!

Антип тем временем схватил лопату земли и побежал к потоку. Там он пустил струю воды, смешанную с землей, по шапке, долго рылся в ворсе и, вернувшись, потряс черенком перед лицом Мартына.

— Нету металла-то, ведь, нету!

— И не было,— сказал Мартын, вставая,— пойдем домой. Я своей силой думал отвести, а теперь не иначе — взрывать... Со стариками бы ты поговорил..

Антип вдруг задрожал, побледнел:

— Ты у меня не хитри, ты у меня глаза-то не отводи... Ты указывай, коли сговорился.

— Укажу-ка я тебе одно место, — сказал тихо Мартын и тоже начал дрожать,—да небось, сам знаешь... Иди, я тебе не работник.

Скороходов вдруг заругался громко, всеми матами, — он, видимо, и сдержать-то себя не мог да и не хотел. Так он шел за Мартыном до самой колесной дороги через весь сосновый бор, шел и ругался, пока Мартын не удивился.

— Ну и жаден же ты, Антип, как суслик. Благословись, огарком очертись.

Глава пятая.

Пашни начинались сразу за поскотиной. Турукай часто любил сидеть у ворот поскотины: можно было остановить каждый воз, въезжавший и выезжавший из села, поговорить и соврать что-нибудь. Турукая все любили за сказки и за то, что он многому верил. А не верил он только в смерть и такие сказки, где говорилось: как и где помер, он не рассказывал и говорил, что их бабы-старухи выдумали.

— Я, — говорил он с полной верой, — не помру. Все помирают, канешна, а на мне может и сорваться, а то пробогохульствую и в лешие или в водяные предназначу себя, только меня и видали.

Поскотину караулили всегда мальчишки. Турукай рассказывал им сказки и подговаривал обворовывать огороды и маковые поля. Мальчишек часто ловили, кто знает, может, Турукай же и предавал их. Пороли их мокрой крапивой. Турукай долго потом издевался над выпоротыми.

Когда Мартын подошел к поскотине, Турукай широко распахнул ему ворота, поклонился в пояс и вдруг захохотал:

— Скороходов сейчас бабой на пашне побит, только што прошел впереди тебя, каменный. А ты все, Мартын, металл ищешь? В прошлом году попал я в Таласкую долину, смотрю, на дороге самородок лежит. Никак не меньше куриного яйца, я его бац в карман,—а карман-то с дырой, прихожу домой, а там ветер в кармане. Слез-то пролил сколько, жалко!

Мартыну после Антипа как-то весело стало от Турукаевской брехни. ıаза у Турукая были веселые, ясные, сам он весь словно на гору вспрыг-ть хотел.

— А ты, Мартын, разрыв траву такую поищи. Все тебе клады рас-›оет, от болезней излечишься и любую бабу приворожишь.

— Нет такой травы, чтоб приворожить.

— Я тебе говорю—есть. Я одного старика видел, купец, скопец, городе. Листик дал один махонький, клад, грит, можешь достать, лю-ю бабу али от болезни. А у меня страх тогда живот болел, мне бы про ад надо сказать, а потом на эти денежки из Питера докторов выписать, я и брякни: брюхо, мол, хочу залечить, понос несусветный. Листика-то к не бывало, да и болезнь-то как теленок языком слизнул. А?

Мартын потрогал его за плечо и сказал:

— А ты, Турукай, в партию не хошь?

Турукай даже зажмурился от радости:

— В партию, Мартын, хорошо-о!.. Волостным председателем!.. А е тот же скопец говорил: Ленина-то, говорят, в склепе-то нет, заместо › какой-то солдат лежит, а сам Ленин сейчас по России ходит, надежных ›дей выбирает, чтоб всему миру войну объявить. Тысчу, грит, началь-ков набирает, а набрал только пятьсот. Ведь, очень просто, может и ıаше село зайти, скажет: «А пошто, Турукаю, не быть у меня главкоман-щим, если он у меня в партии? Надевай на Турукая ордена и давай ему ıя арапской породы», а?..

— Обожди, главкомандущий, — прервал его Мартын, — я те на ıом деле говорю: давай по селу-то партию устроим, зажмем им ники-то!

Турукай заморгал, посмотрел в сторону, подергал локтями.

— Давай! Однако и чудно, сколь лет жили без партии, а седни ıько оказалось—нельзя без нее жить. Я в ней кем буду? Я ведь тоже ıмоту-то хоть и проходил, да церковно-славянскую, все за заботами-то головы выскочило.

— Научишься.

— Это я могу. Учиться я могу здорово. В три дня до всего дойду.

Он яростно сплюнул, засучил рукава:

— Мы им, сукиным детям, покажем. В шелковых рубахах скоро ,ить будут, а там страдают. Да, а?

Вечером было тихо и пасмурно. Турукай обегал всю деревню, на-л, что из города едут на трех подводах инструктора, что Турукай лал главному по партии пакет, а что там написал—добавлял он угро-още, — потом разберутся. Старики, вышедшие из молельни, сгрудились тали говорить о погоде, что пора перепахивать во второй раз пары, ›д пшеницу троить кислые залоги новые земли. Поговорили и о прежней ıни, и о том, что теперь так дорога мануфактура: рубль двадцать аршин. ›то время проходили мимо бабы, сговаривавшиеся на завтра итти по бнику и по красильные травы. Среди них была и жена Мартына.

Высокий старик с тупым и упрямым лицом, Митрий Савин, поманил е пальцем.

— Ну, как Мартын-то? — спросил он ее строго.

— Не знаю, Митрий Василич, все тосковал, а вот теперь гневается, а пошто гневается, и ума не приложу. Вам, старикам, разбирать.

— Дурит он у тебя. Скажи, что, мол, в гости, придем.

Итти им к Мартыну было до мучения тяжко, они долго еще говорили о погоде и об урожае, наконец, оправили сзади старомодные кафтаны и пошли. Мартын согрел в чугунке чай, старики поблагодарили, но попросили налить им вместо чаю кипятку. Но и кипяток они пить не стали. Спросили, много ли Мартын наберег на зиму сена, — за него ответила баба. Тогда высокий старик, Митрий Савин, протяжно сказал:

— Мартын Андреич, ты бы эту штуку, што Турукай болтает, оставил. На чем свет, на том и позор, а на наши места тысячи народу зарятся. Наша земля-то клином впереди всех земель идет. Сколь лет без партии жили, а тут на тебе! Вон в Артемовске младший у Глафировых в город ушел, в камсамольцы записался да и женился на жидовке, пошел второй — на водке сгорел. Третьему только счастье: жена тихая, работящая, сам дома сидит—пимокатное рукомесло изучил. Тебе и помощь устраивали, и хлеба давали, и еще дадим коли надо, скотину для работы можно определить... а коли сознаешь ты, што не можешь хрушкую лямку тянуть, шел бы в металл. Семью-то твою не забудем...

Старикам не хотелось говорить с Мартыном, но времена дикие—если не партия, сожжет еще, а потом такие законы отыщет: погорельцев же судить и будут.

— Не хочу металлу, — вдруг, подбочившись, закричал Мартын.

И кричать-то ему не хотелось, сам знал, смешно по-турукаевски выходило, а вот понесло как-то.

— Не хочу. Разговор буду с вами иметь.

Он вспотел даже, но локти задрал еще выше. Старики, все так же легко вздыхая, смотрели в сторону.

— Имею я желание ехать с вами, старики, в горы. Для полного маршрута! Ледово в нашу долину идет!

— Веками ледово в Таласкую долину шло, — осторожно сказал Василий Тюменец, толстый со слезящими алыми веками старик,—а теперь што ему запритчилось к нам поворачивать?

— Прошу узнать, — закричал вдруг Мартын,—Алешка, собери к завтрому телегу!

Старики пожевали губами и попросили выехать пораньше, до жары. Когда они ушли, и баба, вздыхая протяжно, стала убирать со стола, Мартыну стало стыдно, он так кричал на стариков, которые ничего не сделали ему плохого; ломался словно пьяница и себя показал дураком. Завтра, решил он, буду степеннее. Но утром он опять задурил: надел новую рубаху, занял у соседа ременный пояс с блестящей пряжкой, по деревне ехал и громко кричал, упрекая стариков. Ехал он тихо, и ему хотелось

гоб его видела Елена, он даже остановился против ее окон, будто бы оправляя шлею. Окна были раскрыты настежь, но Елена не обернулась, на садила хлебы в печь, и быстро мелькала перед темным жерлом печи руглая, посыпанная мукой, лопата. И тут Мартын не вытерпел, указывая азад, он подтолкнул самого молчаливого старика, богомольного Сидора абашкина:

— Мотри!

— Отвяжись, лихоманка, креста-то на тебе нету, — строго сказал му Митрий Савин.

— И не будет, — закричал с тоской Мартын. — Всю деревню іреверну, легче без креста!

Но и здесь Елена не обернулась.

За поскотиной поехали быстрее. Черная пыль огромным хвостом ювно тень волоклась за телегой. Старики глядели на поля и говорили, го цветы пахнут сильнее с каждым днем, значит колос налевом будет элней, тяжелей; что коготки рано развернули венчики—овсы будут пита-льны; к теплу сбирает мышь траву подле нор, а не тащит внутрь; что эшки крепко спят: тоже к теплой зиме. Трещали звонко кузнечики, ысоко выпрыгивая из промежколей дороги. Небо было душное, хотя и янь—и почти желтое.

Но вдруг громадная лужа воды преградила им дорогу.

— Объезжать, что ли? — закричал вдруг обрадованно Мартын.— ождались? Выбирайте теперь имя реке, крестить ее надо, старые черти!

Старики охнули. Прямо через поле богомольного Сидора Лабашкина ісся с шипеньем и пеной ручей.

Тогда Мартын указал на небо и начал по пальцам пересчитывать эиметы.

— Горы-то в ясности — жара! Кошки-то спят долго — к теплу! ышь-то сено наружи держит — к теплу! А лед-то тает, ледово-то идет, энец вам подходит, а?

Старики молчали, а Лабашкин слез с телеги, ухватился руками за іятые, подмытые водой колосья и тихонько по-ребячески завыл.

Глава шестая.

К ручью сбежались мальчишки, сразу появился подле ручья мусор. шеницу, чтоб не пропадала, наскоро скосили и высушили ее для корма і поветях. Рев быстро прекратился, и никто не верил, что вода в озере эжет подняться. Тогда Мартын воткнул в воду размеченную вешку, — ıда в сутки поднялась на полвершка. Ему не поверили, и старик Митрий авин сам воткнул вешку и весь день сидел подле, не спуская глаз. Вода одняласьпо его вешке на вершок.

Турукай-Табун, согнув палец, помчался по деревне с криком:

— Братцы, на вершок, а с завтрава будет по поларшины подни-іться, там еще камни обрушились, я сам видел!

Турукаю не поверили, но старики съездили в горы, посмотрели поток.

— Што, назвище какое будет! — сказал им ехидно Мартын.

Антип Скороходов закричал ему:

— Колдун, сукин сын, наколдовал, а теперь смеешься! Цена зайцу две деньги, а бежать за тобой сто рублей.

— Одна пора в году, — страда, — вздохнул Митрий Савин, — мы к тебе, Мартын Андреич, опять вечерком-то заглянем.

— Загляните, угощеньем не обидим.

Елена как-то встретилась, попробовал Мартын сказать ей ласку, а получилось что-то очень обидно. От гордости у него так, что ли? Она оправила платок, шевельнула плечом и сказав с отвращением:

— Пела бы жнея, да горлышко пересохло, — пошла прочь.

Позже Мартын подобрал хорошие слова, но не было случая переговорить, да и нужно ли было говорить — он не мог понять.

Старики опять, как и прошлый раз, сели по росту — низкий ближе к божнице. Опять отказались от чая, и Митрий Савин сказал:

— В город, што ли, тебя послать?..

А молчаливый Лабашкин, наконец, вымолвил:

— По вершку в день, так вот и смерть человечья.

— Что в город, — возразил Тюменец со злостью, — богатеи, скажут, кулаки — тоните, ни дна вам, ни покрышки! В городе народ обнищал, в наши достатки зарится, за ситец вон по рупь двадцать дерет.

Тогда Митрий Савин тряхнул большой головой и сказал резко:

— Што там с души-то кожуху сдирать, надо дело. Придется тебе, Мартын, как ране говорил, партию по селу доспеть.

— И на самом деле, Мартын, партию!

— Партейному, бают, сплошь вера и помощь.

Тут постучали в окошко, и внучек Лабашкина прокричал, что вода поднялась еще на полвершка. По всем приметам выходила длительная засуха, для хлебов хорошо, а для льдов?..

— В волость, разе, в комитет?

— Волость! Соберут Совет, таких же талегаев, как мы. Писарь резолюцию напишет, а она месяц до города пройдет, а через месяц-то вода будет на улках, а то из города приедут, инструктора какая там, заездят по страде лошадей, обожрут, да и видал их.

— Своими надо силами.

— Своими, — длинно вздохнул Лабашкин.

Тут опять строго заговорил Митрий Савин:

— Однако, можно в городе и помощь кому деньгами там али чем оказать. Найти наших, которы на металл ушли, выменять у них пузырек металлу, все равно в Китае дороже не дадут. И не монета, а лестно. Кто откажется?

— Да што они в ледове понимают, што они могут доспеть, коли там сам бог больше... Надо такого человека, штоб с леригией подступиться мог. — И Лабашкин опять надолго умолк.

— Допоручить Мартыну, — сказал решительно Савин, — составить партию. Надо выбрать: кого?

— Турукая я взял, — сказал Мартын.

— Турукая можно в пугало, а не в партию. Турукая ты для нашего веселья оставь. Окошков, Егор, победней всех.

Тюменец замахал руками.

— Не пойдет Егор, рыбалку и самогон любит. Ему бы воды побольше, он на воде и спать будет.

— Мир заставит, пойдет.

— Разве мир!

Митрий Савин загнул палец. Пальцы у него были длинные и сухие, как щепы.

— Значит, один есть, с Мартыном двое. Надо бы с металлу, которы победнее, привести.

— Металл сейчас не бросят. Сейчас с гор вода двинулась, для промывки самое время.

— Тогда Семенова, он все Советску власть хвалит.

— Семенов — гундосый и храпит, скажут, пьяница, а то еще что похуже. Не пустят.

— Монополку-то сами ж открыли.

— Так это не для пьянства, а для аппетиту.

— Оно и верно, — сказал Тюменец, — аппетит, пока с ног мордой в канаву не полетит.

Сидор Лабашкин неожиданно оказался смешливым, долго держась за живот, хохотал он. Наконец, осел, вспотел и стал креститься.

— Прости ты, господи, грехи наши!.. Тилиграмму послать в Москву, кто у них там главный, ему... так, мол, и так, тонем.

— Покедова проверят, все ледово стает.

Мартыну надоело слышать, он стукнул кулаком по столу.

— Да што ж эта вы никому не верите!

Митрий Савин посмотрел на него спокойно и спокойно же ответил:

— Мы стогам верим да скирдам, да богу.

Потом все ж решили послать в город делегацию. Выбрали четырех, которые побородатей да похудее. Долго смотрели на Мартына и, наконец, сказали, что может и он поехать, только чтоб был посмирнее. Пиджаки надели грязные, долго разучивали, как вначале нужно хвалить Советскую власть, как благодарить за благодеяния, за агрономов, за школы, за свободу религий, а позже добавить, что агрономы-то почти не заезжают, урожаи совсем плохи, а то ведь многое можно сделать при урожаях-то... и про тракторы, мол, слышали. А всему, мол, этому мешает наша темень, наступают на нас льды с белков, топит селение,— налогу не сможем заплатить, не говоря уже о тракторах. Нельзя ли помочь взорвать Оленью гряду, отвести поток в пустынную долину Талас.

В городе на постоялом дворе было грязно, прокурено, клопы не давали спать, а днем ходили какие-то слепые и продавали волшебные па-

кеты по двадцать копеек пакет. Слепые были навязчивы, ругали мужиков буржуями. Потом пристал какой-то тощий человек в солдатской шинели и татарской шапке, в треснутых очках. Он пообещал, что если в Совете ничего не получится, у него имеются нужные люди. На город упало окладное ненастье, дул сильный ветер с дождем. Украли у мужиков мешок овса, а овес в городе был дорог и плох. Все ж нашли в Совете необходимого человека. Сказали ему так, как решили в селе. Необходимый человек долго думал, — послал к другому; тот думал не меньше, и оба, видимо, ничего не могли придумать. Первый спросил, порывшись в каких-то бумагах:

— Работников много имеете наемных?

— Какие ж там работники, все сродственники, семьи опять большие.

— Но есть? Обсудим, — и велел притти через неделю.

«Взятку бы дать, — подумали мужики, — да страшно».

Пришлось ждать неделю, а там еще пять дней, — Через пять дней обязательно, — сказал нужный человек. Тем временем тощий в солдатской шинели привел другого тощего, армянина, должно быть. Они написали за трешку два прошения и добыли откуда-то двух подрядчиков по подрывному делу. Подрядчики с ка андашами в руках сели за стол, вынули из-за пазухи узкую книжку, разграфленную красными чернилами, и долго прикидывали на ' ме. Поговорили в соседней комнате, еще посчитали и запросили за взрыв Оленьей гряды и вообще за «урегулировку» всего вопроса три тысячи. Пятьсот сейчас, тысячу на месте, полторы тысячи после благополучного окончания работ. Старики крякнули и предложили сто рублей. Подрядчики заявили, что обсерватория предсказывает грозы и бури, что на дворе уже падера и что другие и за пять тысяч на возьмутся.

А вечером прискакал из Ильинского Егор Окушков и привез два пузырька намытого, — подле болотца, за которым начинались гольцы, — самого лучшего крупного красного золота.

Глава седьмая.

В Совете, перед двумя необходимыми людьми, Егор Окушков тряся пахнущей рыбой шапкой, рассказал подробно, как его односельчанин Антип Скороходов нашел подле болота россыпь, как они вдвоем начали промывать и в первый же день намыли два пузырька. А самое золото-то в болоте, которое надо осушить. Пузырьки эти они решили подарить народной власти и ей же заявить об открытии новых приисков. Необходимые люди взволновались; из соседних комнат выскочили стриженые барышнешки. Тряся кудельками, они щупали пузырьки и взвизгивали. У Мартына от этого шума и оттого, что не он, а Антип Скороходов нашел золото, — разболелась голова, поднялась изжога. Тут прибежали фотографы и сначала сняли Егора Окушкова, а потом и всех ильинских мужиков. Мужики кланялись, благодарили, и в тот же день поехали обратно.

А в городе после их отъезда стали рассказывать легенды о новых приисках, что будто бы какой-то поп намыл в два дня золота на сорок

тысяч; что сельский писарь нашел самородок чуть ли не с лошадиную голову. В газете появилось объявление, приглашающее не верить вздорным слухам, и оттого им поверили еще больше. Заскрипели телеги, направляющиеся к селу Ильинскому; беззаботные мечтатели ладили котомки, бросали службу и пешком шли в горы. По дорогам ночью горели костры, и начались лесные пожары.

Пришедшие на прииски останавливались подле поскотины, здес их встречал Турукай. Он рассказывал необыкновенные события: был каждый день пьян. Хлеб и молоко в селе стали продавать втрое дороже, и бабы завели себе шелковые московские платки. Затем приехали трое молодых инженеров; в первый же день напились, собрали девок со всего села и неумело плясали русскую. Девки визжали; парни лезли обниматься с инженерами; жена Скороходова не отходила от самого старого инженера, что был лыс, в синих брюках и белой шелковой рубахе. Мартын прошел мимо гулянки, раз-другой, никто не позвал его, подле березы блевал Турукай, нехорошо ругаясь, руки у него были почему-то в сметане. Инженер со Скороходовым и его женой ушел в избу.

Мартын дома застал полный порядок, казалось, жена без него лучше управлялась с хозяйством. О партии никто с ним не говорил, не говорили и о золоте, один раз только жена упрекнула его:

— Как же так, Мартын Андреич, ходил ты, ходил, а металл-то нашли другие?

— Нету никакого металлу, — закричал уныло Мартын, — врут они все! И себе врут!

А это походило на правду. Из Ильинского на приисках никто не работал; изредка старики ездили в город, будто бы продавать нарытое золото, а на самом деле гоняли скот. Да и прибылью воды в озере никто не интересовался, попробовал Мартын поставить измерительную вешку, подошел Митрий Савин и, тихо сказав: «Не гневи бога, Мартынка», вырвал вешку.

Потом строго посмотрел на него и спросил:

— У тебя, как ее... эта, партия-то, сбирается?

«Сбирается», хотел крикнуть Мартын, а не мог. Он подергал только седенькими своими бровенками.

— Ты ужо, Мартынка, живи один, а то, тоже, партия! Сбирается! Ботало!

Отошел подальше, отвернулся и начал расстегивать штаны. Вода в озере была прозрачная, холодная, Мартыну тоже хотелось искупаться, но казалось, что Митрий Савин занял своим телом всю воду, что это озеро, не Митрий Савин крякает.

К белкам, к ледову, на прииски ему не хотелось итти, да и ему ли верить теперь в свое счастье. Попробовал походить с бреднем по озеру, вытащил мертвого карася. От карася нехорошо пахло, и грязная чешуя осталась на ладони, как перчатка. Долго держал его в руке Мартын, уже не заметил, как выдавил глаза, кинул его в озеро и заплакал.

Глава восьмая.

На Флора и Лавра почти совсем закончилась уборка и кладка хлеба, загородили остожья вокруг хлебных кладей и зародов сена. Глянцевитые березовые жерди остожий, казалось, дрожали, как опяска на туловище тучного человека, полевые мыши отъелись так, что с пóтом влазили в свои норы, Разгородили поскотину, и на Флора и Лавра скот весь день отдыхал. Сделали очистку скотных дворов, поправили постройки. Мужики начали осматривать сани, пошевни, плести короба и пестери для возки мякины.

Ничего словно и не происходило в Ильинском, хотя вода из озера вышла на улицу, и приходилось, как в весеннюю грязь, итти вдоль заваленок. Колеса уходили кой-где со спицами в воду.

— Тепла ж, — говорили мужики нехотя, — тепла ж, хоть и из ледова идет...

А Мартын почти и на поле не заглядывал. Нехотя пришли мужики на устроенную бабой помочь; отработав, не остались даже на паужен. Мартына, когда он увидал пришедших мужиков, их походку, тихие, злые голоса, даже Турукай-Табан и тот отворачивался,—опять заманило в горы. Баба справилась почти сама со всем полем. Один раз только Мартын нарубил ей сухостойных дров для сушки снопов в овине. Баба остригла овец, выбила луком шерсть и начала катать потники. Кисло запахло в избе...

— Заели вы меня, — сказал Мартын, а баба ничего не ответила.

Широкая отводная канава по ту и по эту сторону высокого холма, загораживающего сток вод в долину Талас, была готова, и на воскресенье назначили приисковые люди взрыв середины холма, тех пород, которые было трудно и долго бить киркой.

Как и тогда, когда он впервые увидал вытекавший из ледника поток, Мартын надел лучшую цветную рубаху, взял за пазуху ломоть хлеба и направился в горы. Главную улицу, затопленную озером, нужно было обходить, да и никого не встретил Мартын: с раннего утра почти вся деревня, кроме самых ветхих стариков, ушла в горы, к холмам.

Как и тогда шумели на кладбище березы; легкая дымка стояла над горами, и только, словно вспарывая долину серебристо-синим ножом, несся через Святой Овраг, через поля неизвестный ледяной поток. А когда Мартын обогнул болото и вспомнил, что сегодня потока не будет, завтра и послезавтра вода в озере пойдет на убыль, озеро встанет в свои берега, на токах загремят цепы, и громадные телеги, кованные железом, повезут зерно в город, — засосало у него опять сердце. А поток по гольцам, казалось, понимая свои последние часы, несся с тоскливым грохотом, фыркал пеной и голосисто ржал в березняках. Мартын постоял, посмотрел. Юркая синичка дрожала на камушке. И тогда Мартын с ясностью до боли припомнил эти месяцы, свою короткую славу и власть и то, что он ничего не мог сделать из этого, осталась только одна мужицкая злоба к нему и вконец расшатавшееся хозяйство. Опять чувство тоски до слез охватило его сердце.

Зачем ему итти к холмам? Мужики посмотрят на сбегающий в долину Талас ледяной поток; меж собой, одними хитрыми глазами, рассмеются над глупым городским людом и разойдутся. Позже, поняв обман, если золота в болоте не окажется, — изрыв все болото, — и городские уйдут, останутся одни Тиляшские неприступные скалы, за ними ледники, готовящие к осени метели...

Мартын вернулся к опушке болота. Сонно трепетали осины листьями, пьяной сытостью пахло из болота. Мартын сел на поваленную осину, спустил ноги к потоку. Зеленая ящерица осоловело заметалась между камушков среди его ног. Он злобно каблуком отдавил ей хвост. Хвост остался трепетать, а ящерица скрылась. А деревья в болоте все хлопали и хлопали, словно уходящие - входящие в комнату дверью. Мартын сидел и думал все о том же, он зажмурил глаза — поток булькал водой, будто наливался в бутылку. И Мартын вспомнил, что за все это время он ни разу не напился пьяным... надо бы уйти, лечь спать дома, что ли, но где-то внутри была еще надежда, что спускающиеся с гор мужики остановятся подле него, и кто-нибудь скажет: «Ну, спасибо тебе, Мартын, все ж много ты доспел для общества»...

Зеленые тени листьев были у его ног, затем поползли по лицу за спину и, наконец, совсем скрылись. Небось, уже давно за полдень, обедать пора! И в это время маслянистый какой-то гул донесся с ледников. Поток словно колыхнулся, а потом зажурчал еще сильнее.

— Чорта взорвете, — сказал Мартын со злостью. — Смыло бы вас лучше, как щепки, небо коптите только.

Что-то темное и высокое мелькало среди осин. Мартын приглядelся. К нему, выбирая места посуше, спешил какой-то человек. Позади, быстро махая ручонками, бежал мальчишка.

Мартын вытянул шею, мотнул головой и грубо выругался. Это была Елена.

Должно быть, она давно не бывала в горах или же радовалась, что пятилетний сынишка — как большой — не отстает от нее, — лицо ее пылало румяным удовольствием, платок она держала в руке, и льняные — былинные — косы ее были страшны, как ледники. Колюка на вилах, а одета в багрянец!

— Чего сидишь там? — крикнула она издали еще Мартыну. — Доовничать осталась да в деревне-то будто в колоде — тихо. Мотька зоет, пойдем, мамка, да пойдем, ну, и пошла... Верно я иду-то?

— Верно, — хмуро ответил Мартын, отворачиваясь.

— Ты что ж на бревне-то уселся, я думала — водяной или горовой. олдуешь все?

— Нога подвернулась, — соврал Мартын. — Да все равно, у них ничего не выйдет.

— Не выйдет? А сколь хлопотов убухали, да металу сеяли тут...

— Металу? — удивленно спросил Мартын. — Какова металу?

Мартыну показалось, что он тихо, по-детски охнул. Он и руку было потянул ко рту. Но и рука и волосы бороды были тяжелые словно из

того желтого металла с приисков... и сразу он вспомнил, как видал стариков, встречающихся с неизвестными приисковыми мужиками; вспомнил, как встретил раз тележку, направляющуюся в горы. В тележке, плотно прижавшись друг к другу, сидело три старика — и Мартын даже сначала не узнал их. Лица были жадные сухие, а потные руки самого старого крепко сжимали завернутую в половик шкатулку. И колени их были острые словно мертвые. Когда они приехали мимо, не заметив его, Мартын по шапке узнал Митрия Савина. Кажется, подумал тогда Мартын об самогонном аппарате: прячут, дескать.

Горький пот почувствовал он в глазу. Елена казалась еще белее, а брови ее были шириной в два пальца. Он зажмурился. Гладкая и веселая осина попалась ему под ладонь. И еще мельком, как этот ствол, мелькнувший под ладонью, вспомнилось ему, как однажды обидно обманули его в детстве: дал отец медный новый грош, а сказал: «золотой, иди купи, Мартын, на это пуд пряников». Приказчику в лавке было жарко и скучно, и долго — до трех слез — издевался он над мальченкой...

Елена поняла, должно быть, что сказала лишнее. Она ни с того, ни с чего наклонилась к его ноге.

— Я ведь кое-что в костоправстве марекую... Дай пощупаю, кость-то цела?..

Мартын увидал ее пухлый, розовый, слегка влажный затылок, крутые плечи. Складки сарафана показались ему мокрыми, башмак со щеголеватым высоким каблуком поднялся над землей. Притихло как-то все внутри Мартына, и он взглянул на поток. Вода журчала тише, синие, мокрые гальки на поларшина обнажились вдоль берега. Более крупные уже обсыхали.

— Поток, значит, повернул в долину Талас! А?..

И показалось ему — в нем, как и на этих камнях — высох поток. Глотку словно забили нитками, а ноги в икрах заныли и напряглись. Крутая ее шея и затылок с жирной складкой пониже уха словно перетирали одежду его икр. Складка походила на чашечку — и не мог он вспомнить: пил он сегодня или нет. И рот его сразу наполнился огромным количеством ненужно горячих зубов. А еще вдруг стало ясно, что понимает она свою вину перед ним, и за все обиды его наградит! Широкорасставленные ноги ее незаметно дрыгали под юбкой — выбирая место на земле помягче и похолоднее. Но повалить ее руками не было сил, легче и радостнее было б пхнуть ее, чтоб под сапогом почувствовалось испуганное поганое мясо бедер. Мартын быстро взглянул на свою ладонь, и то, что она была грязная и сухая — обрадовало его. Он громко плюнул в пальцы, и весь дрожа и от испуга и от какой-то непонятной смелости — ударил Елену со всего размаха в розовую чашечку затылка. И вдруг — чужое, чем-то похожее на стариков, везущих в горы металл, пустое лицо метнулось перед ним. Елена охнула, опрокинулась, — и о горечью, и с радостью, глотая соленую слюну, упал грудью Мартын на это чужое и пустое лицо.

Мальчонка завыл: «Ма-амка-а!». Мартын наотмашь, левой рукой ударил ее по лицу, а правой изо всей силы пхнул мальчишку за

пень в траву. Елена привстала-было, горло ее напряглось, — Мартын схватил ее за косу, обернул вкруг шеи и притянул косы к березовому суку. Глаза у ней закатились, она захрипела.

— А, будешь, будешь!.. — визжал Мартын, увивая косами сук.

Холодная и какая-то тяжелая влага выступила у него на груди; сухой жар хлынул в ноги; и, путаясь в тряпках, захватив зубами косы, обвитые вкруг сука, Мартын дернул за ворот сарафана. Ситец казался необычайно крепким, а в пальцах расходился словно вода.

Мальчонка визжал в кустах: «Ма-амка!». Тряпки пахли нехорошим потом, и странно было видеть на лице у этой красивой, сильной бабы, испуг и трепет, и его, Мартынову, слюну...

Позже баба, неприятно расставив ноги, долго ползала вкруг березы, распутывая с ее сучьев свои косы. Большой клок волос, потемневший от слюны, остался на коре. Баба, одной рукой схватив разорванный сарафан, другой, как в мешок, уталкивала в рубаху огромные белые груди. Медленно локтем стерла с лица слюну и тогда завыла:

— Ой, матушки, ой... да што это-о!.. ой!..

Мальчишка визжал гуще ее и как-то жалобнее. Кончик носа у него был красный, и тут только заметил Мартын, как он походит на мать.

— У, падаль, — сказал Мартын и пошел к потоку умыться.

В ложе потока, во впадинах остались лишь редкие лужицы. Вода показалась ему удивительно теплой.

Баба нелепо, тряся задом и путаясь в юбках, бежала вверх. Мальчишка, смешно приседая, спешил за ней.

Мартын опять сел на бревно. Жар остался в пальцах, ему ничего не думалось и только почему-то жалко было, что он умылся. Он все соображал, и было такое чувство, будто он истратил последнюю воду. Пить к тому же хотелось, а тут нахлынула такая слабость и дрожь, какой он не испытывал никогда.

Огромная тишина, словно дорога, повисла над пустым ложем потока. Казалось еще, что по невысохшим галькам скользит багровый осиновый лист, попрыгивает, лепечет, но все бесшумно и все зря. Мартын закрыл глаза, и многое в этом мире качнулось перед ним.

Протяжно прокричала иволга, и Мартын подумал: «Похоже, мужики спускаются... да и приисковым пора — к болоту!!.».

Мужики, действительно, молча, держа руки за опоясками, спускались по гольцам.

Они остановились в нескольких шагах от Мартына плотной толпой. Кто-то из них дышал тяжело, со свистом и часто сплевывал. Мартын тупо открыл глаза и положил почему-то правую руку в карман. Вышел вперед Антип Скороходов, скинул кафтан, обшитый по борту и по вороту треугольниками.

— Ну, бей, — пробормотал лениво Мартын.

Скороходов побледнел, поднял руку словно для приветствия и нехотя проговорил:

— Што ж тебя бить!.. за што тебя бить?..

Мартын зажмурился, качнулся. Также будто нехотя, Скороходов прошел мимо него и вдруг, быстро обернувшись, ударил Мартына в переносицу. Желтый, как смола, свет линул Мартыну в затылок, он схватился за грудь.

— Не надо, — сказал какой-то лысый, изъеденный оспой старик.

Из толпы спокойно отозвался Митрий Савин:

— Проучить не мешает, из-за него металу сколь потратили... Ты ему, Семен, за метал-то.

— А, за метал, — взвизгнул вдруг Скороходов. — Колдун! Сколько денег из-за тебя?.. Животины!

Мартын только быстро хватал ртом, будто не мог напиться. Скороходов наклонился, схватил в руку гальку. Показавшаяся жидкая кровь брызнула из щеки Мартына.

— Та-ак его, — крикнул лысый старик и, подпрыгнув с разбега, ударил Мартына в грудь.

Мартын заревел каким-то телячьим ревом и так не переставал реветь он, пока его били сначала кулаками, затем подхватили и, подкидывая в воздух, бросали спиной на гальки. Голова мокро стучала, руки мотались — белые и слишком сухие. Лысый старик начал топтать ему эти руки, а затем крякнул и прыгнул на живот. В животе тоже, нехорошо, крякнуло — грязная жижа потекла из рта Мартына, — а он все еще ревел нелепым своим телячьим ревом. Лысый старик топтался уже по голове, скользил с нее словно с мокрого камня, а рев все еще не прекращался. И здесь молодой курчавый парень, до того стоявший в стороне и больше всего оравший «в морду ему, в морду», взял продолговатый камень, оттолкнул старика и, прищурив глаза, ударил камнем Мартына в висок.

Когда Мартын стих и перестал даже подергиваться, Митрий Савин вытер пот, оправил рубаху, перекрестился:

— Миром согрешили, миром и отвечать!

— Миром, — качнул головой курчавый парень.

Елена ж все время сидела на бревне, где недавно еще сидел Мартын. Мальчонка прятал у нее в подоле плачущее лицо. Волосы у нее были плотно убраны под платок, глаза сухие и ожидающие, и смотрела она поверх мужиков. Когда Мартын выпрямился, и курчавый парень вынул из его рта искусанные его пальцы и руки сделал ему крест-накрест, — Скороходов подошел к ней, покачал головой и вдруг со всего размаха ударил ее в глаза. Она опрокинулась за бревно и долго лежала там, — пока не ушли мужики, и пока мальчонка не переревел весь свой голос. Тогда она оправила платок, взяла мальчонку за руку и стала спускаться в долину. На жнивье гототали сытые гуси, и месяц в озере был тепел и походил на коровай, только что вынутый из печи.

Дело Артамоновых.

(Из романа).

М. Горький.

Ромэн Роллану,
человеку, поэту.

Года через два после воли, за обедней в день преображения господня, ıхожане церкви «Николы на Тычке» заметили «чужого», — ходил он есноте людей, невежливо поталкивая их, и ставил богатые свечи пред)нами, наиболее чтимыми в городе Дремове. Мужчина могучий, с боль- ю, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке ›новатых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бу- ıстых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой, глаза, и ıо отмечено, что когда он опускал руки, широкие ладони его касались ıен.

Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан; это особенно не ıравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дремова оста- ились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни гово- ıи — прасол, другие — бурмистр, а городской староста Евсей Байма- , миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, ска- , тихонько покашливая:

— Уповательно, — из дворовых людей, егерь или что другое по ги барских забав.

А суконщик Помялов, по прозвищу «Вдовый таракан», суетливый :толюбец, любитель злых слов, человек рябой и безобразный, недобро- ательно выговорил:

— Видали, — лапы-те у него каковы длинны? Вон как идет, будто для него на всех колокольнях звонят.

Широкоплечий, носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по й земле; одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие юфтовые ги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив фирне Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане шлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашенные Помяловым ечерний чай в малинник к нему.

После обеда другие дремовцы видели неведомого человека за рекою, на «Коровьем языке», на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными, широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запуганный приток ее, болотистую речку Ватаракшу. В Дремове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но все-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове, перешел илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным шагом подошел к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:

— Кто таков?

Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:

— Спросил он меня: что ж ты это какой безобразный? Глазищи у него злые, похож на разбойника.

Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ерданская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям:

— Зовут — Илья, прозвище — Артамонов, сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело, — не допыталась я. Приехал по дороге из Воргорода, тою же дорогой и отбыл в три часа, в четвертом

Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.

Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан, вдруг этот Артамонов явился сам-четверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:

— Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.

Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из Курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошел от него, награжден хорошо и решил свое дело ставить: фабрику полотна. Вдов, детей зовут: старшего — Петр, горбатого — Никита, а третий — Олешка, племянник, но усыновлен им, Ильей.

— Лен мужики наши мало сеют, — раздумчиво заметил Баймаков.

— Заставим сеять больше.

Голос Артамонова был густ и груб, говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери; все они были очень разные: старший — похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей—кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело

— В солдаты одного? — спросил Баймаков.

— Нет, мне дети самому нужны; квитанцию имею.

И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:

— Выдьте вон.

А когда они тихо, гуськом один за другим и соблюдая старшинство, ышли, он, положив на колено Баймакова тяжелую ладонь, сказал:

— Евсей Митрич, я, заодно, и сватом к тебе: отдай дочь за старшего эего.

Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал руками:

— Что ты, бог с тобой! Я тебя впервые вижу, кто ты есть — не знаю, ты — эко! Дочь у меня одна, замуж ей рано, да ты и не видал ее, не іаешь — какова... Что ты?

Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал:

— Про меня — спроси исправника, он князю моему довольно обя-.и, и ему князем писано, чтоб чинить мне помощь во всех делах. Худого— : услышишь, вот те порука — святые иконы. Дочь твою я знаю, я тут, тебя в городе, все знаю, четыре раза неприметно был, все выспросил. гарший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел, — не беспокойся!

Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков ıпросил гостя:

— Ты погоди...

— Недолго — могу, а долго годить — года не годятся, — строго :азал напористый человек и крикнул в окно, на двор:

— Идите, кланяйтесь хозяину.

Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на :оны, трижды перекрестился, прошептал:

— Господи, — помилуй! Что за люди? Сохрани от беды.

Он поплелся, пристукивая палкой, в сад, где, под липой, жена и чь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила:

— Какие это молодцы на дворе стояли, Митрич?

— Неизвестно. А где Наталья?

— За сахаром пошла в кладовку.

— За сахаром, — сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на рновую скамью. — Сахар. Нет, это правду говорят: от воли — большое спокойство будет людям.

Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно:

— Ты что? Опять неможется?

— Душа у меня взныла. Думается — человек этот пришел сменить ня на земле.

Жена начала утешать его:

— Полно-ко! Мало ли теперь людей из деревень в город идет.

— То-то и есть, что идут. Я тебе, покамест, ничего не скажу, дай цумаю...

Через пятеро суток Баймаков слег в постель, а через двенадцать — ер, и его смерть положила еще более густую тень на Артамонова с детьми.

За время болезни старосты Артамонов дважды приходил к нему, они долго беседовали один на один; во второй раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал:

— Вот, с ней говори, а я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте отдохну.

— Пойдем-ка со мной, Ульяна Ивановна, — приказал Артамонов и, не глядя, идет ли хозяйка за ним, вышел из комнаты.

— Иди, Ульяна, уповательно — это судьба, — тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав — ничего не делала, а тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слезы движением длинных, красивых ресниц:

— Что ж, Митрич, видно и впрямь судьба; благослови дочь-то.

Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь, Артамонов толкнул сына, парень с девушкой, не глядя друг на друга, взялись за руки, опустились на колени, склонив головы, а Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней, отеческой иконой в жемчугах:

— Во имя отца и сына... Господи, не оставь милостью чадо мое единое!

И строго сказал Артамонову:

— Помни, на тебе ответ богу за дочь мою!

Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола.

— Знаю.

И не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на нее и сына, мотнул головою к двери:

— Идите.

А когда благословенные ушли, он присел на постели больного, твердо говоря:

— Будь покоен, все пойдет, как надо. Я тридцать семь лет безнаказанно служил князьям моим, а человек — не бог, человек — немилостив, угодить ему трудно. И тебе, сватья Ульяна, хорошо будет, станешь вместо матери парням моим, а им приказано будет уважать тебя.

Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал, Ульяна тоже всхлипывала, а этот человек говорил с досадой:

— Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь, не сберег себя. Мне бы ты вот как нужен, по зарез!

Он шаркнул рукою поперек бороды, вздохнул шумно.

— Знаю я дела твои: честен ты и умен достаточно, пожить бы тебе со мною годов пяток, заворотили бы мы дела, — ну, — воля божья!

Ульяна жалобно крикнула:

— Что ты, ворон, каркаешь, что ты нас пугаешь? Может, еще...

Но Артамонов встал и поклонился в пояс Баймакову, как мертвому:

— Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку, там барка с хозяйством пришла.

Когда он ушел, Баймакова обиженно завыла:

— Облом деревенский, нареченный сыну невесте словечка ласко-
о не нашел сказать!

Муж остановил ее:

— Не ной, не тревожь меня.

И сказал, подумав:

— Ты держись его: этот человек, уповательно, лучше наших.

Баймакова почетно хоронил весь город, духовенство всех пяти
квей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего:
не понравилось горожанам; горбун Никита, шагавший сзади своих,
шал, как в толпе ворчали:

— Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет.

Вращая круглыми глазами цвета дубовых желудей Помялов на-
тывал:

— И Евсей, покойник, и Ульяна — люди осторожные, зря они
его не делали, стало быть, тут есть тайность, стало быть, соблазнил их
-то коршун этот, иначе они с ним разве породнились бы?

— Да-а, темное дело.

— Я и говорю — темное. Наверно — фальшивые деньги. А, ведь,
им, будто праведником жил Баймаков-то, а?

Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая
ра. День был ветренный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая
нями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудри-
намасленные волосы обнаженных голов. Кто-то сказал:

— Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчило, — посерел,
ан..

На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью
а в монастырь, а дом свой сдала Артамонову. Его и детей точно вих-
крутило, с утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая
сем улицам, торопливо крестясь на церкви; отец был шумен и неистов,
ший сын угрюм, молчалив и, видимо, робок или застенчив, красавец
шка — задорен с парнями и дерзко подмигивал девицам, а Никита
сходом солнца уносил острый горб свой за реку, на «Коровий язык»,
а грачами слетелись плотники, каменщики, возводя там длинную
пичную казарму и, в стороне от нее, под Окою, двухэтажный большой
из двенадцативершковых бревен, — дом похожий на тюрьму. Вече-
и жители Дремова, собравшись на берегу Ватаракши, грызли семена
вы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков,
кое тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности
роения Вавилонской башни, а Помялов утешительно предвещал
им людям всякие несчастия:

— Весною вода подтопит безобразные постройки эти. И пожар
ет быть: плотники курят табак, а везде — стружка.

Чахоточный поп Василий вторил ему:

— На песце строят.

— Нагонят фабричных, — пьянство начнется, воровство, распутство.

Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал:

— Людей больше, — кормиться легче. Ничего, пускай работают люди.

Очень смешил горожан Никита Артамонов; он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника, целые дни черпал жирный торф Ватаракши, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил его тачкой, раскладывая по песку черными кучками.

— Огород затевает, — догадались горожане, — Экой дурак! Разве песок удобришь?

На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку, и на зеленоватую воду ее ложились их тени, Помялов указывал:

— Глядите, глядите, — тень-то какая у горбатого!

И все видели, что тень Никиты, который шел третьим, необычно трепетна и, будто, тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя, вода в реке поднялась, и горбун, запнувшись за водоросли или оступясь в яму, скрылся под водою. Все зрители на берегу отрадно захохотали, только Ольгушка Орлова, тринадцатилетняя дочь пьяницы часовщика, крикнула жалобно:

— Ой, ой — утонет!

Ей дали подзатыльник:

— Не ори зря.

Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги, а когда они, оба мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошел прямо на жителей, так что они расступились пред ним, и кто-то боязливо сказал:

— Ишь ты, звереныш...

— Не любят нас, — заметил Петр.

Отец, на ходу, взглянул в лицо ему:

— Дай срок — полюбят.

И обругал Никиту:

— Ты чучело! Гляди под ноги, не смеши народ. Нам не на смех жить, барабан!

Жили Артамоновы, ни с кем не знакомясь, хозяйство их вела толстая старуха, вся в черном, она повязывала голову черным платком так, что концы его торчали рогами, говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русская; от нее ничего нельзя было узнать об Артамоновых.

— Монахами притворяются, разбойники...

Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять лен. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солдаты, он убил одного из них кистенем, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню, другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это,

ıолодой священник бедного Ильинского прихода наложил епитемию убийство, — сорок ночей простоять в церкви на молитве.

Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям жития святых, ·чения отцов церкви, но отец часто перебивал его:

— Высока премудрость эта, не досягнуть ее нашему разуму. Мы — џи чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились. ‹ойник князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти убился, что и веру в бога потерял. Все земли объездил, у всех королей ıнят был, — знаменитый человек! А — построил суконную фабрику — ɔошло дело. И что ни затевал, не мог оправдать себя. Так, всю жизнь ıрожил на крестьянском хлебе.

Говоря, он произносил слова четко, задумывался, прислушиваясь им, и снова поучал детей:

— Вам жить трудно будет, вы сами себе закон и защита. Я, вот, ı не своей волей, а как велено. И вижу: не так надо, а поправить могу, дело не мое, господское. Не только сделать по-своему боялся, ıже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским. Слышь, Петр?

— Слышу

— То-то. Понимай. Живет человек, а, будто, нет его. Конечно, и эта меньше, не сам ходишь, тобой правят. Без ответа жить легче, да ка мало.

Иногда он говорил час и два, все спрашивая: слушают ли дети? ит на печи, свеся ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и, не торољ, кует звено за звеном цепи слов. В большой, чистой кухне теплая ıота, за окном посвистывает вьюга, шелково гладит стекло. Или тре в синем холоде мороз. Петр, сидя у стола перед сальной свечею, шур бумагами, негромко щелкает косточками счет, Алексей помогает ему, ‹ита искусно плетет корзины из прутьев.

— Вот, воля нам дана царем-государем. Это надо понять: в каком ıете воля? Без расчета и овцу из хлева не выпустишь, а тут — весь од, тысячи тысяч, выпущен. Это значит: понял государь — с господ ного возьмешь, они сами все проживают. Георгий, князь, еще до воли, догадался, говорил мне: подневольная работа не выгодна. Вот ‹азано нам доверие для свободной работы. Теперь и солдат не два-ть пять лет ружье таскать будет, — а иди-ка, работай! Теперь всяк ‹ен показать себя, к чему годен. Дворянству конец подписан, теперь сами дворяне, слышите?

Ульяна Баймакова прожила в монастыре почти три месяца, а когда ıулась домой, Артамонов на другой же день спросил ее:

— Скоро свадьбу состроим?

Она возмутилась, сердито сверкнув глазами:

— Что ты, опомнись! Полугода не прошло со смерти отца, а ты... греха не знаешь?

Но Артамонов строго остановил ее:

— Греха я тут, сватья, не вижу. То ли еще господа делают, а бог терпит. У меня нужда: Петру хозяйка требуется.

Потом он спросил: сколько у нее денег? Она ответила:

— Больше пятисот не дам за дочерью!

— Дашь и больше, — уверенно и равнодушно сказал большой мужик, в упор глядя на нее.

Они сидели за столом друг против друга, Артамонов — облокотясь, запустив пальцы обеих рук в густую шерсть бороды, женщина, нахмурив брови, опасливо выпрямилась. Ей было далеко за тридцать, но она казалась значительно моложе, на ее сытом, румяном лице строго светились сероватые умные глаза. Артамонов встал, выпрямился.

— Красивая ты, Ульяна Ивановна.

— Еще чего скажешь? — сердито и насмешливо спросила она.

— Ничего не скажу..

Он ушел неохотно, тяжко шаркая ногами, а Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой:

— Бес бородатый. Ввязался...

Чувствуя себя в опасности пред этим человеком, она пошла наверх к дочери, но Натальи не оказалось там; взглянув в окно, она увидала дочь на дворе у ворот, рядом с нею стоял Петр. Баймакова быстро сбежала по лестнице и, стоя на крыльце, крикнула:

— Наталья, домой!

Петр поклонился ей.

— Непорядок это, молодец хороший, без матери беседовать с девицей, чтобы впредь не было этого!

— Она мне нареченная, — напомнил Петр.

— Все едино; у нас свои обычаи, — сказала Баймакова, но спросила себя: — Что это я рассердилась? Молодым, да не миловаться. Нехорошо как. Будто позавидовала дочери.

В комнате она больно дернула дочь за косу, все-таки запретив ей говорить с женихом с глаза на глаз.

— Хоть он и благословенный тебе, да еще — либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет, — сурово сказала она.

Темная тревога мутила ее мысли; через несколько дней она пошла к Ерданской погадать о будущем, — к знахарке, зобатой, толстой, похожей на колокол, все женщины города сносили свои грехи, страхи и огорчения.

— Тут гадать не о чем, — сказала Ерданская: — я тебе, душа, прямо скажу: ты за этого человека держись. У меня не зря глаза на лоб лезут, — я людей знаю, я их проникаю, как мою колоду карт. Ты гляди, как он удачлив, все дела у него шаром катятся, наши-то мужики только злые слюни пускают от завести к нему. Нет, душа, ты его не бойся, он не лисой живет, а медведем.

— То-то что медведем,— согласилась вдова и, вздохнув, рассказала адалке.— Боюсь; с первого раза, когда он посватал дочь,— испугалась.)друг, как будто из тучи упал никому не ведомый и в родню полез. 'азве эдак-то бывает? Помню, говорит он, а я гляжу в наглые глазищи го и на все слова дакаю, со всем соглашаюсь, словно он меня за горло взял.

— Это значит: верит он силе своей,—объяснила премудрая просвирня.

Но все это не успокоило Баймакову, хотя знахарка, провожая ее з своей темной комнаты, насыщенной душным запахом лекарственных рав, сказала на прощанье:

— Помни: дураки только в сказках удачливы...

Подозрительно громко хвалила она Артамонова, так громко и много, го казалась подкупленной. А, вот, большая, темная и сухая, как соленый удак, Матрена Барская говорила иное:

— Весь город стоном стонет, Ульяна, про тебя; как это не боишься я этих пришлых? Ой, гляди! Не даром один парень горбат, не за мал грех одителей уродом родился...

Трудно было вдове Баймаковой, и все чаще она поколачивала дочь, ама чувствуя, что без причины злится на нее. Она старалась как можно еже видеть постояльцев, а люди эти все чаще становились против нее, темняя жизнь тревогой.

Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулкими етелями, крепкими морозами, завалила улицы и дома сахарными холами снега, надела ватные шапки на скворешни и главы церквей, заковала лым железом реки и ржавую воду болот; на льду Оки начались кулачые бои горожан с мужиками окрестных деревень. Алексей каждый праздик выходил на бой и каждый раз возвращался домой злым и битым.

— Что, Олеша?— спрашивал Артамонов.— Видно, здесь бойцы овчее наших?

Растирая кровоподтеки медной монетой или кусками льда, Алексей рюмо отмалчивался, поблескивая ястребиными глазами, но Петр однажды сказал:

— Алексей дерется лихо, это его свои, городские, бьют.

Илья Артамонов, положив кулак на стол, спросил:

— За что?

— Не любят.

— Его?

— Всех нас, заедино.

Отец ударил кулаком по столу, так что свеча, выскочив из подсвечка, погасла; в темноте раздалось рычание:

— Что ты мне, словно девка, все про любовь говоришь? Чтоб не ыхал я этих слов!

Зажигая свечу, Никита тихо сказал:

— Не надо бы Олеше ходить на бои.

— Это чтобы люди смеялись: испугался Артамонов! Ты молчи, намарь! Сморчек.

Изругав всех, Илья через несколько дней, за ужином, сказал ворчливо-ласково:

— Вам бы, ребята, на медведей сходить, забава хорошая! Я хаживал с князь Георгием в Рязанские леса, на рогатину брали хозяев, интересно!

Воодушевясь, он рассказал несколько случаев удачной охоты и через неделю пошел с Петром и Алексеем в лес, убил матерого медведя, старика. Потом пошли одни братья и подняли матку, она оборвала Алексею полушубок, оцарапала бедро, братья все-таки одолели ее и принесли в город пару медвежат, оставив убитого зверя в лесу, волкам на ужин.

— Ну, как твои Артамоновы живут? — спрашивали Баймакову горожане.

— Ничего, хорошо.

— Зимой свинья смирна, — заметил Помялов.

Вдова, не веря себе, начала чувствовать, что с некоторой поры враждебное отношение к Артамоновым обижает ее, неприязнь к ним окутывает и ее холодом. Она видела, что Артамоновы живут трезво, дружно, упрямо делают свое дело и ничего худого не приметно за ними. Зорко следя за дочерью и Петром, она убедилась, что молчаливый коренастый парень ведет себя не по возрасту серьезно, не старается притиснуть Наталью в темном углу, щекотать ее и шептать на ухо зазорные слова, как это делают городские женихи. Ее несколько тревожило непонятное, сухое, но бережное и даже как будто ревнивое отношение Петра к дочери.

— Не ласков будет муженек.

Но однажды, спускаясь с лестницы, она услыхала внизу, в сенях, голос дочери:

— Опять на медведя пойдете?

— Собираемся. А что?

— Опасно, Алешу-то задел зверь.

— Сам виноват, не горячись. Значит — думаете обо мне?

— Я про вас ничего не сказала.

«Ишь ты, шельма, — подумала мать, улыбаясь и вздохнув. — А он — простак».

Илья Артамонов все настойчивее говорил ей:

— Поторопись со свадьбой, а то они сами поторопятся.

Она видела, что надо торопиться, девушка плохо спала по ночам и не могла скрыть, что ее томит телесная тоска. На пасху она снова увезла ее в монастырь, а через месяц, воротясь домой, увидала, что запущенный сад ее хорошо прибран, дорожки выполоты, лишаи с деревьев сняты, ягодник подрезан и подвязан; и все было сделано опытною рукою. Спускаясь по дорожке к реке, она заметила Никиту, — горбун чинил плетень, подмытый весенней водою. Из-под холщевой, длинной, ниже колен, рубахи жалобно торчали кости горба, почти скрывая большую голову, в прямых, светлых волосах; чтоб волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой березы. Серый среди сочно зеленой листвы, он был похож на старичка отшельника, самозабвенно увлеченного работой; взмахивая серебряным

на солнце топором, он ловко затесывал кол и тихонько напевал, тонким голосом девушки, что-то церковное. За плетнем зеленовато блестела шелковая вода, золотые отблески солнца карасями играли в ней.

— Бог в помощь,— неожиданно для себя умиленно сказала женщина.

Блеснув на нее мягким светом синих глаз, Никита ласково отозвался:

— Спаси бог.

— Это ты сад убрал?

— Я.

— Хорошо убрал. Любишь сады?

Стоя на коленях, он кратко рассказал, что с девяти лет был отдан князем барином в ученики садовнику, а теперь ему девятнадцать лет.

«Горбат, а, будто, не злой»,— подумала женщина.

Вечером, когда она с дочерью пила чай у себя наверху, Никита эстал в двери с пучком цветов в руке и с улыбкой на желтоватом, некра-:ивом и невеселом лице.

— Извольте принять букет.

— Зачем это? — удивилась Баймакова, подозрительно рассматривая красиво подобранные цветы и травы.

Никита объяснил ей, что у господ своих он обязан был каждое утро приносить цветы княгине.

— Вот как, — сказала Баймакова и, немножко зарумянившись, 'ордо подняла голову. — Али я похожа на княгиню? Она, поди-ка, кра-:авица?

— Так ведь и вы тоже.

Еще более покраснев, Баймакова подумала:

«Не отец ли научил его?»

— Ну, спасибо за почет, — сказала она, но к чаю не пригласила Никиту, а когда он ушел, подумала вслух: — Хороши глаза у него; не тцовы, а материны, должно быть.

И вздохнула.

— Видно, судьба нам с ними жить.

Она не очень уговаривала Артамонова подождать со свадьбой до сени, когда исполнится год со дня смерти мужа ее, но решительно заявила вату:

— Только ты, сударь, Илья Васильевич, отступись от этого дела, ай мне устроить все по-нашему, по-хорошему, по-старинному. Это и тебе ыгодно, сразу войдешь во все лучшие наши люди, на виду встанешь.

— Ну, — горделиво замычал Артамонов, — меня и без этого издали идно.

Обиженная его заносчивостью, она сказала:

— Тебя здесь не любят.

— Ну, бояться станут.

И ухмыляясь, пожав плечами:

— Вот и Петр тоже все про любовь поет. Чудаки вы...

— Да и на меня нелюбовь эта заметно падает.

— Ты, сватья, не беспокойся!

Артамонов поднял длинную лапу, докрасна сжав пальцы в кулак.

— Я людей обламывать умею, вокруг меня недолго попрыгаешь. Я обойдусь и без любови...

Женщина промолчала, думая с жуткой тревогой:

«Экой зверь».

И вот уютный дом ее наполнен подругами дочери, девицами лучших семей города; все они пышно одеты в старинные парчевые сарафаны, с белыми пузырями рукавов из кисеи и тонкого полотна, с проймами и мордовским шитьем шелками, в кружевах у запястий, в козловых и сафьяновых башмаках, с лентами в длинных девичьих косах. Невеста, задыхаясь в тяжелом, серебряной парчи сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола, в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах; она сидит, как ледяная, в переднем углу и, отирая кружевным платком потное лицо, звучно «стиховодит»:

— По лугам, по зелены-им,
По цветам по лазоревым,
Разлилася вода вешняя,
Студена вода, ой, мутная...

Подруги голосно и дружно подхватывают замирающий стон девичьей жалобы:

— Посылают меня, девицу,
Посылают меня по воду,
Меня босу, не обутую
Ой, нагую, не одетую...

Невидимый в толпе девиц хохочет и кричит Алексей:

— Это — смешная песня! Засовали девицу в парчу, как индюшку в жестяное ведро, а — кричите: нага, не одета!

Близко к невесте сидит Никита, новая синяя поддевка уродливо и смешно взъехала с горба на затылок, его синие глаза широко раскрыты и смотрят на Наталью так странно, как будто он боится, что девушка сейчас растает, исчезнет. В двери стоит, заполняя всю ее, Матрена Барская и, ворочая глазами, гудит глубоким басом:

— Не жалобно поете, девицы.

Шагнув широким шагом лошади, она строго внушает, как надо петь по старине, с каким трепетом надо готовиться к венцу.

— Сказано: «за мужем — как за каменной стеной», так вы знайте: крепка стена — не проломишь, высока — не перескочишь.

Но девицы плохо слушают ее, в комнате тесно, жарко, толкая старуху, они бегут во двор, в сад; среди них, как пчела в цветах, Алексей в шелковой золотистой рубахе, в плисовых шароварах, шумный и веселый, точно пьян.

Обиженно надув толстые губы, выпучив глаза, высоко приподняв спереди подол штофной юбки, Барская, тучей густого дыма, поднимается наверх, к Ульяне, и пророчески говорит:

— Весела дочь у тебя, не по правилу это, не по обычаю. Веселому началу — плохой конец!

Баймакова озабоченно роется в большом, кованном сундуке, стоя на коленях пред ним; вокруг нее на полу, на постели, разбросаны, как в ярмарочной лавке, куски штофа, канауса, московского кумача, кашемировые шали, ленты, вышитые полотенца, широкий луч солнца лежит на ярких тканях, и они разноцветно горят, точно облако на вечерней заре.

— Не порядок это — жить жениху до венца в невестином доме, надо было выехать Артамоновым...

— Говорила бы раньше, поздно теперь говорить об этом, — ворчит Ульяна, наклоняясь над сундуком, чтобы спрятать огорченное лицо, и слышит басовитый голос:

— Про тебя был слух, что ты — умная, вот я и молчала. Думала — сама догадаешься. Мне что? Мне была бы правда сказана, люди не примут, господь зачтет.

Барская стоит, как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краев полную мудрости; не дождавшись ответа, она вылезает за дверь, а Ульяна, стоя на коленях в цветном пожаре тканей, шепчет в тоске и страхе:

— Господи, помоги! Не лиши разума.

Снова шорох у двери, она поспешно сунула голову в сундук, чтобы скрыть слезы, Никита в двери:

— Наталья Евсевна послала узнать, не надо ли вам помощи в чем-нибудь.

— Спасибо, милый...

— На кухне Ольгунька Орлова патокой облилась.

— Да что ты? Умненькая девченочка, вот бы тебе невеста...

— Кто пойдет за меня...

А в саду под липой, за круглым столом сидят, пьют брагу, Илья Артамонов, Гаврила Барский, крестный отец невесты, Помялов и кожевник Житейкин, человек с пустыми глазами, тележник Воропонов; прислонясь к стволу липы, стоит Петр, темные волосы его обильно смазаны маслом, и голова кажется железной, он почтительно слушает беседу старших.

— Обычаи у вас другие, — задумчиво говорит отец, а Помялов хвастается:

— Мы жа тут коренной народ. Велика Русь!

— И мы не пристяжные.

— Обычаи у нас древние...

— Мордвы много, чуваш...

С визгом и смехом, толкаясь, сбежали в сад девицы и, окружив стол ярким венком сарафанов, запели величанье:

— Ой, свату великому,
Да Илье-то-ы Васильевичу
На ступень ступить — нога сломить,
На друга ступить — друга сломить,
А на третью — голова свернуть.

— Вот так честят! — удивленно вскричал Артамонов, обращаясь к сыну. Петр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дергая себя за ухо.

— А ты слушай! — советует Барский и хохочет.

— Того мало свату нашему
Да похитчику девичьему...

— Еще мало? — возбуждаясь кричит Артамонов, видимо смущенный, постукивая пальцами по столу

А девицы яростно поют:

— С хором бы тя о борону,
Да с горы бы тя о каменье,
Чтобы ты нас не обманывал,
Не хвалил бы, не нахваливал
Чужедальние стороны,
Нелюдимые слободы, —
Они горем насеяны,
Да слезами поливаны...

— Вот оно к чему! — обиженно вскричал Артамонов. — Ну, я, девицы, не во гнев вам! свою-то сторону все-таки похвалю: у нас обычаи помягче, народ поприветливее. У нас даже поговорка сложена: «Свапа да Усожа — в Сейм текут; слава тебе, боже, — не в Оку!».

— Ты погоди, ты еще не знаешь нас, — не то хвастаясь, не то угрожая сказал Барский. — Ну, одари девиц!

— Сколько ж им дать?

— Сколько душе не жалко.

Но когда Артамонов дал девицам два серебряных рубля, Помялов сердито сказал:

— Широко даешь, бахвалишься!

— Ну и трудно угодить на вас! — тоже гневно крикнул Илья, Барский глушительно захохотал, а Житейкин рассыпал в воздухе смешок мелкий и острый.

Девишник кончился на рассвете, гости разошлись, почти все в доме заснули, Артамонов сидел в саду с Петром и Никитой, гладил бороду и говорил негромко, оглядывая сад, щупая глазами розоватые облака:

— Народ терпкий. Не любезный народ. Уж ты, Петруха, исполняй все, что теща посоветует, хоть и бабьи пустяки это, а надо! Алексей пошел девок провожать? Девкам он приятен, а парням — нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского... н-да! Ты, Никита, поласковее будь,

ты это умеешь. Послужи отцу замазкой, где я трещину сделаю, ты заткни.

Заглянув одним глазом в большой деревянный жбан, он продолжал угрюмо:

— Все вылокали; пьют, как лошади. Что думаешь, Петр?

Перебирая в руках шелковый пояс, подарок невесты, сын тихо сказал:

— В деревне проще, спокойнее жить.

— Ну... Чего проще, коли день проспал...

— Тянут они со свадьбой.

— Потерпи.

И вот наступил для Петра большой, трудный день. Петр сидит в переднем углу горницы, зная, что брови его сурово сдвинуты, нахмурены, чувствуя, что это нехорошо, не красит его в глазах невесты, но развести бровей не может, они точно крепкой ниткой сшиты. Исподлобья поглядывая на гостей, он встряхивает волосами, хмель сыплется на стол и на фату Натальи, она тоже понурилась, устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда.

— Горько! — в двадцатый раз ревут красные, волосатые рожи с оскаленными зубами.

Петр поворачивается как волк, не сгибая шеи, приподнимает фату и сухими губами, носом тычется в щеку, чувствуя атласный холод ее кожи, пугливую дрожь плеча; ему жалко Наталью и тоже стыдно, а тесное кольцо подвыпивших людей орет:

— Не умеет парень!

— В губы цель!

— Эх, я бы, вот, поцеловал...

Пьяный женский голос визжит:

— Я-те поцелую!

— Горько! — рычит Барский.

Сцепив зубы, Петр прикладывается к влажным губам девушки, они дрожат, и вся она, белая, как будто тает, подобно облаку на солнце. Они оба голодны, им со вчерашнего дня не давали есть. От волнения, едких запахов хмельного и двух стаканов шипучего цимлянского вина, Петр чувствует себя пьяным и боится, как бы молодая не заметила этого. Все вокруг зыблется, то сливаясь в пеструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями неприятных рож. Сын умоляюще и сердито смотрит на отца, Илья Артамонов встрепанный, пламенный кричит, глядя в румяное лицо Баймаковой:

— Сватья, чокнемся медком! Мед у тебя — в хозяйку сладок...

Она протягивает круглую, белую руку, сверкает на солнце золотой браслет с цветными камнями, на высокой груди переливается струя жемчуга. Она тоже выпила, в ее серых глазах томная улыбка, приоткрытые губы соблазнительно шевелятся, чокнувшись, она пьет и кланяется свату, а он, встряхивая косматой башкой, восхищенно орет:

— Эка повадка у тебя, сватья! Княжья повадка, убей меня бог!

Петр смутно понимает, что отец неладно держит себя; в пьяном реве гостей, он чутко схватывает ехидные возгласы Помялова, басовитые упреки Барской, тонкий смешок Житейкина.

«Не свадьба, а суд»,— думает он и слышит:

— Глядите, как он, бес, смотрит на Ульяну-то, ой-ой!

— Быть еще свадьбе, только без попов...

Эти слова на минуту влипают в уши ему, но он тотчас забывает их, когда колено или локоть Натальи, коснувшись его, вызовет во всем его теле тревожное томленье. Он старается не смотреть на нее, держит голову неподвижно, а с глазами сладить не может, они упрямо косятся в ее сторону.

— Скоро ли конец этому? — шепчет он, Наталья также отвечает:

— Не знаю.

— Стыдно...

— Да, — слышит он и рад, что молодая чувствует одинаково с ним.

Алексей с девицами, они пируют в саду; Никита сидит рядом с длинным попом, у попа мокрая борода и желтые, медные глаза на рябом лице. Со двора и с улицы в открытые окна смотрят горожане, десятки голов шевелятся в синем воздухе, поминутно сменяясь одна другою; открытые рты шепчут, шипят, кричат; окна кажутся мешками, из которых эти шумные головы сейчас покатятся в комнату, как арбузы. Никита особенно отметил лицо землекопа Тихона Вялова, скуластое, в рыжеватой густой шерсти и в красных пятнах. Бесцветные на первый взгляд глаза странно мерцали, подмигивая, но мигали зрачки, а ресницы — неподвижны. И неподвижны тонкие, упрямо сжатые губы небольшого рта, чуть прикрытого курчавыми усами. А уши нехорошо прижаты к черепу. Этот человек, навалясь грудью на подоконник, не шумел, не ругался, когда люди пытались оттолкнуть его, он молча оттирал их легкими движениями плеч и локтей. Плечи у него были круго круглые, шея пряталась в них, голова росла как бы прямо из груди, он казался тоже горбатым, и в лице его Никита нашел нечто располагающее, доброе.

Кривой парень неожиданно и гулко ударил в бубен, крепко провел пальцем по коже его, бубен заныл, загудел, кто-то, свистнув, растянул на колене двухрядную гармонику, и тотчас посреди комнаты завертелся, затопал кругленький, кудрявый дружка невесты, Степаша Барский, вскрикивая в такт музыке:

— Эй, девицы — супротивницы,
Хороводницы, затейницы!
У меня ли густо денежки звенят
Выходите, что ли, супроти меня!

Отец его выпрямился во весь свой огромный рост и загремел:

— Степка! Не выдай город, покажи курятам!

Вскочил Илья Артамонов, дернув встрепанной, как помело, голо-оюю, лицо его налилось кровью, нос был красен, как уголь, он закричал лицо Барскому:

— Мы тебе не курята, а куряне! И еще кто кого перепляшет! ілеша!

Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей, улыбаясь, присмо-релся к дремовскому плясуну и пошел, вдруг побледнев, неуловимо ыстро, взвизгивая по-девичьи.

— Присловья не знает! — крикнули дремовцы, и тотчас раздался тчаянный рев Артамонова:

— Олешка, убью!

Не останавливаясь, четко отбивая дробь. Алексей вложил два альца в рот, оглушительно свистнул и звонко выговорил:

— У барина, у Мокея
Было пятеро лакеев,
Ныне барин Мокей
Сам таков же лакей!

— На те! — победоносно рявкнул Артамонов.

— Ого! — многозначительно воскликнул поп и, подняв палец, окрутил головою.

— Алексей перепляшет вашего, — сказал Петр Наталье, — она обко ответила:

— Легкий.

Отцы стравливали детей, как бойцовых петухов; полупьяные, они ояли плечо в плечо друг с другом, один — огромный, неуклюжий, чно куль овса, из его красных, узеньких щелей под бровями обильно кли слезы пьяного восторга; другой весь подобрался, точно готовясь ыгнуть, шевелил длинными руками, поглаживая бедра свои, глаза его чти безумны. Петр, видя, что борода отца шевелится на скулах, сооб-жает:

«Зубами скрипит. Ударит кого-нибудь сейчас...».

— Охально пляшет Артамоновский! — слышен трубный голос трены Барской. — Не фигурно пляшет! Бедно!

Илья Артамонов хохочет в темное, круглое, как сковородка, лицо , в широкий нос, — Алексей победил, сын Барских, шатаясь, идет двери, а Илья, грубо дернув руку Баймаковой, приказывает:

— Ну-тко, сватья, выходи!

Побледнев, размахивая свободной рукою, она гневно и растерянно бивается:

— Что ты! Али мне вместно, что ты?

Гости примолкли, ухмыляясь, Помялов переглянулся с Барской, сляно шипят его слова:

— Ну, ничего! Утешь, Ульяна, спляши? Господь простит...

— Грех на меня! — кричит Артамонов.

Он как будто отрезвел, нахмурился и точно в бой пошел, идя как бы не своей волей. Баймакову толкнули встречу ему, пьяненькая женщина пошатнулась, оступилась и, выпрямясь, вскинув голову, пошла по кругу,— Петр услышал изумленный шопот:

— А, батюшки! Муж в земле еще года не лежит, а она и дочь выдала, и сама пляшет!

Не глядя на жену, но понимая, что ей стыдно за мать, он пробормотал:

— Не надо бы отцу плясать.

— И матушке не надо бы, — ответила она тихо и печально, стоя на скамье и глядя в тесный круг людей, через их головы; покачнувшись, она схватилась рукою за плечо Петра.

— Тише! — сказал он ласково, поддержав ее за локоть.

В открытые окна, через головы зрителей, вливались отблески вечерней зари, в красноватом свете этом кружились, как слепые, мужчины и женщины. В саду, во дворе, на улице хохотали, кричали, а в душной комнате становилось все тише. Туго натянутая кожа бубна бухала каким-то темным звуком, верещала гармоника, в тесном круге парней и девиц все еще, как обожженные, судорожно метались двое; девицы и парни смотрели на их пляску молча, серьезно, как на необычно важное дело, солидные люди частью ушли во двор, остались только осовевшие, неподвижно пьяные.

Артамонов, топнув, остановился:

— Ну, забила ты меня, Ульяна Ивановна!

Женщина, вздрогнув, тоже вдруг встала как пред стеною и, поклонясь всем, круговым поклоном, сказала:

— Не обессудьте.

Обмахиваясь платком, она тотчас ушла из комнаты, а на смену ей влезла Барская:

— Разводите молодых! Ну-ко, Петр, иди ко мне; дружки, ведите его под руки!

Отец, отстранив дружек, положил свои длинные, тяжелые руки на плечи сына:

— Ну, иди, дай бог счастья! Обнимемся давай!

Он толкнул его, дружки подхватили Петра под руки, Барская, идя впереди, бормотала, поплевывая, во все стороны:

— Тьфу, тьфу! Ни болезни, ни горюшка, ни зависти, ни бесчестьица, тьфу! Огонь, вода — во-время, не на беду, на счастье!

Когда Петр вошел вслед за ней в комнату Натальи, где была приготовлена пышная постель, старуха тяжело села посреди комнаты на стул.

— Слушай, да не забудь! — торжественно говорила она. — Вот тебе две полтины, положи их в сапоги, под пятку; придет Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять, — ты ей не давай...

— Зачем это? — угрюмо спросил Петр.

— Не твое дело. Три раза — не дашь, а в четвертый — разреши, тут она тебя трижды поцелует, а полтинники ты дай ей, скажи: дарю 5е, раба моя, судьба моя! Помни! Ну, разденешься и ляг спиной к ней,)на тебя просить будет: пусти ночевать! Так ты молчи, только в трей раз протяни ей руку, понял? Ну, потом...

Петр изумленно взглянул в темное, широкое лицо наставницы, раздвая ноздри, облизывая губы, она отирала платком жирный подбородок, :ю и властно, четко выговаривала грубые бесстыдные слова, повторив прощанье:

— Крику не верь, слезам не верь, — она, пошатываясь, вышла из комнаты, оставив за собою пьяный запах, а Петром овладел ипадок гнева, — сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать, быстро зделся и прыгнул в постель, как на коня, сцепив зубы, боясь заплать от какой-то большой обиды, душившей его.

— Черти болотные...

В пуховой постели было жарко; он соскочил на пол, подошел к окну, :пахнул раму, — из сада в лицо ему хлынул пьяный гул, хохот, девий визг; в синеватом сумраке, между деревьями, бродили черные фигуры дей. Медным пальцем воткнулся в небо тонкий шпиль никольской колоьни, креста на нем не было, сняли золотить. За крышами домов пеьно светилась Ока, кусок луны таял над нею, дальше черными сугроми лежали бесконечные леса. Ему вспомнилась другая земля, простор земля золотых пашен, он вздохнул; на лестнице затопали, захихикали, снова прыгнул в кровать, открылась дверь, шуршал шелк лент, скрии башмаки, кто-то всхлипывая плакал, звякнул крючок, вложенный робой. Петр осторожно приподнял голову; в сумраке у двери стояла ая фигура, мерно размахивая рукою, сгибаясь почти до земли.

— Молится. А я — не молился.

Но молиться не хотелось.

— Наталья Евсеевна, — тихонько заговорил он, — вы не бойтесь. :ам боюсь. Замучился.

Обеими руками приглаживая волосы на голове, дергая себя за ухо, бормотал:

— Ничего этого не надо, сапоги снимать и все. Глупости. У меня дце болит, а она балуется. Не плачьте.

Осторожно, боком она прошла к окну, тихонько сказав:

— Гуляют еще.

— Да.

Боясь чего-то, не решаясь подойти один к другому, оба усталые, долго перебрасывались ненужными словами... На рассвете заскрипела гница, кто-то стал шарить рукою по стене, Наталья пошла к двери.

— Барскую не пускайте, — шепнул Петр.

— Это матушка, — сказала Наталья, открыв дверь; Петр сел кровати, спустив ноги, недовольный собою, тоскливо думая: «Плох я, не смел, посмеется надо мной она, дождусь...».

Дверь открылась, Наталья тихо сказала:

— Матушка зовет.

Она прислонилась к печке, почти невидимая на белых изразцах а Петр вышел за дверь, и там, в темноте, его встретил обиженный, испуганный, горячий шопот Баймаковой:

— Что ж ты делаешь, Петр Ильич, что ты опозорить хочеш меня и дочь мою? Ведь утро наступает, скоро будить вас придут, надо девичью рубаху людям показать, чтобы видели: дочь моя — честная!

Говоря, она одною рукою держала Петра за плечо, а другой отталкивала его, возмущенно спрашивая:

— Что ж это? Силы нет, охоты нет? Не пугай ты меня, не молчи..

Петр глухо сказал:

— Жалко ее. Боязно.

Он не видел лица тещи, но ему послышалось, что женщина коротк засмеялась.

— Ну, ты иди-ка, иди, делай свое мужское дело. Христофору мученику помолись. Иди. Дай поцелую...

Крепко обняв его за шею, дохнув теплым запахом вина, она поцеловала его сладкими, липкими губами, он, не успев ответить на поцелуй громко чмокнул воздух. Войдя в светелку, заперев за собою дверь, он решительно протянул руки, девушка поддалась вперед, вошла в кольцо его рук, говоря дрожащим голосом:

— Выпимши она немножко.

Петр ожидал других слов. Пятясь к постели, он бормотал:

— Не бойся. Я не красивый, а добрый...

Прижимаясь к нему плотнее, она шепнула:

— Ноженьки не держат...

(Продолжение следует).

Разин Степан [1]).

А. Чапыгин.

На Волгу.

I.

«От царя и великого князя Алексея Михайловича всея великие и алые и белые Росии самодержца в нашу отчину Астрахань боярину ашему и воеводам князю Ивану Андреевичу Хилкову, да Ивану Федороичу Бутурлину, да Якову Ивановичу Безобразову и дьяком нашим — вану Фомину, да Григорью Богданову. В прошлом во 174 году Мая втором числе посланы к вам наши великого государя грамоты о провеıваньи воровских козаков и о промыслу над ними — которые хотят ти с Дону на Волгу воровать, чтоб однолично воровских козаков отнюдь ı море и на морские проливы не пропустить и чтоб они на Волге для абежей не были...»

II.

На Дон из посольского приказа была послана грамота от 25 марта 67 г.:

«Послать от войска донского в Паншинский и Качалинский городы обо избранных атамана и есаула и заказ учинить крепкий, чтоб козаки Стенькой Разиным под Царицын и иные места отнюдь не ходили».

III.

Воевода Андрей Унковский из Царицына в 1667 году доносил: «Стенька Разин с товарищи на воровство из Черкаского пошел же, войско ему в том не препятствовало».

---

[1]) Первая часть романа была напечатана в книгах «Былого» за 1925 год. стоящая часть — вторая — имеет самостоятельное значение.

В хате Разина чисто прибрано. В углу черные образа на клинообразной божнице, по серебряным венцам завешаны шитыми полотенцами, глиняный пол устлан пестрыми половиками.

Олена нарядная в новой плахте, в красных штанах в сапогах с короткими голенищами прибирала стол.

— Ты бы подсобил, Фролко, или Гришутку покликал — где он?

Черноволосый с девичьим лицом, уже тронутым морщинками около карих глаз, Фрол ответил женщине бренчанием струн домры, потом приостановил игру, сказал:

— Твой Гришутка с робятами побежал за город — играют в войну.— Снова забренчали струны.

— Чого бренчишь? ужо придет, наиграешься — жди!

— А ну его! Лисьего хвоста, волчьего зуба — не люблю, Олена, Корнея и Стенько его не любит.

— Ой, лжешь! Стенько батьку хрестного любит и почитает...

— И покойной отец Тимоша не любил... в ночь, как помереть ему, я его хмельного вел по Черкаскому, говорил: «Берегись Корнея, Корней дуже хитрой». Давно уж то было, да хорошо помнится.

— Не хитрой был — не был бы столь годов атаманом, а то без его совета и круг не бывает... — Олена засмеялась, подразнила Фрола подходя, растопыривая над головой казака полные руки.

— Стара стала, а обнять, что ль? Вишь много ты, Фролко, на девку походишь — от того, должно, не женишься.

Фрол опустил глаза.

— Не женюсь и в помыслах не держу...— прибавил чуть слышно: — тебе забава, а я тебя сызмальства люблю...

— Любишь? Ой, да не козак ты!

— Не лежит сердце к козачеству: война, грабеж — где козаки, там смерть, а они лишь похваляются, что несдачны, ни к младеню, ни к старику.

— Кабы, Стенько, тебя чул — согнал бы с хаты...

Фрол рванул струны. Олена отошла к столу, поправила яндовую с вином, одернула скатерть.

— Чего струны тревожишь?

— Вишь эти пищат — не могу терпеть.

В углу у дверей стояла большая ржавая клетка, из нее пахло тухлым мясом. Два ястреба сидели на жердочке клетки один против другого, но их разделяла проволочная сетка, и ястреба, срываясь с жердочек, бились в сетку, впивали крючкообразные когти, норовя достать один другого, и не могли — вновь садились, свистели заунывно:

— Фи-и-и... Фи-и-и...

— Выросли, махонькие были, а выросли — все сцепиться пробуют... тебе бы, Фролко, в пирах домрачеем ходить... Стенько не такой... у, мой Стенько — грозен бывает.

— Стенько по роду пошел... батько Тимоша удалой был: с Кондырем Ивашкой Яик достроить цареву купцу не дал... сказывали...

— А ты не в породу. Ха, ха... девкой вишь тебя рожали да сплошали... ха, ха, ха...— колыхалась полная грудь Олены, колыхался живот недавно беременной — топырилась спереди плахта.

Солнце било в хату жарко, и вдруг померкло на короткое время. Высокая фигура атамана степенно прошла в сени хаты.

Вмахнулись концы половиков у дверей.

Корней, атаман, сняв шапку с бараньим околышем, перекрестился всей широкой пятерней.

— Эге, плясавица! поздорову ли живешь, дочка?

— Садись хрестный, испей чего с дороги...

— С дороги!— бугай-те рогом! не велыка путина.

Сверкнуло серебро в ухе, атаман сел к столу, заслонив солнечный свет — э, да вона вечерница, альбо денница? Домрачей у дела. Гех, Фрол! крути козацкую, крути.

Фрол, перебирая струны, тихо подпевал:

А то было на Дону реке,
Что на прорве — на урочище
Богатырь ли, то удал козак
Хоронил в земле узорочье...
То узорочье Арменьское,
То узорочье Бухарское —
Грабежом-разбоем взятое,
Кровью черною замарано...
В костяной ларец положено...
А и был той костяной ларец
Схожий видом со царь-городом:
Башни, теремы и церкови
Под косой вербой досель лежат...

— О кладе играешь? А ты, Фролко, песни не дослушал сам... я от бандуриста чул, от темного старца, еще в младости моей, совсем не так, песня играется... тай по-украиньски вона граетца...

Фрол не ответил атаману.

— Ты плясовую крути!

Гех свыня квочку высидела.
Поросеночек яичко снес!

О, так! О, тик! Олена, пляши!

— Грузна я стала, стара, хрестный.

Атаман топнул ногой.

— А ну, грузен медведь, да за конем в бегах держится — пляши!

Олена плавно прошлась по хате. Ее тяжелые волосы растрепались, лицо загорелось, глаза померкли.

Фрол, наигрывая плясовую, боялся глядеть на невестку. Атаман, черпая из ковша хмельное, притоптывал ногой, потом вскочил из-за стола и крикнул:

— Фролко, выди, — два слова хрестнице скажу и уйду.

Казак не посмел перечить атаману — взял с лавки шапку, вышел.

Корней хмельно зашептал:

— Сколь годов маню и нынче не забыл — идешь ли со мной, бабица? Нонешнее время пришло, на што тебе надею держать?

— На мужа надею кладу, батько...

— Мужу твоему мало с тобой любоваться.

— Пошто так, хрестной?

— Не ведаешь от мужа? — Скажу: в верхние городки много холопей с Москвы беглых сошло... голудьба к Стеньку липнет, он ее мушкету обучил и в море взял, а потом Доном на Волгу вернул. Хотели матерые задержать их, пошто держать? Хлеб съедают, своих теснят... Я дал волю — лети сокол с куркулятами. Заказано от Москвы пущать Стеньку на Волгу, а что мне Москва? Нам, матерым козакам, без голудьбы на Дону шире.

Атаман шагнул к Олене и тихо со злобой прибавил:

— Гех! Он теперь Москву задрал, долго Стеньку не бывать дома...

Олена заплакала, опустила руки.

— Садись, баба! — атаман сел.

Олена опустилась на скамью, к ней Корней придвинулся, положил ей на плечо тяжелую руку. Отблеск серьги в красном ухе атамана резал Олене глаза, она отвернулась.

— Не отвертывайся, слушай, что скажу: — старше ты стала, подобрела, парнишку подрастила, и я старее гляжу, но кину жену от другого мужа, остачу сдам чекан и бунчук пасынку, а не приберут его козаки — молод, то Самаренину и мы с тобой в азовскую сторону... гех!

— Хрестный... буду я мужа дожидать, пущай Стенько меня и Гришку с собой...

— Куда ему волочить тебя? На шарпанье? Грабеж и бой? Не долго гулять твоему Стеньке — уловят! А ты вишь еще брюхата...

— Нет, хрестный!

— Гех, Олена! Мы бы с тобой к салтану турскому, — давно манит меня, а то к польскому крулю за гетьманом Выговским, — подавай-ко нам круль цацкы: золото, жемчуг. Лалами голубыми да красными увешал бы, як богородицу... — э-эх!

— Не... хрестный...

— Знай все! У Москвы когти, что у ястреба — вон вишь как железо дерут в клетке? Услышишь скоро — почнут писать на Дон, на Волгу, в Астрахань: «Имай вора!» и поймают, замучат в пытошной башне аль где... знай, — ежели ты с ним будешь и тебя на дыбу, — рубаху сорвут и эк по голым питкам, — эк, вот эк, — атаман постучал в стол сжатым кулаком. Олена зажмурилась.

— И Гришку твоего, и того кто родится, как детей псковских воров, собаками затравят. Москва, она боярская, у ей жалости не ищи... со мной уедешь — не обижу ни тебя, ни детей твоих, люба ты мне, сдавна люба!

— Ой, хрестной, хоть помереть, не жаль...

Атаман встал.

— Я еще зайду, ты думай — страшное твое, сказываю, зачинается ›лько.

Вошел Фрол, сел на прежнее место. Корней атаман слегка хмельой, попыхивая дымом трубки на седые усы и красное лицо, сказал, косив глаза на казака:

— В плахту бы тебя, Фролко, нарядить, в кику, да боярским боярым в теремах песни играть... игрец! Це не козак и не буде козак!..

Толкнул сильной рукой дверь и обернулся.

— Ты, Фролко, этих вот ястребов со всей клетью тащи ко мне, ›ра обучать, будут гожи гулебщикам.

— Хрестный! Забранитца Стенько: его птицы.

— Сказывал я, Олена, — не до птиц будет твоему Стеньку.

Грузно шагая, заслонив свет в окошках, атаман ушел. Молчала лена, опустив голову, в ней накипали слезы. Молчал Фрол, и слышно ›ло, как мухи слетались к хмельному меду на стол. Фрол начал щипать руны, они запели. Он сказал:

— Вот завсегда так! Атаман как упьется, зверем станет... злой ı, а не упился, хитрой глядит...

Олена не ответила и уронила на руки голову.

С раската угловой башни Черкаска далеко в степь прокатился гул ıстрела из пушки.

Атаман Корней на черном коне ехал в степь унять расходившуюся ıовь. Городом белая пыль пылила в глаза и делала красный кунтуш амана седым. Шумели, трещали камыши по низинам. В степи, с неоглядй мутно-знойной ширины несло в лицо гарью травы. Корней покуривая ляделся в степь.

— Так их поганых, сыроядцев!

Он думал о татарах, скрытых в степи для грабежей. Пожар застаяет татарские сакмы отодвигаться прочь от казацких городов.

С выстрелом из пушки сонный от зноя Черкаск ожил.

— В поле, козаки!

— Батько зовет!

— Охота! Будем слаживаться.

Выделялись лучшие стрелки из казаков. Мелькали нагайки, синели, аснели кафтаны с перехватом — ехали в степь. Красный кунтуш атана далеко виден: Корней встал с лошадью на верху кургана, стрелки дъезжали к кургану, располагались у подножия. В камышах, низик и перелесках затрещали выстрелы загонщиков. Атаман с кургана ıал голос:

— На сполох по зверю бить из пищалей, мушкетов без свинцу-у!

— Знаем, батько!

— Эге-ге-ге!

— Угу-гу-гу!

В стороне озера из камышей от озер выкатились на луг два крупны бурых пятна.

— Ого-го-го!

— Ве-е-при-и!

Пасынок атамана, тонкий, сухой и смуглый, на пегом коне первы поднял пику наперевес. Задний вепрь свернул в сторону, передний ше. навстречу пегому коню Калужного.

— А, ну парень!

Ворчал атаман, вглядываясь, заслонив рукавом от солнца глаза, и отдувался — из степи несло душной, жаркой гарью. Калужный подня. пику — зверь близко, казак с силой опустил пику, но промахнулся зверь, не видя охотника, почуял опасность, отвернул, сделав неожиданный прыжок в сторону, успел резнуть клыком брюхо лошади. Пегий конь под Калужным взвился на дыбы, обдавая траву кровью и внутренностями — захрипел, пал на бок, казак перебросив ноги, врос в землю и, не целясь выстрелил из мушкета. Пуля ободрала щетинистый бок зверю, кабан бешено хрюкнул, открыв длинную пасть — сверкнули клыки, он метнулся но был остановлен пикой наскакавшего казака... Кабан, пронзенный пикой в живот, быстрей чем ждали, согнул непокорную шею, куснул древко оно хрястнуло переломившись. Калужный кинулся на кабана, выстрели. из пистолета в ухо зверю — от головы кабана пошел дым... Зверь, тихо хрюкая, осел в траву...

— Собак, хлопцы, уйдет другой! — кричал атаман.

Желтеющая стена ближних камышей, извиваясь кое-где, трещала Треск камыша замирал и таял, как потухающий костер, — кабан исчез в зарослях болот.

— Упустили зверя,

— Да... не сгонишь... ушел!

Стрелки от кургана двинулись в луга. Крупный русак мелькал в траве желтовато-серой шерстью. По зайцу много охотников опорожнили ружья, но он невредимо шмыгнул на холм к ногам лошади атамана. Корней молодо согнулся в седле, взмахнув плетью; русак заклубился с переломленным хребтом под лошадью, плача грудным ребенком.

— Прыткий ухан!

Корней поправился в седле, оглядывая луга, меняя на чекан плеть

Казак гонит волка — вот-вот конец зверю, лошадь под казаком споткнулась в травянистой рытвине... Светло-палевый зверь, прижав уши, ушел, но сбоку кургана голоса и шум, а вверху один красный. Палевый зверь быстрее стрелы на курган, навстречу ему с коня, как огонь, метнулось красное, сверкнула сталь... зверь, завизжав, пополз на брюхе с кургана, из головы его лилась кровь, мешаясь с мозгом. Душный ветер с простора степей нагнал к охотникам в поле тучу кусливых мух с красно-пегими крыльями. Укушенные лошади лягались, дыбились, мотали головами. Атаман, съезжая с кургана, сдерживая пляшущего коня, крикнул:

— Съезжай, — козаки-и! Зубатка налетела, щоб ее... э-эй!..

— Чуем, батько!

Калужный ехал с поля на чужой лошади. Слуги в тачанку подбирали в поле убоину.

По зеленому синели кафтаны вслед красному на вороном коне.

У ворот атаманского дома охотники, соскочив с коней, поворачивали их глазами в город, кричали:

— Го, гоп!

Лошади, фыркая, пыля копытами белый песок, шли без седоков по своим станицам. Атаман на крыльце, закурив трубку, оглянулся.

— В светлицу, атаманы, козаки, съедим, что жинка справила...

На длинных столах, крытых сарпатом [1]) с выбойкой, высокая с худощавым, строгим лицом жена атамана сама укладывала ножи, расставляла чаши и поставцы с яндовыми.

Смотрела на каждую вещь долго, словно запоминая ее, слуги приносили водку и кушанья.

Кутаясь в женский кунтуш с золотым усом на перехвате, атаманша хмуро оглянулась на мужа. Корней, шагнув к столу, ткнул широкой рукой с короткими пальцами в скатерть.

— Не беден атаман, чтобы в его доме сарпатом столы крыли!

— Не камкосинную ли [2]) прикажешь скатерть? Зальете, бражники, а люльки высыпете — сожжете...

— У, скупая жинка, — седатая! — пошутил атаман, пряча глаза от жены.

Женщина дернула плечом, проговорила торопливо, слыша шумные шаги и голоса гостей.

— Бисов дид! З молодыми кохался?..

Гости входя кланялись хозяйке. Атаман, упрямо тряхнув головой, забрасывая привычно седую косу на плечо, крикнул:

— Садись, матерые козаки и все гулебщики!

Высокая женщина, не отвечая на поклоны, степенно прошлась по светлице, приказала мимоходом слуге зажечь поставленные в ряд на дубовой полке свечи — ушла. Атаман, не садясь, проводил глазами жену, подошел к двери, крикнул в сени:

— Хлопцы караульные, кличьте в мою хату молодняк песни играть, й бандуриста и дудошников.

— Чуем, батько!

Корней раздвинул одну из киндячных с узорами занавеску окна, в окне лежал раскрытый букварь с крупными буквами, разрисованными

---

[1]) Миткаль с выбойкой цветной.

[2]) Камка — шелк с бумагой.

красным сиянием «Буки — бог, божество», атаман сбросил на пол букварь, проворчал:

— Глупо рожоно, не научишь! — и пнул книгу.

Пыльная, дышашая теплом, пропахшая потом и дегтем, кланяясь атаману, пролезала за ковер на двери в другую половину молодежь.

— Гости, пей, гуляй, я ж дивчат погляжу...

Проходили девки — иные в желтых длиннополых свитах, иные в плахтах, в белых мелкотравчатых рубашках, волосы заплетены у всех в косу, снизу перевязаны лентами, у иных на концах кос были кисти, а то и банты. У которой из девок в волосах сзади повыше косы торчал цветок, атаман протягивал к той девке руку, гладил по голове, брал цветок, нюхал.

— Э-эх, купалой пахнет. А, купався Иван, тай в воду упав...

Пропустив всех девок и сунув собранные из волос девичьих цветы за кушак, атаман сел на скамью за стол. Гости, не дожидаясь хозяина, пили и ели; атаман, подымая ковш с вином, крикнул:

— Пьем, атаманы молодцы, за малую гульбу, что нынче в поле была,— кабан убит доброй!.. Конь запорот, да о коне козаку не слезы лить.

Смуглый пасынок атамана подвинулся на скамье к вотчиму, чокаясь.

— Ништо, батько, сыщу коня... бувай здоров!

— Ладно, парень, не ищи, дам такого... а теперь, атаманы молодцы, пьем за государя царя Московского!

— Пьем, батько Корней!

— Отозвоним чашами за то, что крепка рука у Московии, что она и в Сибирь дикую лезет и татарву согнула, а еще, браты, кличьте на пир письменного.

— Он тут, батько, ждет зова, песий брат, чарку любит.

— Гей, писарь!

Вошел в длиннополом синем кафтане писарь, поклонился казакам, ему дали место на скамье в конце стола.

— Пей, письменный! — крикнул атаман, подымая ковш, — на гульбе нашей не был, и гулебщина тебе несподручна, а попьешь поешь, нам сгодишься.

Писарь встал и поклонился кругу...

— Завсегда готов служить!

— И лить чернило замест крови?

— Перво, атаманы молодцы, покудова не упились, займемся делом.

— Батько, дело преже всего.

— То ладно, Кусей! А где Бизюк, не вижу козака.

— Бизюк упился, батько, ото дремлет...

— Эх, лихой был козак, а стар стал, мало хмелю несет, и вот дело мое к вам какое, атаманы молодцы: ведомо всем вам, матерые низовики, что ближний наш козак Стенько Разин чинит?

— Ворует на Волге!

— То оно! От его промысла все мы должны ждать не малых гроз йску... а своровав противу Москвы, хрестник мой домой оборотит.

Калужный крикнул, подымая свой ковш:

— Кто, батько, ворует противу великого государя, тому козаку ла не бывать!

— Где бы ни был мой хрестник, атаманы молодцы, а ведомо мне — ротит на Дон.

— Пущай оборотит, — закуем его и Москве дадим!

— Не забегай, Родион, — оборвал атаман пасынка, — додумаем все есте... Помнить надо, что державцы на Дону с голудьбой злы и утесни-льны... Голудьба же глядит к тому, кто ей люб, и голудьбы в трижды ьше матерых...

— А ведомо ли батьку, — вставил свое слово заслуженный казак маренин, — что Мишка Волоцкой да Серебряков вербуют людей итти Стеньке?

— Неведомо, — было бы козак, то Мишка и волк Серебряков Ванька ами зверя ловили и на пиру моем сидели бы.

— О, то придет Стенько, то думно мне не взяться нам за него, адно будет, если он за нас не примется...

— То и я думаю, Михайло, не можно взяться и беречься Стеньки адобитца, — ответил Самаренину атаман, — но Москву озлить не кно... Сговорно Москва дает Дону хлеб, справ боевой... служилых цей у Москвы довольно; — ежели озлясь закроет Москва пути на Дон говому люду, Дон оголодает...

— То ты знаешь лучше нас!

— Стенько пошел на Волгу. Волга часть утробы московской: — по торг с Кизылбашем и в терские города да в Астрахань, не попусту чин в Москву послов шлет и волжский путь покупает, свейцы, фрязи е потому ж в Москву тянутся, из-за пути в Кизылбаши учинится Волге Стенько сильным, Москва нам то в укор зачтет и измену с нас цет...

— Думай, как лучше, батько Корней, мы тебе во всем сдаемся!

— А думаю я нынче же снять хоть малую часть вины нашей — отписку царицынскому воеводе!

— Во, вот!

— Гей, писарь, пиши.

— Прямо пиши в Царицын!

— А бумага у его?

— Атаманы, козаки, не шукать бумагу, — весь справ с собой.

Кое-кто вылез из-за стола, сняли с полки свечи,— поставили, опро-и место, обступили писаря плотно. Корней атаман, сверкая золотой овиной [1]) на большом пальце правой руки, заговорил:

— «В 174 году в мае 5 дне царицынскому воеводе и боярину Андрею овскому великое войско донское и их атаман Корнило Яковлев дово-

[1]) Жуковина — перстень с печатью.

дит: жили мы с азовскими людьми в миру, и тот мир хотел рушить, наш войсковой козак Стенька Разин с товарыщи, — удумал итти на море с боем, да по нашей отписке он с моря воротился, ничего не чинил азовцам, а прогребли Стенько с товарыщи мимо Черкаского вверх по Дону. Мы, атаман и войско, посылали за ними погоньщиков, да их не сошли...»

— Так, батько!

— Дуже!

«И ведомо нам нынче учинилось, что Стенька Разин пошел воровать на Волгу реку...»

— Во, вот! Пошел...

— «И еще до ухода на азовских людей, сказывал мне, атаману, тайно, что де моего Стенькина отца извели бояры и на моих-де глазах, когда я был есаулом в Зимовой станице с атаманом Наумом Васильевым, на Москве же в разбойном приказе засекли брата Ивана. Про умысел свой воровской на Волгу и на море он, Стенька, мне, атаману, таил — не говаривал!»

— Дуже укладно!

— Так, батько!

— Все ли ладно у писаря?

— До слова исписал, батько!

— Гей, все ли согласны с грамотой?

— Дуже, дуже!

— Тогда завтре припечатаем и гонца к Унковскому. И еще, козаки, слово к вам есть.

— Сказывай, батько!

— Козаки, атаманы! Я, Корней, черкес, приказую вам снять с церковного строения, что от Москвы делается — плотников и землекопов и чтоб они нам служили, харч едят наш... церковь пождет, встарину мы и часовнями веру справляли — ни што... снять, сказываю я, плотников и землекопов, указать им крепить Черкаск... все видали вы, что частокол городской снизился, а башни и роскаты избочились. Надобе поднять вал укрепить тын, выкопать новые рвы — все то на случай ратного приходу от кого бы он ни был — будет от своих, да и от азовских людей и орды, береженье не лишне... вода круговая иссыхает в жару, подступы к городу легки, острогов не возведено...

— Так, батько!

— Давно то справить надобно!

— Так... на-днях поднимем город!

— Поднимем, батько!

— А теперь же скажу. Пейте, ешьте сколь душа примет, мало вина, еще дадут; да вот: ни чаш, ни яндовых не прячьте по себе, — жинка у меня скупая, иной раз наше зубополосканье в дому не пустит...

— Чуем, не схатим, батько!

— Веселитесь без меня, а я... ото бисовы дити жартуют.

Атаман грузно вылез из-за стола, стуча каблуком и подошвой. ыша музыку за стеной, припевал:

А татарин братец татарин,
Продав сестрицу за талер,
Русую косочку за шестак,
А биле личенько пишло и так!

Ушел в другую половину светлицы.

Словно в зеркале, в котором отразилось все небо... в зеркале, приепленном лишь по ночам золотыми гвоздями рыбацких огней и тогда, ·да загорятся огни, вспоминаются невидимые берега — то на разливе лги реки и Иловли, бесконечно раскинувших свое водное поле... через ı поле, светлой ночью даже луна бессильна от берега до другого перечуть дорогу, засыпанную трепетно-мелким серебром сияния. На этом ıе люди кажутся серыми днем, черными ночью пятнами, а далекий бес деревянным городком, окруженный гнилым бревенчатым тыном, ‹осыми башенками, отрезанный водой и небом, похож на игрушку, рую, давно заброшенную, и город тот зовется Паншиным. На самой ıекой ширине разлива — бугор, мало заметный днем. По ночам бугор тится огнями... Иногда оттуда стукнет выстрел, предупреждая рыбаı, чтоб не подплывали к бугру, где, обходя ряд боевых челнов, опутанк по бокам камышом, ходит казацкий дозор.

Человек не заметен здесь, лишь голос его значителен и звонок. ждую ночь на бугре слышится окрик дозора:

— Не-е-ча-й!..

То пароль вольного Дона, пароль гулебщиков — охотников. Пошло слово от имени запорожца батьки Нечая.

Атаман голудьбы не раз, не два громил на морях кизылбашские ы, имал ясырь тезиков и турок.

Богатыря Нечая с товарищи не единожды видал под своими мраıными стенами Константинополь. Пожары турецких селений на широкое странство зыряли в море, выделяя на воде черные челны и лица козав рыжих запорожских шапках.

В Паншин часто стали наезжать посланные от воевод царицынского страханского. Бугор на разливе Волги — бельмо в глазу властной, эебистой Москве и воеводам.

Иногда на заре утром паншинцы слышат громовой голос:

— Гей, Паншин город, московских лазутчиков гони, да не держи козаков, кои идут ко мне с донских городов — бой-ся-а!

Эхо гудит по воде:

— О-о-й-ся-а.

Каждый в Паншине слышит страшный голос.

Молчат в ответ паншинцы. Когда же приезжают к ним от воево послы, то говорят паншинцы:

— Челны дадим... поезжайте! голову, должно, переставить надо. У нас она на месте, мы не едем на бугор...

Дальше Паншина лазутчики воевод не едут.

С воеводской печатью, на узком склеенном из полос листе, воеводы пишут в Москву царю:

«Умысла де воровских козаков не дознались мы, но живем денн и нощно с великим бережением... Наших людей паншинцы не перевозят а Стенько Разин с товарищи стоит под Паншиным на буграх Волги-реки и не чинит грабежей — смирен».

Пригнали на конях в Паншин выборные с Дона, от войсковой стар шины — атаман и два есаула, усатые с чубами, в малиновых жупанах

Паншин зашевелился — ходил глашатай, старый хромой казак стучал палкой по подоконью. Собрались паншинцы — ответили:

— Без припасов огняных и людей донских мы не едем, пущай войско донское пришлет челны с козаками, тогда и мы идем с вами... и учинить то, что нам сказали: «чтоб Стенька Разин под Царицын и иные государевы городы не ходил» — сами мы немочны...

Донские выборные грозили паншинцам:

— Доведем царю, что и вы с воровскими козаками заедино! — уехали на Дон и о них слухов не было...

Иногда сотнями, а и больше с верхнего Дона в Паншин сходилась голудьба.

— Паншин, челны давай — к батьку Степану едем!

Паншинцы не отвечали сразу, посылали своего человека по городу выслушать и высмотреть настрого — нет ли в городе чужих? узнав, что нет никого от воевод, сажали в челны голудьбу, перевозили на бугор и тут же, не выходя на берег, торговали: водкой, хлебом, харчем и порохом

Дозору, окликающему с бугра, многими голосами отвечали:

— Не-е-чай едет!

Далеко по Волжским островам, буграм, слышен скрип весел в уключинах.

То заунывная песня гребцов, заглушаемая бранью начальников Когда под брань и хлесткие удары плети затихала песня, то по воде неслось гнусавое, монастырское пение...

В белесом прохладном тумане за широкими низинами начиналась заря.

На бугре от челнов дозорный козак шагнул к палатке атамана.

Разин сидел в черном бархатном кафтане, золотом отливал желтый зипун под кафтаном — сидел атаман на обрубке дерева, грел над углями большие руки.

— Караван, батько!

— Давно чую... багры, фальконеты и люди — готовы ли?

— Справны все!

— Сдай дозор маломочным и к веслам!

От стрелецких кафтанов Лопухина приказа [1])—голубела вода, даль-голубого, растекаясь серебром, прыгали отражения бердышей. В голове равана торопливо, скрипя уключинами, шел царский струг — паруса ернуты. Ветра не было. За царским стругом, колыхая в волнах черные гна, тянулся струг патриарший — на его палубе гнусавые голоса все ственнее выпевали «Благоверному государю и великому князю всея си»... над головами монахов на мачте тихо покачивался флаг с образом укотворного: по золоту черный лик.

Гребцы вновь запели:

Гей, приди удалой!
Мы поклон учиним,
Воевод укроти-и-м!

Голоса гребцов скрыли голоса монахов, а покрывая все голоса — -то басил:

— Ма-а-ть! пере-ка-ти поле-е... в Астра-хани ужо, своло-о-чь ко-ная!

За стругами тянулся ряд серых низкопалубных судов. На ладье южней к стругам один визгливо всхлипывающим голосом молился ух звонко:

— Го-о-споди-и! пронеси-и, пронеси-и...

Другой торопил гребцов:

— На-тдай, робята! не порвись от государевых!

Еще голос твердил одно и то же:

— Водкой ужо-о! водкой, не отставай от колодников делом...

Как будто Волга раскрыла утробу, и со дна ее раздался голос, заглу-шший на миг пенье гребцов, ругань, мольбу и молитвы:

— Гей, сарынь, на взле-ет!

И тут же щелкнул выстрел из фальконета, другой, третий и свист гий, пронзительный. Сотни весел сверкнули. Басистый голос с перед-) струга надрывно гудел:

— По-о-што-о! мы госуда-а-ревы-ы... по-ошто?

— Нечай!

— Не-е-чай!

— Кру-у-ши-и!

— Сарынь, сбивай со стругов — ладьи — топи!

Стук багров и топоров. Тысячи отзвуков вторили короткому бою — 1 торопливо делали светлые шлепки по воде к низким берегам, а над ищем деревянным стуком, стуча, кружилась крупная, черная птица — кру! кру-кру! Стреляя и хватаясь за топоры, отбиваясь и нападая, и перестали молиться, плакать, а стук топоров низко над самой водой лся все слышнее — ладьи одна за другой глотала Волга.

[1]) Лопухина стрельцы: голубые кафтаны.

— Стрельцы!

— Эй, ра-а-туйте!

На царском струге лязг железа, выстрел и крик.

— Стрельцы, в ответ станете.

— Сторонись, пузатой чорт!

Голубея кафтанами, перебегая, стрельцы разбивали колодки и цепи гребцов.

— Что чините? э, — стрельцы!

— Васька, заткни ему горло.

Удар топора, и шлепнуло тело в воду в боярском кафтане...

— Я б твою всю родню! на Москве издевался, чорт...

— Что ты, что ты?—когда служилой? ой, не тронь!

Вставало солнце. С низин потянуло над Волгой запахом травы и соли...

На носу царского струга сорван флаг с образом казанской, вместо его висит широкое полотно «печать круга донского» — голый казак в одних штанах верхом на бочке, в правой руке сабля, в левой трубка. а на бочке перед ним чаша с вином...

На носу царского струга бочка с водкой, закиданная боярскими кафтанами, на бочке сидит, выдернув саблю, Разин. Казаки подводят стрелецких начальников.

— Того вешай! секи того... вешай, — за ноги!

Мачты струга становились пестрыми от боярских котыг и цветных кафтанов стрелецких голов. Разин видит: волокут кого-то, звенит в ушах режущий крик, подведенный ползет к ногам атамана.

— Батюшка, мы холопи подневольные.

— Батюшка, не губи-и!

— Гей, кто вы?

— Вековечные должники купцу.

— Приказчики — богача Шорина!

— Спущу для ябеды царю?

— Батюшко, на пытке уст не разомкнем.

— Вот-те пресвятая, ей богу!

— Спусти их, козаки, — пущай утекают!

— Вот-тя бог храни-и!

Широко крестятся и дрожа лезут с борта вниз.

— А, вот, батько, голодраной народ—ярыжки!

— Пихай в лодку!

— Да, вишь, иные с нами итти ладят?

— Кто с нами — бери!

На подтянутом плотно к царскому стругу другом, патриаршем еще не умолк бой и шум. Ругань, стоны и крики:

— Чего глядишь? из пищали-и!

Среди красных шапок мелькали черные колпаки, сверкали топоры, выше всех голов голова с длинными волосами, и голос трубит:

— Не гнись, братие-е! яко да ослябя инок поидоша на враги-и...

Взметнулся черный кафтан, сверкнул на солнце желтый атласный пун — Разин шагнул на патриарший струг, перед ним расступились ои.

— Дьявол!

Мелькнула сабля, повисла от удара сабли рука высокого монаха топором.

— Чорт! не пил с Волги?

За бортом плеснула вода, монаха сбросили.

— Закрутилси-и... удал был!

— Батько! воно еще сатана твоего суда ждет: «Знает меня атаман, щай сам» —так и сказал, не смели без тебя...

— А, ну—ведите!

К атаману толкнули боярского сына в алой котыге, лицо густо росло курчавой черной бородой, длинные кудри спутались, закрывали аза.

Разин нахмурился, рука пала на саблю.

— Старое приятство—сатана! в Москве у бани с бабой?..

— Тот я... секи, твой.

— Эй, дайте ему попа, коли какой жив!

— Попа мне не надо, атаман! хоша я патриарший, да к чорту...

— Открутите с него веревки!

— Эх, руки-ноги на слободе — дайте шапку, голоушным неохота мерсть!

— Забыл я твое имя, парень.

— Еще раз скажу тебе, атаман, — зовусь Лазунка-жидовин!

Боярский сын расправил левой рукой курчавую бороду, из правой кла кровь.

Разин глядел сурово, опустил голову — будто силясь что-то вспоить, вздохнул, ткнул концом сабли в палубу, залитую кровью.

— Дайте ему шапку! — Разин поднял голову, лицо его повеселело, гда на боярского сына нахлобучили монашеский колпак, он шагнул еред и выдернул саблю...

— Гей, козаки! как бился он сильно?

— Сатана он, батько! бьет из пистоля не целясь и цельно, будто к надо...

Подвернулся еще казак:

— Много он наших в Волгу ссадил — хотели первым вздыбить, сказался, вишь, что к тебе, батько!

— За удаль в бою не судят! на то бой... — Разин поднял саблю, боярий сын глядел смело в глаза атаману, подался грудью вперед.

— Шапка ладаном пахнет... чужая монашья... секи, атаман.

Разин засмеялся, опустил саблю, спросил:

— Как ты служил боярам?
— Служу, не кривлю душой.
— Письменный ты?
— С детских годов обучен в монастыре, потому патриарший.
— Сатана ты! побежишь от меня или будешь служить мне?
— Чей хлеб ем, от того не бегу!
Разин вложил саблю.
— Живи, служи мне!
— И то спасибо!
— Гей, дайте ему руку окрутить, кровоточит!
— Раз, два! робята-а... заворачивай стру-у-ги-и!
Струги с песнями повернули к бугру. На палубе их голубели кафтаны приставших к казакам стрельцов.

Небо светлело, белесый туман осел в низины, по серебру простора плескало размашисто голубым, отсвечивало красным вслед челнам с гребцами, в запорожских шапках. Все гуще несло по воде запахами трав с широких лугов, где бродили кочующие стада кобылиц хищного Ногая... черные птицы с деревянным карканьем садились на мертвые тела, укачиваемые исстари разгульной Волгой...

(Продолжение следует).

Блэк энд уайт.

(Белые и черные).

Если
Гаванну
окинуть мигом,—
рай страна!
страна что надо!
Под пальмой
на ножке
стоят фламинго.
Цветет
колларио
по всей Ведадо [1]).
В Гаванне
все
разграничено четко.
У белых доллары,
у черных—нет.
Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
У «Энри Клей енд Бок, лимитейт» [2]).
Много
за жизнь
повымел Вилли—
одних пылинок
целый лес.
Поэтому
волос у Вилли
вылез,
поэтому
живот у Вилли
влез.

---

[1]) Богатый квартал Гаванны.
[2]) Табачника Гаванны.

Мал его радостей тусклый спектор —
шесть часов поспать на боку,
да разве что
вор
портовой инспектор
кинет
негру
цент на бегу.
От этой грязи скроешься разве?
Разве что
стали б
ходить на голове,
И то
намели бы
больше грязи —
волосьев тыщи,
а ног —
две.
Рядом
шла
нарядная Прадо [1]),
То звякнет,
то вспыхнет
трехверстный джаз.
Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаванне как раз.
В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало всходов,
мало посева.
Одно
единственное
вызубрил Вилли
тверже
чем камень
памятника Масео:
«Белый
ест
ананас спелый.
Черный
гнилью моченый.

---

[1]) Главная улица Гаванны.

Белую работу
делает белый.
Черную работу—
черный».
Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был
закорюка из закорюк.
И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,
щетка
падала
из Виллиных рук.
И надо же случиться,
чтоб как раз тогда
к королю сигарному
Энри Клей
пришел
белей чем облаков стада
величественнейший из сахарных королей.
Негр
подходит
к туше дебелой.
—«Ай бэг ёр пардон, мистер Брэг! [1])
«Почему и сахар
белый-белый
«должен делать черный негр?
«Черная сигара
не идет в усах вам.
«Она для негра
с черными усами.
«А если вы
любите
кофий с сахаром,
«то сахар
пожалуйста
делайте сами».
Такой вопрос
не проходит даром.
Король
из белого
становится желт.

[1]) Простите! — по-американски.

Вывернулся
король
сообразно с ударом,—
выбросил обе перчатки
и ушел.
Цвели
кругом
чудеса ботаники.
Бананы
сплетали
сплошной кров.
Вытер
негр
о белые подштаники
руку
с под носа утершую кровь.
Негр
посопел подбитым носом.
Поднял щетку,
держась за скулу...
Откуда знать ему,
что с таким вопросом
Надо обращаться
в Коминтерн,
в Москву.

5/VI Гаванна.

В. Маяковский.

* * * [1].

Снежная замять крутит бойко,
По полю мчится чужая тройка.
Мчится на тройке чужая младость.
Где мое счастье? Где моя радость?
Все укатилось под вихрем бойким
Вот на такой же бешеной тройке.

Сергей Есенин.

[1]) Помещаемые два стихотворения — неотделанные наброски поэта.

* * *

Плачет мятель, как цыганская скрипка,
Милая девушка, злая улыбка,
Я ль не робею от синего взгляда?
Много мне нужно и много не надо.

Так мы далеки и так не схожи —
Ты молодая, а я все прожил.
Юношам счастье, а мне лишь память,
Снежною ночью в лихую замять.

Я не заласкан — буря мне скрипка.
Сердце мятелит твоя улыбка.

Сергей Есенин.

* * *

Мы отошли с путей природы
И потеряли вехи звезд...
Они ж плывут из года в годы
И не меняют мест...

Теперь летаем мы, как птицы,
Приделав крылья у телег,
И зверь взглянуть туда боится,
Где реет человек.

Леса целуют наши ступни,
Со страхом обползает гад,
И ничего уж нет преступней,
Чем наш безумный взгляд...

И пусть нам с каждым днем послушней
Вода и воздух и огонь,
Пусть ржет на привязи в конюшне
Ильи громовый конь.

Пускай земные брони-горы
Покорно плавятся в печи.
Куем мы крепкие запоры,
А нам нужны ключи.

Закинут крепко синий полог,
И мы, мешая явь и бред,
Следим в видениях тяжелых
Одни хвосты комет.

Сергей Клычков.

* * *

Не кровь моя — а скифская руда,
Чернея, хлынет в теплые ковыли,
Когда, скосив змеиный глаз, звезда
Ременный щит мне на груди распилит.
В зрачках коня — до карих сердцевин
Татарский меч оскалом отразится,
И ночь—тысячелетьями былин—
В последний раз сомкнет мои ресницы.
Мне плоть твою расплавить не дано
За эту жизнь, смиренную в разгоне,
Но ты придешь пить поздних слез вино
И к жарким ранам приложить ладони.
Тебе назначит вековечный страх
Хранить суровость вдовьего удела,
Когда на утро синий дым костра
Вернет земле окованное тело...

Сергей Герзон.

Письмо любимой.

Ты, моя любимая, далече.
И не знаешь, что вот в этот час
Еле слышно крадущийся вечер,
Может быть, разлучит нас...

Я тебя не вижу, дорогая,
Сквозь его кочующую тьму...
Вместе с вечером пришла—другая.
Как? Зачем? И сам я не пойму.

Очень много странного на свете.
По-иному нынче цвел закат,
Оттого, что я тепло ответил
На ее случайный взгляд.

Укрывать едва ли хватит силы,
Что случайно, может, не любя,
В этот вечер называл я милой,
Называл любимой
Не тебя...

И в часы, когда на сердце раной
У тебя сомненья поднялись,—
Мне такой большой и многогранной
Почему-то показалась жизнь!..

Захотелось сердцем крикнуть громко:
Никакие вожжи не нужны!..
Наша жизнь, ведь, началась в потемках,
А теперь
Мы ей ослеплены!

Не она ль веселой светлорусой
Девушкой приходит ласки лить?..
Нам безусым минуса от плюса
Иногда
Никак не отличить.

Кружит голову лихое зелье
И пьянит, наверно потому,
Что справляем наше новоселье
В недостроенном еще дому!..

Я и сам не рад, что этой ночью
Сердце с мыслями пошло вразлад...
Ты теперь вини меня, как хочешь,
Только я
Ни в чем не виноват...

Александр Жаров

Рабфаковке.

Барабана тугой удар
Будит утренние туманы—
Это скачет Жанна д'Арк
К осажденному Орлеану.

Двух бокалов влюбленный звон
Тушит музыка менуэта—
Это празднует Трианон
День Марии Антуанетты.

В двадцать пять небольших свечей
Электрическая лампадка...
Ты склонилась, сестры родней,
Над исписанной тетрадкой.

Громкий колокол с гулом труб
Начинают святое дело,
Жанна д'Арк отдает костру
Молодое тугое тело.

Палача не охватит дрожь:
Кровь людей не меняет цвета,
Гильотины веселый нож
Ищет шею Антуанетты...

Ночь за звезды ушла. А ты
Не устала. Под переплетом
Так покорно легли листы
Завоеванного зачета.

Ляг, укройся, и сон придет,
Не томися минуты лишней.
Видишь: звезды, сойдя с высот,
По домам разошлись неслышно.

Ветер форточку отворил,
Не задев остального зданья,—
Он хотел разглядеть твои
Подошедшие воспоминанья.

Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.

Так же колокол ровно бил,
Затихая у барабана.
В каждом братстве больших могил
Похоронена наша Жанна...

Мягким голосом сон зовет,
Ты откликнулась, ты уснула.
Платье серенькое твое
Неподвижно на спинке стула.

М. Светлов.

Дело было в Испании [1]).

(По записной книжке).

Л. Троцкий.

На юг.

Итак, едем из Мадрида в Кадикс, путевые издержки за счет испанского юля. На вокзале нас провожало изрядное количество полицейских в штатм. Кадикс? Это где-то на крайнем юго-западе Пиренейского полуострова, орый сам есть крайний юго-запад Европы. До сих пор путешествие в сововождении ангелов-хранителей приходилось совершать только на крайнем эро-востоке. Высылка под гласный надзор полиции в уездный город цикс. Не Киренск, а Кадикс... Это не на Лене, а по ту сторону Гваквивира.

Из Сан-Себастьяно — в Мадрид, из Мадрида — в Кадикс, это значит есечь с севера на юг всю толщу полуострова.

На двух скамьях третьего класса нас трое: я и мои спутники. Впро-, к нам иногда подсаживаются более любознательные пассажиры. Мои тники этому не препятствуют. Наоборот, охотно об'ясняют, что я не ьшивомонетчик, а «пацифиста» (pacifista). Такая рекомендация вызыг в большинстве случаев разочарование. От одного из спутников, более оворчивого и вообще, как оказывается, крайне независимого, я узнаю опытные подробности. Как, собственно говоря, до меня добрались? Очень сто: по телеграмме из Парижа. Мадридская дирекция получила от паской префектуры телеграмму: «Опасный анархист имярек переехал ицу у Сан-Себастьяно. Хочет поселиться в Мадриде». Так что меня ли, искали и были обеспокоены, не находя в течение целой недели.

Один из сопровождающих меня шпиков был на мадридских скачках іметил меня. Почему? «Всех других, кто посещает скачки, я знаю, а вас знал и отметил себе». Вот по этой нити и нашли.

— Вы были с французом, — говорит он, после некоторой паузы.

— С французом? — удивляюсь я.

— О, да, я его заметил, — и галиго хитро щурит глаз.

[1]) Первый очерк был напечатан в «Красной Нови» за 1922 г., книга 7.

Тщетно было бы разубеждать его. Несуществующий «француз» уже не менее недели, как стал полицейской реальностью: он имеет свои приметы и на розыски его производятся расходы из государственного бюджета. Пусть существует!

— Французская полиция, — говорит знаток скачек, — хуже всех. Она часто нам посылает такие телеграммы. Один раз синдикалист-поляк приехал в Барселону, в сущности невинный человек. Сейчас телеграмма: «Опаснейший анархист». Я его провожал из Барселоны в Виго, и мы полностью сошлись в оценке французской полиции... Наши франкофилы? Из-за денег. Вы можете мне поверить. Все они получают от Англии и Франции. Конечно, испанцу трудно быть англофилом, даже за плату. Но франкофилом? — почему бы нет, раз хорошо платят. Англия поддерживает Португалию против нас и не хочет сильной Испании. Гибралтар! Гибралтар! Но и Франция хороша: она покушается на Каталонию. Если Германия победит, мы будем иметь Гибралтар. Если победит Франция, мы можем лишиться Барселоны. Я германофил по идее. А Романонес франкофил из-за денег, — так независимый полицейский агент аттестовал своего премьера.

Поразительно, с какой свободой мои шпики разговаривали обо мне с пассажирами, рекомендовали меня как «симпатичного» человека, которого оклеветала парижская полиция. О, эти французы, они точат зубы на Барселону! А этот господин за мир, — pacifista, pacifista. На эту тему шел общий разговор, в котором и я принимал посильное участие.

1 час 30 мин. ночи. По пути в Кадикс. Сейчас стоим в Альказар де Сан Хуан (см. Гид Жуан, стр. 306). Это Ла-Манча. Тут сейчас Тобозо, откуда родом Дульцинея. Совсем по соседству. Дульцинея остается подлинной реальностью, и от нее заимствует свою реальность Тобозо. Эта местность населена Сервантесом. Все названия звучат выразительно его милостью и живут особой жизнью только благодаря тому, что сошли со страниц «Дон-Кихота».

Однако, если подумать, выходит гнусно: французские полицейские «деликатно» провели меня через границу, почитатель Монтеня и Ренана спросил даже: c'est fait avec discretion? (незаметно сделано, неправда ли?), а одновременно та же полиция телеграфировала в Мадрид, что через Ирун-Сан-Себастиан проехал опасный русский анархист — имярек. Но, с другой стороны, почему им было не сделать так, как они сделали?

Степь, ноябрьским холодком тянет над ней, луна светит бесстрастно. По этим степям ездил Дон-Кихот Ламанчский с тазом цирюльника на голове. Санчо-Панса ковылял за ним на осле. Железной дороги не было, но степь была такой же и почти такие же харчевни давали приют рыцарю, который запоздал родиться.

Степь. Степь. Костер в степи, и на нем котел и у котла люди. Огоньки в степи, одинокие в прохладе и сумраке ноябрьской ночи.

Степь захолмилась. Вагон дремлет под стук колес. В Кадикс, так в Кадикс! Надо заснуть.

За ночь ландшафт совершенно изменился. Степь осталась позади. Мы иближаемся к Кордове. Оливковое дерево, пробковое. Юг! Вся местность олмится. Размеренные пересечения плоскостей придают окрестностям хактер спокойного разнообразия. Низенькие домики белого камня под репицею. Мавританские здания без крыш. Испанский юг!

Понедельник, 13-го. И в пути нет отбою от выигрышных билетов. ивительное место занимает лотерея в испанской общественной жизни. илеты в табачных и иных лавочках, в местах чистки сапог, на руках у гатчиков и газетчиц, даже у профессиональных нищих. О лотерее кричат всех перекрестках Мадрида, на всех станциях железных дорог. Кажется, о продают ее все, но никто не покупает.

Мысль работает в направлении сравнительного шпиковедения: испание провожатые и французские. У тех культура выше и, при всей разгоочивости, сильна профессиональная выдержка, есть вопросы, о которых и не выражают мнения или отделываются общими словами. У этих нет каких сдерживающих «принципов», даже профессиональных. Один — е знакомый инвалид испано-американской войны, без глаза, грубиян, но тиментальный, любит опрашивать о семье, гладит по голове уснувшего ньчика крестьянки. Очень обиделся, когда я, еще в Мадриде, сказал на ощанье хозяйке пансиона, что испанцы хороший народ, Мадрид — хоцая столица, но испанская полиция — плохая полиция. Он запротестовал: шие плохи, начальники, а мы — солдаты. Но и сам он способен на всякие зости. Он давил ладонями волошские орехи, точно клещами. И челоа задушил бы так же.

Второй, галиго (т. е. родом из Галиссии), специалист по скачкам и м быков, по виду опереточный баритон третьего разбора, с большими ными усами вверх, в котелке, болтун, обильно жестикулирует, щелкает ком, изображает губами, усами и руками всякие знаки, чтоб заставить ять себя... Капризен, жалуется попеременно на холод, жару, усталость, ь в пояснице. Швыряется афоризмами, подобранными на улице: Лондон — од промышленности, Берлин — город науки, Париж — город порока. Окааеться сторонником биологической теории общественного развития, кая нация переживает периоды юности, зрелости, старости и смерти. В этой рии — прибежище его патриотизма: она утешает его в падении Испании редрекает гибель ее векового врага — Великобритании. Галиго бесцерено отзывается о своем правительстве, и обо всей вообще международной итике, говорит не без меткости, но на языке базарного шулера. манофил.

Не спеша подвигаемся на юго-запад. После Линареса пересекли впер- Гвадалквивир. Здесь, в верховьях, это грязная узкая речонка, с болотногой водой, которая кажется неподвижной, по крайней мере до Кордовы. ога тянется дальше по реке. Движения воды больше, зеленые берега, ами раздваивается, чуть бурлит на поворотах, но в общем все же весьма аическая река, вроде Ингула Елизаветградского уезда. Солнце так благдно греет в прозрачной свежести ноябрьского полдня. Кактусы огром-

ные, безжизненные, точно безучастные к солнцу. Местами березы, высокие, без ветвей, с метлами наверху, акации, оливы, пробковое дерево.

Замок стариннейший на высокой скале, недавно обновленный и обитаемый «дуком» (герцогом).

Степь, юг, степь.

Наблюдаю в вагоне общительность испанцев, любезность, собственное достоинство, благодушие, но и неряшливость: плюют на пол, бросают под скамьи бумажки и окурки. Это не Германия, не Швейцария и даже не Франция... В вагоне крестьяне, рабочие, полицейские, мещане. Коричневый старик с белой бородой, в грязной шляпе, с ним сын. Бойкая и веселая женщина, как будто торговка, в центре внимания. Нет железнодорожных сцен из-за мест. На станциях нищие под окнами вагонов. Француз, старик 64 лет. Est-ce due nous serons victorieux? (победим ли мы?). Говорит по-испански, арабски и знает все немецкие ругательства, начиная со Schweinskopf (свиная голова) и выше. Дрался когда-то в Гарибальдийском отряде. Женат на испанке, едет к дочери. Сколь разнообразные люди бродят по земле!

Сопровождающие меня джентльмены непрерывно пристают ко мне, чтоб показать мне какую-либо достопримечательность или чтобы, в качестве достопримечательности, показать другим меня самого. Они трогают меня при этом за колено, за плечо, за рукав, решительно не давая покоя. Сперва я пытался было установить со шпиками отношения корректно-сухие, не позволяя им фамильярностей. Но из этого ничего не вышло. Надо либо ссориться, — а без знанья языка трудно даже, как следует, поссориться! — либо подчиниться неизбежному.

«Кордовес» — твердые шляпы этой провинции с широкими круглыми полями — очень эффектны. Пересекаем Андалузию, приближаемся к Севилье — здешние жители считаются самыми красивыми. На этом особенно настаивает галиго. На станциях он окликает незнакомых женщин, чтоб заставить их оглянуться. Andalusiana! — говорит он и сперва сосет кончики своих пальцев, потом развертывает их букетом. Этим он хочет показать, что андалузки заслуживают высшего внимания. Другой шпик утвердительно кивает головой. Попутные уроки пиренейского народоведения.

Понедельник, 4 часа пополудни. Еще четыре часа езды до Кадикса. Солнце палит, все страдают от жары, а по календарю — 13 ноября. Кактусы, крокусы, апельсиновые деревья, изредка пальмы, белые избушки, белые виллы — архитектура сел геометрическая, белые кубики без украшений. Более богатые здания с мавританскими башнями, белые стены со сквозными арками. Севилья. Quien no ha visto à Sevilla, no ha visto maravilla! (Кто не видел Севильи, — не видел чудес). А, это и есть Севилья! Вот поди ж ты. Знакомство с Испанией в принудительном порядке.

Шпики одолевают, — на всех станциях у них коллеги, много коллег, очень общительных, им неизменно показывают меня, они здороваются, спрашивают, подмигивают... Такое впечатление, точно весь мир, по крайней мере, Пиренейский полуостров населен шпиками.

5 час. 30 минут вечера. Полчаса тому назад показалось на горизонте ,тной полосой море и заволоклось. Снова степь, — по одну сторону ров- і и голая, как сухая ладонь, по другую — обрамленная вдали возвышенно- ıми Сиерра Марена. Солнце зашло, над остывающей степью летучие мыши. :тыми пятнами стада овец.

7 часов. Проехали Херес. По заходе солнца запад пылал в багровом ımени. Сейчас уже ночь. Звездное небо, не наше. Большая Медведица вниз ›лзла, один бок ее над самой землею.

В Кадиксе.

Темно. Созвездием фонарей вспыхивает Кадикс на время, поезд де- г поворот, город тонет во тьме. Вода и огни. Луч прожектора прорезает ю и исчезает...

На вокзале я троекратно взмахнул газетой — меня ждали два това- ща, согласно уговору в Мадриде с секретарем социалистической партии иано. Шпиков было несколько человек: они как бы представлялись мне. ци в отеле сдавали молодому Плацидо, которого рекомендовали социа- том. Никто не говорит ни на одном языке, кроме испанского. Тут же арищи, тут же шпики, все здороваются за руку, я в суматохе их друг друга не отличаю. Пошли скопом в губернское правление. Там назначили: тра в 9 часов утра представиться губернатору. Ну, что ж: иркутскому дставлялись (был такой случай) — представимся кадикскому. Пошли ужи- ь: я, два кадикских социалиста и младший шпик. Он сел с нами за стол, осил себе чашку кофе и настойчиво советовал, какую мне есть рыбу. ı этом об'яснил, что сам префект приказал ему обращаться со мной, как ›угом. Так и запишем.

Вторник. Утром со шпиком ходил на почту. После того посетили фекта. «Друг» оказался низкорослой сумрачной фигурой, южным флегма- ом, из тех, про кого трудно сказать: облобызает или укусит. При мне принесли набор воровских инструментов, только что отобранных. Он езно мне показал добычу, как бы свидетельствуя этим, что, по глубокому мнению, у меня с подобными инструментами не может быть ничего іего. Тем не менее, он об'явил мне, что я завтра же должен уезжать дну из американских республик. В какую именно? Я ответил, что на- ен ехать в Нью-Иорк. Префект как будто согласился, но, собственно эря, лишь в принципе, так как по его словам выходило, что я должен ть сейчас, inmediatamente, — а парохода в Нью-Иорк нет до 30-го. Как же ь? Посоветовавшись с губернатором (а, может быть, и не советуясь), фект заявил, что я завтра утром, в 8 час., буду отправлен в Гаванну, ı по счастливой случайности как раз завтра идет пароход.

— В Га-ван-ну?

— В Гаванну!

— Я добровольно не поеду.

— Мы вынуждены будем вас посадить в трюм.

В качестве переводчика при этом об'яснении служил толстый точно наливной немец, совсем лысый, несмотря на молодое лицо. Тот посоветовал мне sich mit den Realitäten abzufinden (т.-е. считаться с реальностями) и как-то при этом ко мне принюхивался (высланный из Франции «пацифист»!).

Я бегал со шпиком на телеграф по улицам очаровательного города мало замечая их — и давал телеграммы «урхенте» (срочно) Депрэ, Аугиано, директору охраны, министру внутренних дел, гр. Романонесу, либеральным и республиканским газетам, мобилизуя все доводы, какие можно вместить в пределы трехфранковой депеши. Потом рассылал во все концы открытки «Представьте себе, дорогой друг, — писал я Серрати, — что вы находитесь сейчас в Твери под надзором русской полиции, и что вас намерены выслать в Токио, — куда вы совершенно не собирались, — таково приблизительно сейчас мое положение в Кадиксе, накануне отправки в Гаванну». Потом мчался со шпиками к префекту. Потом опять на телеграф. И опять к префекту. Тот, в свою очередь, телеграфировал в Мадрид, что я предпочитаю оставаться в кадикской тюрьме до нью-иоркского парохода, чем отправляться в Гаванну. Теперь жду ответа, прогуливаясь со шпиком по улицам Кадикса, по набережной, по парку, по аллее пальм. Надо бы все-таки где-нибудь почитать, что это такое — Гаванна?

Среда, числа как-то растерял. В 6 час. утра — еще совсем темно было — бурно постучались в дверь. Приподняв голову, спрашиваю, кто там? Оказывается шпик, что-то бормочет по-испански. Неужели уже за мной пришли? Я стал протестовать на языке, который тут же спросонок создавал. За дверью смолкло. Сообразил, это шпики сменялись и при смене хотели удостовериться, что я не сбежал; дверь была заперта изнутри.

Сегодня решающее утро. Жду решения и принудительно знакомлюсь с Кадиксом. В магазине мне сдали с 50 франков серебром: здесь вообще в ходу много серебра. Я сгреб в кошелек 8 пятифранковых монет, но одна выскользнула на пол, — о, удивление! — почти без звука, точно деревянная. Оказалось, фальшивая. Проверив остальные, нашел еще одну такую же. С благодарностью вспомнил о мудром гиде Жуан, который на первых же страницах повествования об Испании рекомендует испытывать каждую серебряную монету на звук.

Лаллеман сообщил мне около 10 час., что я не поеду с этим пароходом, так как списки все закончены, и я не внесен в них. Сейчас уже 11 час. — за мною никто не приходил, — стало-быть, верно?

Какая погода! Солнце жжет, а воздух осенний прохладен, как освежающий напиток, небеса голубы. После напряжения вчерашнего дня — апатия. Почти жалею, что не уехал утром... По крайней мере, была бы определенность.

У префекта. Сообщает с наигранной улыбкой, что пароход тем временем ушел, и он ничего не мог со мной сделать, ибо не имел «инструкции». Намекает на то, что обошел начальство, чтоб оказать мне услугу. Но по-

акой, собственно, причине? Гм... Этому флегматичному на вид испанцу е следует класть в рот палец... Не пересолил ли он сперва со своим убернатором, а потом не выдал ли за великое одолжение то, на что я имел раво с самого начала? Или... или: не хочет ли он взятки? Значит, останусь 30-го? Или уловка?

Оказалось: не ушел пароход из-за тумана, por la niebla. А что, если ем временем придет инструкция? И туман против меня. Телеграфировать ольше некуда. Остается ждать вестей... Поистине все в тумане.

По книжным магазинам Кадикса в сопровождении шпика и префекта. ауки вряд ли процветают в этом историческом городе. Хотел купить карту тлантического океана, англо-французский и испано-немецкий словарь. ью-Иорк? Гаванна? Во всех книжных магазинах престарые старики. Сперва ни недовольны, что их потревожили, потом входят во вкус, начинают ереворачивать свои богатства — медленно, спокойно, тщательно устанавивая каждую книгу обратно. В конце концов, не находят того, о мне нужно, за исключением разве полинявшей морской карты 346 года. Зато шпик обращает мое внимание на испанскую книгу твердости воли, — такой труд, по его мнению, заслуживает моего имания. — Философия! — говорит он несколько раз и поднимает ерх руку бездельника.

Туман благополучно разошелся, и пароход ушел по назначению.

В три часа шпик отлучился на обед, спросив у меня, так сказать, азрешения.

Стало быть, придется задержаться на кадикском этапе.

Когда я ужинал, шпик сидел возле меня, вроде гувернера (мы вдвоем ним в ресторане, — больше никого), предлагал мне то или иное блюдо, юпал в ладоши, чтобы позвать гарсона.

Когда я ходил к страховому агенту Лаллеману, обиспанившемуся ранцузу, через которого шла связь с Депрэ в Мадриде, шпик входил в дом мною, совершенно так, как будто это в порядке вещей. Он вмешивается беседу, когда хозяин отеля, оскорбленный испанский патриот, заявляет, о правительство никуда не годится.

— Правильно, не годится, — подтверждает шпик.

Нужно вообще сказать, что самый оппозиционный элемент в Испаи — это полицейские, тюремщики и шпики.

— По вине бездарных правительств, — продолжает республиканец, — нас отняли Бельгию (когда еще это было!), нас отовсюду оттерли и свели положение третьестепенной державы. Почему? Потому что уже три олетия мы находимся под правительством, которое никуда не годится. Нам жна республика!

С этим шпик не согласен: он за власть Мауры.

Трудно себе представить шелопая более глупого и дрянного, чем этот б'ект. Он плохо читает по-испански, говорит невнятно, курит, плюется сторонам, ржет на всех проходящих девиц, подмигивает, машет руками не дает мне покоя. Его внешний вид: рыжая «тройка», крахмальный во-

ротник с отгибами у кадыка, булавка с лошадиной головой, брелоки н жилетке и огромные руки шелопая, зря висящие из рукавов. Он не следуе за мной, как полагалось бы уважающему себя шпику, и даже не идет рядом а норовит всегда ввинтиться в меня или, по крайней мере, прилипнуть к моем рукаву — из дружбы, не из профессионального рвения, а из дружбы. Эт невыносимо. Когда проходит солдат, он обращает мое внимание: El soldado. Когда собака останавливается у фонаря, он говорит: El perro, и дергает мен за рукав. Встречая по утрам, он неизменно спрашивает: Cómo ha dormido Usted? (Как спали?). Чтоб было понятно, он плотно напирает на меня. Не прерывно курит крепчайший табак и непрерывно плюется. Adònde qu Usted deseare? (Куда вам угодно?) — спрашивает он меня на каждом пере крестке. Когда я пью кофе или пиво, я вынужден угощать его. Он указывае гарсону, сколько налить мне молока и сколько кофе, хотя я никогда н об'яснял ему своих на этот счет вкусов. Чтоб развлечь меня, он сообщае мне, что Поинкâре (так он произносит) состоит президентом французско республики. Я не возражаю. Он спрашивает моего мнения о царе. Я укло няюсь. Он переходит на испанскую политику и говорит, что Маура (извест ный мракобес, идол полиции) — hombre de la ĉiencia en-cy-clo-pe-dis-ta (че ловек науки, эн-ци-кло-пе-дист). Последнее слово он выговаривает в тр приема, с сопеньем, точно открывает тугие ворота. Чтоб исправить впеча тление, он пытается быстро повторить коварное слово, но сворачивает в сто рону и у него выходит «энциклопецидиста». Я успокоительно киваю голово и инцидент считается исчерпанным. О Дато и особенно о Романонесе, либе рале, выражается с полным презрением, и каждый раз возвращается к Маур hombre de la ciencia. Я устал от этой прогулки невыносимо и едва вбежа в свою комнату.

Его коллега умнее, тоньше и коварнее: принимает свои меры проти возможного моего побега и записывает в книжку, кому я даю телеграммы читая адреса через мое плечо. Но надоедает мне меньше.

Префект сообщил, что ответ из Мадрида удовлетворителен: ждать д 30 ноября парохода в Нью-Иорк. Об'яснил, что это результат его заступни чества, просил заходить к нему и быть «другом». Насчет заступничеств сомнительно, — помогли, очевидно, мои телеграммы, ходы Депрэ и пр. Н почему собственно я нашел друга в кадикском полицейместере? Вот у подлинно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. «Друг» проси не писать ничего в газеты: я обещал. В конце концов, мои о ношения с этими людьми в этой стране внеполитичны: я пью кофе со шпиком, префект числится моим другом, немецкий вице-консул — моим добровольным переводчиком.

Мадридская газета «Accion», требовавшая, чтоб меня не выпускали из тюрьмы, является консервативным органом, т.-е. примыкает к партии Маур которого мой шпик рекомендует, как энциклопедического человека наук Мауристы по существу германофилы, но выступают за нейтралитет, проти республиканцев, которые за интервенцию, и против либералов, которые по флагом нейтралитета гнут в сторону Франции. Казалось бы, мауристы могли

отнестись ко мне нейтрально, как к высланному из Франции «пацифисту» Но нет, их печать увидела во мне прежде всего «внутреннего» врага. Вступились за меня социалисты и отчасти левые республиканцы, — Кастровидо внес запрос в парламенте, — и те и другие крайние франкофилы. Таким образом и у левых соображения внутренней политики оказались господствующими, как и полагается в нейтральной и достаточно провинциальной Испании.

Возвращались со шпиком. Он обращал по пути внимание мое на разные встречные вещи, потом перешел на телеграф и радостно сообщил, что существует уже беспроволочная передача: телеграммы идут просто по синему небу. Я поддержал эту мысль кивком головы.

— Это сделал Марконид, — заявил он далее, — вот голова! — И он постучал рукой бездельника по черепу глупца. — Это не иностранец, а наш, испанец.

— Нет, Маркони — итальянец.

— Итальянец? — всполошился он. — Нет, испанец, — повторил он, скорее для поддержания национального достоинства, без настойчивости. Я тоже не спорил, и мы пошли дальше.

Вечером, после 8 час., гулял один по Кадиксу. Никого рядом со мною, ни неотступных шагов за мной. Хорошо... Улицы плохо мощены, запахи Испании (масло, пряности), балконы, старики, дремлющие на скамейках, множество цирюлен и чистилен, женщины на порогах, женщины на балконах, солдаты, гитары, игра в домино в мастерских, много беспечной бедности — беспечность от тепла — много пестроты и шума.

Я обошел пешком — один! — старую бедную часть города, с узкими улицами, — везде тяжкий запах оливкового масла, вина, чесноку и человеческой нищеты, — потом вернулся к себе, чтоб успокоить шпиков, но никого из них не было. Я пошел разыскивать английскую кофейню (по гиду Жуана) и... застал в кофейне друга — префекта. Он мне начал делать из-за своего стола ручкой. Я сперва было не узнал его. Он подошел, участливо справился, буду ли я кофе пить или пиво и, благодарение судьбе, не пригласил к своему столу, где сидело несколько испанцев. В кафе играла музыка.

Испанец с двойным подбородком и пробором через лысину играл на скрипке и спокойными полудвижениями жирных рук руководил оркестром из четырех человек. Другой играл на гитаре, третий еще на чем-то. Тяжелая испанка с массивными серьгами временами пела и обходила публику с тарелкой. За одним столиком сидел я, за другим — префект с компанией. Больше никого не было. Я клал медную монету, испанцы не давали. Музыка резкая, ритм — дергающий.

С каким удовольствием возвращаюсь из английской сервесерии один, без провожатых. Тусклые фонари держат город в полутьме. Морская влага легла легким покровом на камни. Одинокие прохожие расходятся по домам. Там и здесь силуэты ночных сторожей с фонариками в руках. Декорация старой оперы. Тихо, особенно на моих улицах. И все тише... Только посередине

мостовой идет слепой газетчик в мягких туфлях, опираясь рукой на маленького мальчика, и выкрикивает свой товар. Он вопит оглушительно и все громче. Но на улице никого. Слепому газетчику отвечают мгла да тишина... Да, из глубины узких и темных улиц раздается вдруг надорванный ослиный крик.

Мой хозяин, свеже выбритый и как бы выпивший — он, впрочем, всегда в хмелю своих бесформенных, но острых антипатий к правящим, что не мешает ему, впрочем, писать крепкие счета, — с негодованием показывает мне телеграмму в Correspondencia de Espagna, гласящую, что псевдо-анархист (таковое теперь мое звание!) имярек прибыл в Кадикс, оставлен на свободе и живет в гостинице Кубана. «На свободе! — рычит республиканский харчевник, — это все для того, чтобы помещать интерпелляции республиканца Катровидо. Знаем мы этих...» Он ругает последними словами испанское правительство, прихватывая по пути и царя, стучит по столу, сдвигает на затылок, потом на лоб, потом снова на затылок, свою каскетку и непрерывно теребит меня за рукав, мешая есть отварную свеклу.

За соседним столом восьмидесятилетний старик, совсем слепой, развивает республиканские взгляды хозяйке отеля, которая, не слушая его, подшивает полотенце.

15 ноября. С утра шпик вовсе не приходил. Демонстрация? Или запил? Справиться бы, страдают ли испанские шпики запоем. Да на беду и справочника такого нет.

Вчера шпик сказал, что придет сегодня в 9 часов утра. Я прождал его до 10, затем ушел. Приходится заботиться, чтоб не потерять шпика. Все наизнанку.

Улица Duque de Tetuan, герцога Тетуанского — солидная улица, на которой много каких-то странных учреждений; в широкие окна видна устойчивая кожаная мебель, столики с газетами, плевательницы возле каждого кресла, а в зазывающе раскрытую дверь первой комнаты виден следующий зал с зелеными столиками. На вывеске ничего. Но дверь гостеприимно раскрыта. Таких внушительно обставленных учреждений на этой улице не менее десятка. Очевидно, благородные притоны карточной игры. Но играющих не видно. По ночам, что ли?

Хожу один по городу. Хорошо! — Собор. Служитель предлагает осмотреть катакомбы. Неохота уходить от прекрасного кадикского солнца. Море. Свет. Свежесть. Пальмы.

Вот те и на! Не только сегодняшняя моя дообеденная, но и вчерашняя вечерняя прогулки были «незаконны». Шпик сказал мне сегодня сумрачно и внушительно, что, если я хочу гулять и после ужина, то он придет, хотя намекнул, что и он собственно человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Стало быть, он надеялся, что я буду сидеть до ночи в своей дыре. Нет, это не Париж. Там я затрачивал в течение двух последних месяцев не мало энергии на то, чтобы уйти от шпиков, — уезжал на автомобиле, входил в темный кинематограф, вскакивал в самый последний момент в вагон метро и пр. и пр., — они тоже не дремали, всячески изощряясь в погоне за мной по

городу: перехватывали автомобили, вылетали, наподобие бомбы, из трамвая и метро, к возмущению кондукторов. Все это имело видимость борьбы, и во всяком случае не налагало на меня никаких «обязательств» по отношению к сыщикам. А здесь шпичек об'являет, что вернется в таком-то часу, и я должен его послушно ждать. В свою очередь, он твердо и даже неистово отстаивает мои интересы. Очень заботится, чтоб я не споткнулся и не испачкал себе сапог. С этой целью обращает мое внимание на все выбоины тротуара. Когда разносчик запросил с меня два реала за дюжину вареных крабов, шпик поднял шум, бранился, угрожающе махал руками и, уж, когда продавец крабов вышел из кафе, догнал его и поднял под окнами такой крик, что собралась толпа. К этому времени крабы были благополучно с'едены. То же он устроил вчера утром с чистильщиком, решив, что тот не сообщил одному из моих сапог надлежащего блеска.

А ведь война там где-то за Пиренеями продолжается. В Париже ежедневно просматривал около 20 французских и иностранных газет. Здесь почти совсем не читаю. Вот что значит архи-нейтральный Кадикс со своим солнцем и морем.

Вчера кавалер Казеро — несмотря на мой ответ — явился ко мне с секретарем немецкого консульства. Оказывается, предприимчивый журналист успел уже побывать у Laллемана, якобы от меня, но тот не мог притти с ним ко мне или не хотел.

Секретарь консульства, гладкий немец, начал с того, что хочет устранить всякие недоразумения. Тут и так уж говорят, что я получил деньги из немецкого консульства... — Как так? — Да, да, хозяин отеля Сивана, недовольный тем, что я покинул его республиканскую берлогу, распространяет слухи, что некий немец, очевидно, из немецкого посольства, приносил мне деньги. На самом деле деньги, переведенные из Мадрида, приносил испанец французского происхождения, ярый франкофил, по фамилии Лаллеман, что по-французски означает немец. Сын хозяина Сиваны состоит на-грех сотрудником республиканской газеты «El Pais», легко может статься, что «El Pais», до сих пор защищавший меня, ныне откроет против меня атаку. Неожиданный переплет из отельного счета и республиканского знамени... если верить секретарю немецкого консульства. Кавалер Казеро, редактор еженедельника под замысловатым названием, отобрал кое-какие сведения, особенно насчет высылки из Франции, и уходя заявил, что придет на другой день с фотографом, чтобы послать снимок в Мадрид: надеется, что в результате его публицистических выступлений высылка будет отменена. Визит германофильского испанца со штатным немцем произвел почти загадочное впечатление...

Сегодня утром был Лаллеман. Сообщил, что Казеро со своим журналом не имеет никакого влияния, промышляет всем, в том числе и шантажем. Хочет с меня, очевидно, получить за интервью и фотографию 100 фр. Кавалер в таком случае жестоко ошибется в своих расчетах. Пронюхал он это сам или нет, но сегодня больше не являлся, хотя вчера грозил еще интервьюировать меня насчет французских финансов, независимости Польши и иных

высоких материй... Кстати: Лаллеман видел мой «кондуит», присланный из Мадрида: мне дается весьма удовлетворительная аттестация. Очевидно, испанская полиция состоит сплошь из «друзей»...

Вечером два испанских офицера играли в шахматы в вестибюле отеля. Расположение фигур казалось исключительно интересным. Игроки застыли в напряжении. Наконец, белые продвинули вперед короля — под черную пешку. Со словами — «шах и мат», черные схватывают вражеского короля, и партия закончена. Арабы, бывшие владыки Испании и мастера шахматной игры, очевидно не завещали своего искусства этим доблестным воинам короля Альфонса.

Шпичек сообщил мне на прогулке, что его дед был гранд, имел много золота, а отец состоял другом Альфонса XII, но что сам он — увы! — pobre, беден, получает всего 1.000 пезет в год (он сказал 3.000 реалов — это звучит лучше!), а префект получает 9.000 реалов. Так как я реагировал на эту тему слабо, то шпик удвоил настойчивость. Оттопыривая нижнюю губу и мотая возмущенно головой по адресу негодного правительства, он повторял: $83^1/_3$ пезеты в месяц, ему, потомку того предка, который был другом Альфонса XIII Да, плата небольшая. Тем не менее, за эту цену он готов перегрызть горло любому испанскому рабочему, который получает, примерно, столько же.

Памятник Морету. «Patriotismo», — читает шпик надпись на лицевой стороне и внушительно глядит на меня. «Libertad»,—читает он под тыльной стороной Морета — и поднимает вверх палец.

Есть еще в Кадиксе памятник «республиканцу» Кастеляру, благополучно, кажись, примирившемуся в свое время с монархией. Cristobal Colon — кто бы это был? Долго не догадываешься. — Ба, да ведь это Христофор Колумб!

Зелено, тепло, солнечно, а из Парижа пишут: «вторую неделю холод, дожди со снегом, туман, мразь».

Перед губернским правлением в центре обширной площади, подле набережной, ставится огромный и сложный памятник Кортесам, руководившим борьбою против французов. Постамент уже поднялся высоко. Аллегорические каменные фигуры в большом числе на земле. Шпик сбивчиво, но настойчиво, раз'ясняет мне их смысл. — А нет ли среди них изображения тех патриотов, которых Фердинанд VII истребил после того, как они отвоевали для него трон? — Шпик таращит глаза. Его исторические познания не идут дальше Альфонса XII, при котором дед шпика имел множество пезет и реалов.

Немножко социальной статистики. В течение получаса, что я провел сегодня в кафе за чаем, мальчишки предлагали мне двенадцать раз ABC, мадридскую иллюстрированную газету, четыре человека навязывали мне лотерейные билеты, три нищенки просили милостыню, три разносчика предлагали вареных раков, два — какие-то таинственные сладости, и если чистильщики сапог не делали мне никаких предложений, то только потому, что один из них обрабатывал все время мои сапоги.

Разговоры, книги.

Старая испанская поэма повествует, как неверные сарацины разбили благочестивых испанцев:

Vinieron los Saracenos
Y nos mataron á palos;
Pues Dios esta por los malos
Quando son mas que los buenos.
(Пришли сарацины
И разбили нас на-голову,
Ибо бог вступается за злых,
Когда их больше, чем добрых.)

Это совсем хорошо сказано, и римский папа, у которого не мало чад в обоих воюющих лагерях, руководствуется, надо думать, той же самой мудрой тактикой. Во всяком случае известный афоризм Наполеона: «господь бог всегда на стороне более многочисленных батальонов» оказывается плагиатом, ибо та же мысль гораздо ярче выражена доном Герардо Лобо еще при Филиппе V.

* * *

Молодой испанец, чему-то учившийся, где-то бывавший, досужий, недовольный, разговорчивый, подошел на пристани с приветом, и после того встречаемся почти каждый день. Он разыгрывает из себя скептика, — ему, должно быть, 22 года, — и говорит о своем отечестве в тоне совершенной безнадежности.

— Мы должны исчезнуть с лица земли. Испания везде отстала. Во всем — декаданс (упадок). Мы владели миром. Сейчас мы третьестепенная держава. Ужасающее невежество. Нет индустрии. Наши студенты не учатся. Никто ничего не делает. Если города тратят деньги, то на plaza de toros [1]), а не на порты, не на школы. В Андалузии 90% безграмотных. У нас есть поговорка: голоден, как народный учитель.

— Вывести из этого положения нас могла бы только республика, а привести к республике могла бы война. Война была бы спасением для Испании, она вырвала бы нас из застоя. Но к войне мы не готовы. Срамиться в войне мы не хотим. Вот почему я говорю: мы погибли...

— Вы хвалите нас. Все иностранцы, приезжающие к нам, хвалят нас. Мы гостеприимны, общительны. Это наследие нашего старого богатства. Когда мы были могущественны, мы выработали себе манеры широкие, великодушные. Теперь у нас только и осталось, что эти манеры. Хуже всего то, что мы не верим в собственное спасение. Мы не верим ни в какие идеи. Мы, испанцы, — скептики. Все партии нас обманывали, каждая в свою очередь.

— Деньги! Нет идей — все за деньги. Вся наша политика основана на э т о м (движение пальцами, очень общее всем испанцам и выражающее хватание или щупание). Выборы? Основаны на пезетах. Граф Романонес?

[1]) Арена для боя быков.

Вся его сила в деньгах. Один из самых богатых людей в Испании. Он даже короля ссужает деньгами. Только этим и правит.

— Пресса? У нас не верят прессе. Есть хорошие журналисты, которых знают, но честных, таких, которым верили бы, — нет. Все убеждены, что пресса, как и политика, основаны на этом (движение пальцами).

— Научная и учебная работа ведется кое-как. Студенты ежегодно устраивают забастовки по произвольным поводам, чтобы приблизить каникулы. Более серьезный характер имеет требование студентов об отмене местных учебников. Борьба вокруг этого вопроса очень характерна для состояния нашей университетской науки. Молодой профессор составляет наспех «свой» учебник, т.-е. из десяти плохих делает одиннадцатый никуда не годный, и продает, как обязательный, своим студентам. Никто из авторов и не помышляет о том, чтобы учебник вошел в обиход во всей стране. Это просто местный и персональный налог на науку.

— Кто у нас национальный герой? Хуан Бельмонте, торреадор. Я его знал несколько лет тому назад землекопом и разносчиком плохих апельсинов. Теперь он богат, знаменит, идол, — иначе его не называют, как fenomeno. Спросите испанца на улице, кто у нас военный министр или председатель кортесов? Вероятнее всего, он вам не ответит. Но спросите любого, кто таков Бельмонте? Он во всех подробностях расскажет его биографию.

— А кто, кстати, у вас военный министр теперь?

— Военный министр? Да... военный министр — генерал Лукэ, да, конечно, он...

— Хуан Бельмонте. Какая у него ступня (подробности). Это торреро, который может в последний момент плюнуть на быка. Для чего? Зачем? Чтобы показать, что у него горло не пересохло от волнения — высший признак самообладания! Галстуки Бельмонте! Шляпы Бельмонте! Испанцы стригутся под своих фаворитов — aficionados. Есть плешивый торреадор — полунегр, — его партизаны бреют голову. За последнее время все это не ослабевает, а усиливается. Король останавливает автомобиль, чтоб приветствовать торреадора. Богачи ему покровительствуют. В свою очередь и Бельмонте покровитель: через него хлопочут. Секретарь министерства собирается за него выдать дочь. Если в Испании есть справедливость, так в торрео. Даже сторонники свищут фавориту, если он не в ударе, и, наоборот, аплодируют противнику... Не едят, не пьют, закладывают платье, чтобы посетить торрео. Как жаль, что теперь не temporada [1]), и вам не удастся повидать Бельмонте. Я не заражен нашей национальной страстью, но Бельмонте действительно феномен.

— У нас все думают, что после войны будут большие перемены. В чем? Во всем. А так как для Испании возможны перемены только к лучшему, — к худшему некуда, — то испанцы доверяют этим переменам и ждут их. Может быть, сильные станут слабее, а слабые сильными. Но я этих надежд не разделяю. Я пессимист».

* * *

---

[1]) Сезон для быков.

Ауто-да-фе удосужились отменить, а бой быков сохранили. Между тем в бое быков немногим меньше варварства, чем в сожжении ведьм. Борьба за отмену боя быков насчитывает столетия. В начале девятнадцатого века (1805 г.), во время борьбы с Наполеоном, Карл IV запретил «наконец» бои быков. Французский автор Бургоен писал в те времена по поводу запрета: «Эта мужественная реформа делает часть правлению Карла IV и свидетельствует о мудрости его первого министра. Все и вся будут, без сомнения, в выигрыше от этого: промышленность, земледелие и нравы» [1]). Но гроза великой революции стихла, и бои быков нашли свою реставрацию — одновременно с тем, как коронованные быки возвращали себе европейские троны. И теперь, 111 лет спустя, от «мужественной реформы» не осталось и следа.

Как филистеры склонны верить в отвлеченный прогресс. И как медленно тащилась в прошлые века его несмазанная телега. Единицы или группы достигали поразительных высот уже в древнейшие времена. А массы?..

Мальчики Мурильо, босоногие оборвыши, искатели вшей. Они и сейчас те же: сквозные дыры, грязные носы, вши в черных волосах. В 1680 г. — последнее публичное ауто-да-фе на Plaza Mayor в Мадриде. Балконы ломились от жадных зрителей. В благочестивой Севилье была сожжена женщина ровно 100 лет спустя, в 1780 г., следовательно за 9 лет до Великой Французской Революции.

Очень-очень медленно движется скрипучая телега прогресса, особенно в Испании, которая больше, чем какая-либо другая страна, живет вчерашним днем. Католицизм долго был знаменем в борьбе с сарацинами и крепко в'елся в нравы. Инквизиции нет, на кострах не сжигают, но в Кадиксе есть газета (El correo de Cadiz), на которой значится: con cenzura eclesiastica, т.-е. выходит под церковной цензурой. Благочестивая газета печатает по поводу дороговизны статью, в которой укоряет дорогих сограждан в том, что они больше интересуются ценою баранины, чем спасением души (la salvacion de nuestra alma). Это обличение превосходно звучит в дни великой людской бойни, когда у самых католических народов человеческое мясо стало много дешевле баранины. Бедная католическая душа, которую заставляют нюхать иприт или накрывают сверху снарядом в 50 пудов весом. Но на этот счет вы тщетно бы стали искать сведений в испанских газетах. Кадикские поступают особенно находчиво — они вообще ничего не сообщают о войне, как будто бы ее не существовало. В конце концов воюют далеко за Пиренеями, и французская пальба не заглушает звуков мессы. Когда я обращал внимание туземных собеседников на полное отсутствие военных бюллетеней в самой распространенной кадикской газете (El Diario de Cadiz), мне отвечали удивленно: «Неужели? Не может быть... Да, да, действительно». Значит, раньше не замечали.

* * *

---

[1]) Tableau de l'Espagne moderne, par I. Fr. Bourgoing. Paris 1807. 4-e édition (V. II, p. 417).

В 1777 г. будущий французский полномочный министр при Мадридском дворе Бургоен в качестве секретаря посольства в'езжал в Испанию на шести мулах. Он написал об этой стране большой труд, который выдержал четыре издания. Первое вышло в год Великой Французской Революции. Посол старой Франции отнюдь не лишен наблюдательности. Его труд и сейчас выше того, что пишут об Испании иные лощеные французские академики. Во всяком случае Бургоен читается с интересом, особенно, если человек случайно застрянет в Кадиксе, ожидая парохода на Нью-Иорк. «С того времени, как Европа цивилизовалась с одного конца до другого,—читаем мы во втором томе,—обитателей ее надлежит скорее распределять по профессиям, чем по нациям. Так, отнюдь не все французы, не все англичане и не все испанцы походят друг на друга, но лишь те из них, которые внутри каждого из этих трех народов получают, примерно, одинаковое воспитание и ведут, примерно, одинаковый образ жизни. Так все их юристы сходны по своей приверженности к форме и страсти к кляузе; все их эрудиты сходственны своим педантизмом; все их коммерсанты — своей жадностью, все их матросы — грубостью, придворные — гибкостью». Этими словами Бургоен хочет опровергнуть ходячее представление об Испании, как о совсем особенной фантастической стране.

Но Бургоен умеет подмечать и действительные национальные особенности, ища их корней в истории. «В ту эпоху,—говорит он,—когда Испания играла столь великую роль, когда она открывала или завоевывала новый мир или, не довольствуясь господством над значительной частью Европы, возбуждала и потрясала другую ее часть своими интригами и военными предприятиями, в эту эпоху испанцы пропитались той национальной гордостью, которая излучалась из их внешнего обихода, из их жестов, из их слов». Времена владычества и мощи Испании были уже и для Бургоена прошедшими временами; но они оставили свой след в национальном облике страны. «Испанец XVI столетия исчез, но его маска осталась. Отсюда эти черты гордости и важности, которые отличают его еще и в наши дни».

Французский посол оспаривает мнение, будто леность является отличительной чертой всего испанского народа. Он ссылается на оживленную деятельность, которая господствует на берегах Каталонии, в королевстве Валенсии, в городах Бискайи, «всюду, вообще, где промышленность находит поощрение». Вспоминаются слова Депрэ, что 15 испанских служащих управляемой им конторы делают ту же работу, что и 15 французов; но в то время как для этих последних достаточно трудовой дисциплины, испанцев нужно уметь заинтересовать или увлечь соответственным обхождением.

* * *

Кадикс — весь в прошлом еще в бо́льшей степени, чем Испания в целом. Это не так чувствуешь, пожалуй, в порту и на улицах — время войны все же исключительное время и для Кадикса, — как в книжных магазинах и особенно в главной библиотеке Кадикской провинции. Старое здание, с холодными, влажными ступеньками, с некрашеными досчатыми полами,

ез солнца и без посетителей. Единственный библиотекарь и единственный торож насчитывают совместно не менее полутораста лет. История библиоеки как бы оборвалась в первой четверти прошлого столетия. Совсем ичтожное количество книг более позднего времени. За последние 10—20 лет ет почти ничего, кроме бюллетеней официальной статистики, да и то азрозненных. Зато немало старых фолиантов, книг XVIII века и более раних. Во всем книгохранилище одна немецкая книга, десятка два французских, ато много латинских.

Сторож приносит мне по спискам книгу за книгой, и уж один внешний ид их свидетельствует, что их давно не касалась человеческая рука. Это все реимущественно старые работы по истории Испании и, в частности, Кадикса. десь в первый раз мне посчастливилось убедиться на опыте, что книжный ервь не есть только образное выражение. Большинство тяжелых томов, тпечатанных на старинной доброкачественной тряпичной бумаге, методичеки из'едено ученым червем, которому жители Кадикса предоставили достаочно широкий срок для работы. И какой искусной работы, какой точной, акой педантической! Цилиндрические ходы сложными кривыми поднимаются зерх, спускаются вниз. В зависимости от направления хода, отверстие имеет странице круглую или эллиптическую форму. Читателю эта работа загаывает головоломные загадки, особенно когда червь унес с собою цифру или асть собственного имени.

В библиотеке тихо. Сквозь толстые стены почти не доносятся звуки звне. Часы библиотечные стоят — с какого времени? не с середины ли юшлого столетия? Шпик сидит за тем же деревянным столом и сосредоченно отплевывается. Наконец, он не выдерживает ученого томления. з соседней комнаты раздается хриплый шопот: шпик беседует со стариком орожем. Шопот отвлекает от книги, и я слышу: Hombre de la ciencia... en--clo-pe-dis-ta... К кому на сей раз относятся вещие слова: к поднадзорному, и все к тому же Маура? Но шпик скоро уходит на крыльцо курить, — ановится совсем тихо. В этой особой библиотечной тишине ухо ловит рагу книжного червя.

«Но что придает Кадиксу особливое значение. что уподобляет его самым ликим поселениям мира, — читаю я в старой книге, — это огромность его рговли. В 1795 г. здесь насчитывали более 110 собственников кораблей около 670 торговых домов, не считая розничных торговцев и лавочников... течение 1776 г. в порт Кадикса вошло 949 кораблей. Нации, которые имели Кадиксе наибольшее число торговых предприятий, суть ирландцы, змандцы, генуэзцы и немцы, из которых первое место занимают мбуржцы». «Контрабанда, одно имя коей заставляет дрожать испане правительство, не имеет более блестящего театра, чем порт дикс». В 1799 г. Кадикс насчитывал 75.000 душ. «Место встречи атств двух миров, Кадикс обладает почти всем в изобилии». 1792 г. Кадикс отправил в обе Индии товаров на 270 миллионов реалов получил обратно на 700 миллионов... Вот о каком пышном прошлом сказывает кадикская библиотека.

Вчера (22-го) в кинематографе дивился страстям испанской публики. На экране касса с револьвером, и к этой кассе приближается неосведомленная героиня — из публики вопль предупреждения. История повторяется, когда к кассе подходит почтенный отец. Но вот враг семьи нарывается на револьвер — из зала несется вой злорадства. Что же творится на боях быков? Да, жаль, что теперь не temporada.

Вернувшись в отель, застал в вестибюле танцы и фанты. Несколько молодых офицеров, девиц и дам, настойчивые ухаживания, вернее, приставанья. Наивные и карикатурные провинциальные нравы, первобытные под мещанской политурой.

* * *

26 ноября. Воскресенье.

Старый английский историк Испании Адам [1]) в четырех томах, особенно тщательно из'еденных книжными червями, рассказывает нам историю Пиренейского полуострова, со времени его открытия финикиянами и до смерти Карла III. Особенно поучительной выходит под пером англичанина Адама роль Великобритании в сокрушении испанского могущества. В течение столетий Англия играла на антагонизме Франции и Испании, стремясь ослабить обеих, а ослабив Испанию, начала защищать ее, при чем грабила у нее колонии. В так называемой борьбе за испанское наследство, Англия руководила европейской коалицией из голландцев, австрийцев и португальцев — против Бурбонов, об'единявших Францию с Испанией. Война велась якобы во имя наследственных прав австрийского дома на испанский трон. Попутно Англия захватила Гибралтар (1704 г.) — и какой дешевой ценой: отряд матросов взобрался на никем, в сущности, — по причине «неприступности», — не охранявшуюся скалу, с которой Англия теперь владычествует над входом и выходом Средиземного моря. В войне за испанское наследство великобританские методы международного хищничества находят свое классическое выражение. 1) Союз против Бурбонов, об'единявших Францию с Испанией, был союзом против главной европейской континентальной силы; 2) создав этот союз, Англия стала во главе его; 3) она терпела от войны менее союзников и получила больше их, не только захватив Гибралтар, но и обеспечив за собою, по Утрехтскому миру, первостепенные торговые выгоды в Испании и в ее колониях; 4) ослабив об'единенную Испанию — Францию, т.-е. достигнув главной цели, Англия немедленно же предала интересы австрийского претендента на испанский престол, признав Филиппа Бурбона, внука Людовика XIV, королем Испании под условием, чтобы он отказался от всяких прав на французский трон. Аналогии с нынешней войной напрашиваются сами собою. Кстати, пусть определят философы социал-патриотизма, кто в англо-испанской войне был нападающей, а кто — защищающейся стороной...

---

[1]) Histoire d'Espagne depuis la découverte qui en a été faite par les phéniciens jusqu'à la mort de Charles III. Traduite de l'anglais d'Adam par P. C. Briand, Paris 1808, 4 vol.

В конце пятидесятых годов XVIII века Питт старший считал необходимым об'явить войну Испании, ввиду заключенного мадридским и версальским дворами секретного «семейного пакта», направленного против Англии. Английское правительство, однако, колебалось, и о причинах этого колебания эпически рассказывает почтенный историк Адам. «Еще не знали, — говорит он, — деталей семейного пакта; Англия была отягощена долгами; Испания не сделала ничего такого, что могло бы вызвать Великобританию на войну; надлежало, посему, уважать международное право и особенно великие интересы коммерции, а также солидную силу испанского флота» Эти слова могли бы показаться иронией по адресу Великобритании, если бы сам автор не был благочестивым англичанином. Мы видим, что еще задолго до Ллойд-Джорджа английские правители умели вставлять международному праву перо в надлежащее место.

* * *

В музее Кадикса сторож отпирает ключом запертую дверь: никто, очевидно, сюда не ходит. Сомнительный Ван-Дик. Сомнительный Рубенс. Несомненный Мурильо. Зурбаран. Его монахи. Его ангелы, показывающие крепкие, весьма земные икры. Новая живопись гораздо слабее. Премированная в 1867 г. (?) в Париже «историческая» картина жалкая и лживая: недаром ее премировали эстетические авторитеты Второй Империи, лживой и жалкой.

Балаган вблизи пристани. Демократическая публика. Много портовых. На сцене две «певицы» с фальшивыми, сиплыми голосами. Безжалостность публики чудовищна. Та же потребность, очевидно, что и в бое быков: заправить. Мужчины улюлюкали, женщины хихикали, «певицы» пели полуплача. Гигантские нужны домкраты, чтоб поднять культуру масс.

Рассуждения старика-сторожа в бараке Compania Transatlantica. «Войну начала Германия, а кончать не хочет Англия». Это сказано не плохо.

Еще разговоры, еще книги.

На вышке в парке Кадикса. Вечер. Чуть ветренно. Пальмы беспокойные. Белые дома с плоскими крышами и зубчатыми выступами. Мавританский город!

Море, темное, почти спокойное, но свинцовое в этот декабрьский вечер. Маяк мигает. Пальмы покачиваются. Чуть доносится рокот вод.

Море окружает Кадикс с трех сторон, даже более. И с каждой стороны оно разное, смотря по солнцу, направлению ветра и характеру берега.

Справа оно мягко ложится на песок, а слева за поворотом с размаху разбивается о стертую стену крепости и прибрежные камни.

Силуэты судов в сумерках. Двух- и трехмачтовые парусные корабли, которые совершают путь в Америку и обратно, в один рейс окупая свою стоимость, да еще с избытком.

Немецкие и австрийские суда, запертые в этих водах с начала войны заменяют квартиры своему экипажу. Они обросли неподвижностью.

Сегодня прибыл пароход «Инфанта Изабелла» из Аргентины. Из-за войны там застой в делах, и испанцы возвращаются оттуда массами — без денег и без надежды заработать их. Пароходные общества нещадно грабят. На Нью-Иорк и Аргентину еще есть цены, но оттуда берут, сколько хотят, т.-е. отбирают все, что есть. Сколько страшных дел, больших и маленьких, совершается под покровом войны.

Почему пассажирские пароходы бросают якорь далеко от пристани, так что под'езжать приходится на моторных лодках? Оказывается, чтоб избежать бесплатных пассажиров, которые укрываются до Канарских островов.

Опускается ночь. Вышка с железной оградой, как капитанский мостик над океаном. Пена вспыхивает в темноте. Ветер окреп. Гул и угроза. Скользят лучи маяка. Тьма и душистые морские брызги текут в воздухе. Все во влаге. Платье, палка, волосы. За поворотом тоже море, но спокойное, как зеркало, ибо в ограде берегов (бухта!), и в нем отражаются, не колеблясь, огни ночного Кадикса.

Прибыли сегодня пачкой моряки с потопленных немцами судов. «Emilia» шла на парусах из Опорто в Ласпельме, везла дерево для фруктовых ящиков. Собеседник был на «Эмилии» капитаном, сын его — матросом. Нить рассказа переходит незаметно к сыну. Возле Las Palmas (Канарские острова) нагнала немецкая подводная лодка. Сигналы. Остановились. Немецкий офицер позвал рукою. Приблизились. Четыре немца с динамитом перешли на «Эмилию», забрали там манометр, портфель с бумагами и удалились, оставив динамит со шнуром. Экипаж «Эмилии», перешедший на лодки, сфотографировали. Одним словом все честь-честью.

— Хорошее судно, капитан, очень крепкое, — сказал немецкий офицер.

Раздался взрыв, но «Эмилия» осталась почти невредимой. Тогда по ней дали 25 выстрелов и потопили.

Немцы хотели взять в плен капитана, но тот сказался больным, и его отпустили вместе со всем экипажем. Стряслась эта беда на 6-й день пути, когда уже видели землю. Из Las Palmas экипаж (17 человек) на судне «Кадикс» прибыл сюда.

Тут же в зале гостиницы группа моряков с затонувшего вчера португальского судна. Совсем недалеко от Кадикса, в 70 милях, оно столкнулось с итальянским судном, которое на всех парах уходило от немецкой подлодки. Все спаслись (испано-негры, испанцы, негры). Из разговоров с португальскими моряками. — Воюете? — Заставили. Кто идет на войну, тот готовится к ударам, — это такая португальская пословица. А мы не готовились. Англия и Франция заставили... А как французские газеты врут о португальском «энтузиазме»!

Моряки рассказывают, как несколько дней тому назад они наблюдали у северных берегов Испании потопление колумбийского парусника, который перевозил лошадей и скот. Люди спаслись, скот погиб. Жалко, жалко было тонущих лошадей и быков.

И опять разговор возвращается к «Эмилии». Сын капитана показал мецкому офицеру, где сахар, масло, сухари... Немцы забрали все, а испанцу ›ицер дал коробочку папирос. Первый выстрел с подлодки был холостой — тановить только. Это несколько успокоило моряков, которые в первый ›мент перепугались до-смерти, считая, что пришел последний час. После ıстрела сразу повернули, все показывали и всячески помогали уничтоже-ıю своей «Эмилии».

Немец все повторял: «хорошее судно, капитан, хорошее судно».

— Насмехался?

— Нет, зачем: просто, как моряк моряку говорил. Корабль у нас ıл действительно хороший — исправный, совсем новый...

— Говорят, что около Канарских островов три больших подлодки. Но ишедшим туда после нас греческому и северо-американскому судам тамош-е власти говорили, что «Эмилия» разбилась о скалы, чтобы не портить ммерции.

Ученый французский морской офицер Де-Мерлиак издал в 1818 г. игу под названием: «О свободе морей и торговли, или историческая и фи-софическая картина морского права» [1]). Книга насквозь реакционного тора, жестоко осуждающего не только якобинцев, но и директорию, чи-ется с большим интересом в свете нынешней мировой войны. Спустя ких-нибудь три года после того, как коалиция, под руководством Англии, рнула трон французским Бурбонам, автор-легитимист делает следующее изнание: «К англичанам можно применить то, что Маккиавелли говорил венецианцах: их мирные трактаты еще более гибельны для их соседей, м подвиги их армий». По поводу того, что англичане всеми средствами экады преграждали подвоз с'естных припасов во Францию во время войны революцией и Наполеоном, Де-Мерлиак пишет: «Я полагаю, что бичи, добные чуме и голоду, находятся в руках бога: он один может обрекать народы. И я думаю, что делать из этих бедствий оружие войны—значит йствовать против всех законов, божеских и человеческих... Стремиться одлить у целого народа, в обширном королевстве, ужасы голода, — это жно признать наиболее чудовищным злоупотреблением, какое можно сде-гь из силы; это значит попрать международное право и долг человека кристианина: таково, однако, было по отношению к нам поведение вели-й Британии... Иначе, какова была бы разница между европейцами и кани-пами Южного моря?».

Сегодняшние Де-Мерлиаки говорят совсем иным языком о той блокаде, горой Великобритания, при содействии Франции, подвергает Германию. вопрос о разнице между европейцами и африканскими канибалами при-

[1]) De la liberté des mers et du commerce ou Tableau historique et philosophique Droit maritime par M-r Gilbert de Merlhiac, lieutenant de vaisseau, membre de la Sociét Sciences de Paris... Paris 1818.

ходится ответить, что просвещенные европейцы располагают такими орудиями каннибализма, о которых несчастные людоеды Африки не могут и мечтать.

* * *

Ко мне в гостиницу зашли два испанских синдикалиста. Один говорил чуть-чуть по-французски. Толковали о войне, о высылке, об испанской полиции. Синдикалисты жаловались, что испанец плохо поддается организации. На том простились. По их, совсем еще свежим, следам ворвался ко мне шпик. «Они хотели денег?» Я сразу не понял. Тогда он протянул лапу, стал делать хватающие движения пальцами, повторяя вопрос, брызжа слюною. Им владели одновременно две тревоги: приходили враги — он проглядел! — приходили за деньгами и, может быть, получили, а он не получил, он прозевал, он остался не при чем. Он был похож на ограбленного. Я прогнал его, об'явив, что мне нет дела до того, сколько именно часов он согласен посвящать своим обязанностям, что впредь я буду выходить, когда найду нужным. Шпик маячит теперь перед окнами гостиницы и, сопровождая меня, соблюдает дистанцию. Он не посвящает меня более в тайны исторических памятников и собственной биографии. Мы с ним попросту не знакомы. Так разбилась одна дружба.

8 декабря. Сегодня здесь большой праздник — Inmaculada — Непорочной, покровительницы Кадикса и испанской армии, точнее, пехоты, — ибо Inmaculada почему-то специализировалась на инфантерии. По этому поводу вчера в двух казармах были закрытые бои быков.

Сегодня в церкви монсеньоре говорил об этапах испанской истории, доказывая специальное вмешательство Непорочной во все критические моменты. Результаты, однако, более, чем сомнительные.

По поводу приверженности испанцев к католической церкви. Благочестие нимало не помешало, однако, Карлу III в 1767 году беспощадно расправиться с иезуитами. В телегах их доставили со всех концов страны сюда, в Картахен, неподалеку от Кадикса. По пути они терпели жесточайшие лишения, никто не хотел их принять, многие из них вымерли. Из Кадикса их отправили прямехонько к святейшему отцу, в папскую область. Целью католичнейшего (très-catolique) испанского правительства было заграбастать богатства ордена. Благочестие, как и благодушие, прекращаются там, где дело заходит о чистогане.

Прибыл из Fernando Poo (на западном берегу Африки, подле Мозамбика, недалеко от Канарии, — это остаток испанских колоний) пароход Cataluna. По пути пять человек умерло от желтой лихорадки (умерших — в воду). 42 больных на борту. Судно более походит на госпиталь. В Fernando Poo теперь много немцев из Мозамбика. Население увеличилось с 7.000 до 10.000. Местность нездоровая — лихорадки. Чиновники и солдаты получают двойное жалованье.

Эпидемии вообще свирепствуют на пароходах, которые теперь не дезинфецируются: время дорого. Время дороже пароходов. Не только меди

инский, но и технический досмотр не ведется. Вчера потонул возле Канарии ольшой торговый пароход Общества Penidion. Спасено 18 человек экипажа, стальные (человек 20) благополучно погибли. Компания вернет себе стоиость парохода (застрахован!), а людей и чужой товар выпишет в безубыочный расход. Война упрощает отношения и расчеты.

Вот я видел сарсуэлу в новом большом театре. Труппа приехала из евильи на гастроли. Совсем хорошая труппа. Сарсуэлла, о которой сообщают все путеводители, как об испанской национальной особенности, сего-на-всего оперетка, только короткая и немножко наивная, даже при е наивных фабулах. Королева выбирает себе фаворитов, а по истечении есяца предает их казни, — не египетская королева, а испанская, которая осит модные наряды. Министры — они очень хороши, особенно военный, большим животом и перьями на треуголке — шокированы таким образом равления и хотят подать в отставку. «Мы монархисты, — поют они речитаивом — но в конце концов так можно предпочесть республику». Королева ыбирает на сей раз садовника, а капитан придворный кадет — очень притный тенор — любит ее безнадежно. Но и королева томится тайно по капитану. Садовник уходит во-свояси (бедняга уже тосковал по своей голове), королена сочетается с капитаном и отказывается от престола, что доставляет и ей и всем большое удовольствие, — особенно военному министру красном мундире с бабьим животом. Есть речитативы, диалоги, стихи, роансы, дуэты, скоморошество и лирика — словом, оперетка, примитивнее паижских и в очень негрубом исполнении. А, главное, коротко. За вечер дается ри, иногда четыре función, представления. Можете взять билет на одно представление или на все четыре. Просидев час в театре, уходите без оскомины и ез досады. Захочется ли вернуться, это уж вопрос особый.



16 декабря. Суббота. В борьбе с Наполеоном Кадикс сыграл большую оль: здесь укрылись кортесы, политическое средоточие национальной обооны. Тогдашний прусский представитель в Мадриде, полковник Шепелер; своей «Истории испанской и португальской революции» [1]), такими высокоарными словами говорил о значении Кадикса: «Как система мира связана Сириусом, так судьба Европы и, может быть, всего земного шара связана Кадиксом... Надежды европейских тронов и народов перенесены в уголок райнего запада». В то самое время, как кортесы назвали городок под Каиксом именем Сан-Фернандо, в честь своего короля, этот последний всяески угождал захватившему его в плен Наполеону, чурался народного дви-

---

[1]) Histoire de la révolution d'Espagne et de Portugal ainsi que de la guerre qui i résulta par M-r de Schépeler, colonel et ci-devant chargé d'affaire de Prusse à Madrid. raduit sous les yeux de l'auteur, Liège 1831.

жения, пил за великого императора и стремился породниться с ним. В конце концов, Фердинанд вместе со своим ничтожным отцом, «добровольно» отрекся от престола, выговорив себе от Наполена приличную пенсию. Опасаясь за свою драгоценную жизнь, Фердинанд призывал верных испанцев оставить его в покое, признать Жозефа Бонапарта королем и не предпринимать никаких безрассудных шагов сопротивления. И вот этот пленник Наполеона, этот униженный содержанец, которому стоявшие за кортесами народные массы вернули трон против его собственной воли, начинает свою королевскую карьеру с того, что обвиняет кортесы в узурпации своих наследственных прав. С пути, из Валенсии, не доехав даже до Мадрида, он громит узурпаторов, которые осмелились назвать армию и государственные учреждения национальными, тогда как им надлежит называться королевскими. Он отказывается признать конституцию 1812 года и приступает к разгрому либералов, доставивших ему трон. Монархические историки находят для этой политики поистине великолепное оправдание: «как, — восклицают они по адресу либералов, — вы хотите ограничить власть того самого монарха, ради которого страна, под руководством кортесов, пролила столько крови!».

Отметим мимоходом, что условия, которые навязали Кадиксу в эпоху Наполеона исключительную политическую роль, дали в то же время новый толчок его упадку. Под влиянием революции стали отрываться от Испании ее южно-американские владения. Между тем, экономическое значение Кадикса целиком опиралось на колониальное могущество старой Испании.

Дальнейшая история короля Фердинанда не менее поучительна. Он правил самовластно до 1820 года, когда в испанской армии вспыхнуло революционное восстание, встретившее сочувствие народа и охватившее мадридский гарнизон. У министров и у двора душа, как полагается в таких случаях, ушла в пятки. Фердинанд первым делом выпускает манифест, в котором обещает народу смягчение налогов, предлагает выражать свои «мнения» о нуждах и пользах отечества и в то же время обрушивается на крамольников, — ни дать, ни взять наш Романов в 1905 году. Дело это было 3 марта 1820 года. Но манифест запоздал, движение растет, — и уже 6 марта Фердинанд приказывает созвать в возможно непродолжительном времени кортесы, не определяя, однако, какие именно, с какими полномочиями и в какой срок. Наконец, на следующий день он издает новый манифест, в котором говорится дословно: «Поелику воля народа повсеместно обнаружилась, я решился присягнуть конституции, изданной генеральными и чрезвычайными кортесами в 1812 году», т.-е. теми самыми кортесами, которые доставили Фердинанду, против его собственной воли, трон и которые он немедленно затем разогнал за узурпацию его «наследственных прав». Мудрено ли, если почтенный испанский автор двухтомной истории Фердинанда, впрочем, предусмотрительно скрывший свое имя, жалуется и негодует на то, что революционеры обнаружили «грубое недоверие к намерениям короля в тот именно момент, когда его величество дал наиболее яркое доказательство своей благожелательности».

Лживость и подлость правящих проявляется, в конце концов, в довольно однообразных формах. Взять ли роль Англии в войне за испанское наследство, или роль испанской монархии (а также и либеральных буржуа) в борьбе с наполеоновским владычеством — казалось бы, эти классические уроки должны бы навсегда застраховать народы от дрянного легковерия. Ведь все эти грабежи, насилия, обманы, вероломства уже проделывались и разоблачались, — и тем не менее они повторяются каждый раз в более широких масштабах. Чтение многих глав человеческой истории нередко порождает такого рода рецидивы возмущенного рационализма. Но суть-то в том, что народы очень малому учатся из истории — уже по тому одному, что не знают ее. Она доходит до них — поскольку вообще доходит — в искажении школьной легенды, национальных и церковных праздников и в виде вранья официозной прессы. Те исторические факты, которые должны бы просветлять народы, становятся, наоборот, орудием их дальнейшего одурачения. Пока-что, история делается эмпирически. В отличие от техники, здесь еще почти нет массового накопления опыта. Марксизм есть великая попытка использовать уроки истории для того, чтобы сознательно руководить ею. Но марксизм есть пока еще орудие будущего...

На изложенном выше история Фердинанда не закончилась. Дальше развернулась едва ли не самая красочная глава. Фердинанд прославлял в официальных воззваниях конституционный режим, а в то же время организовал на севере с помощью Людовика XVIII абсолютистские банды. Однако правительственные войска разгромили роялистов. Но Священный Союз не дремал. «Успокоение» Испании было им в конце 1820 года возложено на Францию. Россия, Франция, Австрия и Пруссия обратились к испанскому правительству с грозными нотами. Англия вильнула хвостом и получила в обмен за этот «жест» от Испании крупнейшие материальные выгоды. Вмешательство держав Священного Союза было тем гнуснее, что революция 1820 года только восстановила конституцию 1812 г., в свое время признанную всеми державами, в том числе и нашим «благословенным». Но тогда, в 1812 г., Испания нужна была против Наполеона.... 6 апреля 1823 г. французская армия выступила в поход, а 23 мая группа испанских грандов уже подносила благодарственный адрес герцогу Ангулемскому, вошедшему во главе французских войск в столицу Испании. Фердинанд находился в это время с кортесами в Севилье. Во все критические моменты, когда нужно было принять решение или ответить на прямой вопрос, этот трус обнаруживал у себя ужасающий припадок подагры». Это повелось еще с первой революции. Но в Севилье ему уклониться не удалось, — он оказался вынужден подписать манифест против чужестранной интервенции. «Они называют военным возмущением — говорит манифест о Священном Союзе — реставрацию конституционной системы в Испанской империи. Они дают свободному приятию имя насилия и моему присоединению — название плена». Из Севильи кортесам пришлось переехать в Кадикс, как в пункт наиболее надежный по своим географическим условиям. Однако французская армия взяла Кадикс уже 28 сентября. Организатор революции генерал Риэго

сражался до конца, переезжал из города в город, был разбит, схвачен крестьянами, привезен в Мадрид и повешен. Фердинанд VII вздохнул полной грудью. Уже знакомый нам испанский историк-лизоблюд пишет по этому поводу: «Неотвратимые законы провидения свершились, и Фердинанд VII вступил в полноту своих прав».

Эти пятнадцать лет политической истории Испании (1809 — 1823) полны поучительности. Но народы, и в частности испанский, учатся медленно, тяжело и нуждаются время от времени в повторении пройденного. Нынешняя эпоха империалистской войны преподаст народам, нужно думать, незабываемые уроки. Во всяком случае все, что было, бледнеет перед тем, что есть.

Для памяти. Историк испанской революции рассказывает о политиках, которые за пять минут до победы народного движения клеймили его, как преступление и безумие, а после победы высовывались вперед. «Эти ловкие господа, — продолжает историк, — появлялись во всех последующих революциях и кричали громче всех. Испанцы называют таких ловкачей panzistas» — от слова «брюхо» (от этого же слова происходит прозвище нашего старого знакомца Санчо-Панса). Название (брюхолюбы?) трудно переводимо, но трудность тут лингвистическая, а не политическая. Самый тип вполне интернационален.

В Барселону и в Барселоне.

В Кадиксе приготовления к Рождеству в разгаре. Соблазнительные окна магазинов, у которых застаиваются босоногие чистильщики сапог. Индюшек крестьяне привозят на ослах со всех сторон. Раскормленные индюшки качаются на ослиных ребрах в особых клетушках, похожих на опрокинутые летние шляпы.

Пароход на Нью-Иорк отходит из Барселоны 25 декабря и заходит в течение нескольких дней во все восточные и южные испанские порты, в том числе и в Кадикс. Какой смысл семье приезжать в Кадикс по железной дороге, когда все мы можем сесть в Барселоне на пароход? Но для этого мне нужно попасть в Барселону. Пустят ли? Барселона — не только порт, но и центр рабочего движения. Новая серия хлопот — телеграмм, писем, телефонных переговоров с Мадридом. Мои ходы шли через голову префекта и увенчались неожиданным успехом: мадридские власти разрешили выехать в Барселону.

Префект, который из amigo сделался врагом, прислал мне через шпика счет на 17 песет 60 сантимов за телеграмму, которую он якобы давал в связи с моими хлопотами. После крушения надежд получить в знак дружбы более серьезную мзду amigo решил извлечь из этого шаткого дела хоть маленькую пользу. Я уплатил без разговоров. В Барселону выехал 20 декабря с двумя шпиками, честь-честью. Ехать через Мадрид, дорога знакомая.

21 декабря утром, в 8 часов, прибыли в Мадрид. На вокзале встретил нас одноглазый шпик. Вот не думал его снова увидеть. За ранним часом

он был трезв и не проявлял энтузиазма. Мои ахенты (кадикские) очень хотели остаться на день в Мадриде. Я согласился в надежде увидеть Депрэ. Но он уже уехал в Париж. День оказался почти ни к чему. Мадрид мокрый. Огромная кофейня битком набита не то дельцами, не то бездельниками. Знакомые улицы. Парламент. Зайти разве, поблагодарить республиканцев за запрос? Ох, испугаются. Здание кортесов с шестью коринфскими колоннами, двумя бронзовыми львами и треугольником символической скульптуры над входом, построено было в середине прошлого века. Тогда оно могло казаться внушительным, по крайней мере, в Мадриде, теперь кажется провинциальным и здесь. Новые здания банков куда импозантнее! Снова по музеям и галлереям. Снова гляжу с интересом, не чуждым удивления, зурбарановских рыцарей духа в монашеском облачении. В Академии (Alcala, 13) писанный Гойа портрет «Le prince de la Paix», знаменитого фаворита, — в шитом мундире сидит мужчина в соку, спально-вельможный, потемкинский тип. В музее del Prado портрет Фердинанда VII, писанный тем же Гойа. Гнусный и жалкий оригинал не стоил этой кисти. Бегло прохожу по музею нового искусства (Museo del Arte moderno). Кадикские шпики стучат каблуками за спиною.

Вокзал. Новый маршрут: Мадрид — Сарагосса — Барселона. Новые шпики.

Сарагосса — две «знаменитые» осады во время наполеоновских войн! Революционный генерал Палафос. Со знаменитыми городами то же, что со знаменитыми людьми: при личном свидании они разочаровывают. Плохой кофе на вокзале. А когда выйдешь на вокзальный двор в рассветных сумерках, — грязь, телеги с мешками, шум, дым из-за соседней крыши, сиплые утренние голоса, багровая полоса на небе за крестом церкви. Это — Сарагосса, т.-е. поверхностное от нее впечатление.

«Героическая Сарагосса учит нас, — читаем в старой книге, — что массы камней, какими являются наши великие города, представляют собою лучшие укрепления и могут быть защищаемы еще более убийственно». Это надо усвоить всем революционерам. «Сарагосса остается навсегда блестящей точкой в истории... Если уход из Москвы был велик на манер скифов, то защита Сарагоссы превосходит этот подвиг настолько, насколько бой превосходит в благородстве пожар и бегство, — хотя бы последние достигали иногда более значительных целей». Что обречение Москвы огню было героизмом на скифский манер, это верно. Но рассуждения о нравственном превосходстве одних методов войны над другими звучат чистейшим дон-кихотством для поколения, умудренного опытом нынешней бойни.

Степь неприютная. Пустыня. Холмы. Рыжая глина, песок, камни, кремень. Села — камень и глина на глине и камне — и все того же бурого цвета.

21-го, около 12-ти дня. Эбр очень интересен, куда живописнее Гвадалквивира. Быстро текут буроватые воды, образуя маленькие водовороты, которые сшибаются друг с другом.

Ближе и ближе к Средиземному морю. Местность оживленнее. Оливковые деревья. Огород зеленеет — 22-е декабря!

Барселона, столица Каталонии. Большой город испано-французского склада. Ницца в сочетании с фабричным адом. Много дыма и гари в одной части, много фруктов и цветов — в другой. Вынужденный визит в префектуру. Здесь меня так же бессмысленно задержали, как и в префектуре Мадрида, в самом начале этой истории. В голодном и злобном оцепенении просидел я несколько часов. И когда выяснилось, что мне нечего делать в префектуре, и меня отпустили в сопровождении двух атлетов так называемой «анархистской бригады», я, чтоб отвести душу, отправился на телеграф и послал депешу графу Романонесу: «По приезде в Барселону был задержан в префектуре три часа без возможности умыться и поесть. Об'ясните мне, чего от меня хочет ваша полиция?». Романонес, разумеется, ничего не об'яснил, да и вопрос мой имел риторический характер.

Уже знакомый нам старый дипломат Бургоен такими словами характеризует каталонцев: «Тут пахнет добычей — вот слова, которые приводят каталонца в движение. Дух торговли овладел этой нацией, не ослабляя, однако, ее упорства... Каталонец — привилегированный контрабандист Испании; все, что его фабрики не могут произвести, он покупает за границей и ввозит в свою страну под своей маркой... «Это каталонец», говорит испанец, когда хочет охарактеризовать человека, не останавливающегося ни перед какими средствами в погоне за деньгами... Каталонцы не утеряли еще воспоминания о своих старых обычаях. Призрак древней свободы живет в их головах». Каталония и сейчас остается самой предприимчивой частью Испании. Барселона — индустриальный город современного типа. В то же время Каталония и по сей день сохранила свои сепаратистские тенденции. Исторические традиции живучи не просто вследствие консерватизма человеческой психики, а потому, что, сохраняя привычную форму, они незаметно обновляют свое содержание.

Приказ о моем аресте, как оказывается, разослали сгоряча по всем городам и весям Испании. По крайней мере, у одного барселонского шпика из бригады анархистской, — т.-е. бригады для борьбы с анархистами, — я видел свою фамилию в списке разыскиваемых: он сам показывал, чтоб удостовериться, так ли. Фамилия была переврана почти до неузнаваемости.

Прибыла семья. Осматривали Барселону. Мальчики одобряют море и фрукты. Выезжаем 25-го, т.-е. в первый день Рождества.

В Америку.

Разговор с шефом анархистской бригады (он пояснил мне с достоинством: и социалистской, хотя в титуле это и не значится).

— Вы не будете, надеемся, высаживаться в испанских пристанях?

— Нет, буду: у меня там почта.

— Хорошо, хорошо, за вами будут только следить.

— Это уж ваше дело.

Но в Валенсии не выпустили. Сыщик с шарфом на шее и двое полицейских плотно встали у мостков. «Приказ — не пускать». Я вызвал шефа. Он очень почтительно, с шляпой в руках, об'яснил то же самое: приказано не пускать. Я ответил, как полагается, что уступлю только силе, и вышел на мостки, где полицейские почти ласково остановили меня. Отправил, по примеру прошлого, телеграммы: префекту Барселоны (приказ исходил от него), шефу «бригады», редакции барселонской «Солидаредад обреро» («Рабочая солидарность») и в Мадрид: министру внутренних дел, «El Liberal», «El Socialista», — протестуя против учиненного на пароходе скандала. Шеф бригады говорил мне в Барселоне: «никто на пароходе не будет знать» (о слежке). Между тем, все пассажиры заинтересовались, шушукались, следили за мной, передавали глазами друг другу, — пришлось об'яснять, в чем дело. Слово Циммервальд пошло по устам.

В Малаге повторилась та же история. Молодой сыщик, которому указал меня глазом пароходный служитель, заявил, что приказано не пускать. Я потребовал у него документ и записал фамилию — «на всякий случай». На какой, собственно, случай, сказать затрудняюсь.

На палубе, при тусклом свете лампы, не моя рук, испанский доктор смотрел глаза пассажирам третьего класса, подворачивая им веки. Одного сейчас же вернул. Трахома! Нью-Иорк не примет. Америке нужен здоровый рабочий скот.

31 декабря 1916 г. С субботы на воскресенье, в семь часов утра — между Малагой и Кадиксом — пароход внезапно остановился перед какой-то горой. Я не знал, что это, когда глядел через иллюминатор. Оказалось: Гибралтар. Гора, как гора, окруженная зданиями и гирляндами пушек. Вошли в бухту Алжезирасса. Один из пассажиров, художник-француз, человек вящшей любознательности, насчитал 65 английских военных судов. Великолепный итальянский угольщик ждал инспекции, как и мы. Подошел маленький катерок, на котором торчали три английских офицера, и босой матрос ковырял пальцем в носу, забыв о достоинстве Великобритании. Спустили веревочную лестницу, офицеры поднялись наверх, пожали руку испанскому помошнику капитана и полезли на капитанскую рубку наводить ревизию. Минут через десять, в течение которых матрос успел обуться, благополучно отбыли. Но мы оставались в алжезирасской бухте еще часа два. Пароход наш, не спуская якоря, шатался из стороны в сторону, как пьяный. С одной стороны гора, с другой — белые здания Алжезирасса. Было жуткое ощущение, что бессильно треплешься в стальных тисках. Пушки с гибралтарской скалы и военные суда замыкали нашу испанскую щепу, как клещи. За спиной в утренней дымке горы Атласа — Африка!

Монсерат, пароход наш, ужасная дрянь, — старье, малоприспособленное для плавания за океан. Но испанский флаг есть все же флаг нейтральный, значит снижает число шансов на потопление. По этой причине испанская компания берет дорого, размещает плохо, кормит того хуже.

Пароходная публика сплошь из «уставших от Европы». Без крайности сюда никто не поедет, разве что попросят.

Француз-художник, с женой, девочкой Алис и стариком отцом. Они, включая и старика, первыми откликнулись почему-то на слово Циммервальд. Молодой серб с женой и приятелем едут в Америку до конца войны. Не знают ни одного языка, кроме сербского. Три американца, два молодых, третий — поношенный — что-то среднее между «джентльменами» и проходимцами. В курительной комнате они кладут ноги на стол или по одной ноге на кресло и, испаряя алкоголь, разговаривают о Hacienda (испанское министерство финансов), пезетах, Мексике, ценах, Португалии, выражаются намеками, смеются громоподобно, но одним горлом и губами, не меняя выражения лиц. На редкость гнусное трио!

Француз, посредственный шахматист, — шахматы на пароходе в большом ходу, — но «лучший биллиардист» во Франции: зарабатывал в Париже 100 франков в день на биллиарде, — что будет в Нью-Иорке, неизвестно. Зачем же он едет туда? Неловкость во всей группе. Зачем? Зачем? Условия.. эта проклятая война... А, понимаю! Дезертир! Публика первых двух классов сразу освещается в моих глазах новым и — каким убедительным светом: это в большинстве своем патриоты, которые любят жить за счет отечества, но не согласны умирать за него. Пароход дезертиров! Отсюда их приватный интерес к... Циммервальду.

Биллиардный маэстро рассказывает головокружительные истории о биллиардных игроках. Целый особый мир страстей и карьер. Такой-то выгонял 300 франков в день. Такой-то заработал и «проел» восемь миллионов. Да, да, восемь миллионов. Испанский инженер, полиглот, подружился в Америке с русским офицером-эмигрантом, изучает русский язык, возвращается в Филадельфию. Другой инженер, еврей из России, офранцузившийся, т.-е. переменивший подданство и впитавший наиболее отравленные газы французской цивилизации, богат, глуп, груб с пароходной прислугой, — явно дезертирует из второго своего отечества. Бельгиец написал книгу о сахарном производстве и знает немного китайский язык. У него лицо пастора, но порочного. Происхождения явно фламандского, но по культуре и симпатиям — валлон. Когда не должен будет больше добывать средства к жизни, — так он рассказывает, — то займется созданием нового языка. Эсперанто его не удовлетворяет. Новый язык необходим; ни в одной нации он не находил до сих пор достаточно читателей для своих книг. Раздел Бельгии, по его словам, был бы выгоден для всех и мог бы ускорить конец войны. Несомненный дезертир. Один из пассажиров, очевидно, нежный семьянин, разливается на тему о том, что он «хотел» служить во что бы то ни стало, но жена не хотела, а теперь он испытывает угрызения совести. Тут много таких, которым жены и мамаши помешали служить, и которые испытывают угрызение совести перед обедом.

Дама-испанка, за которой, с момента ее появления на пароходе, ухаживают все незанятые джентльмены первого класса и некоторые — второго. Прислуга из Люксембурга у французской семьи, единственная вполне привлекательная человеческая фигура. Молодой грек с сигарой и перстнями. Молодой мулат с булавкой в галстуке. Испанская гувернантка с болезненной де-

вочкой. Пять-шесть попов и попиков разного возраста, один француз, потоньше, остальные, кажись, все испанцы, попроще. Ведут пропаганду среди детей. Дали старшему мальчику благочестивую картинку после того, как сыграли с ним в шашки. — «Детей полезно в пути подучить английскому языку, чтоб облегчить им первые дни в Америке». И святые отцы занимаются с детьми по святым текстам.

Труднее всего разобраться в пассажирах третьего класса. Эти лежат в тесноте, двигаются мало, мало разговаривают. ибо мало едят, — угрюмые, плывущие от одной нужды, злой и постылой, к другой, окруженной пока неизвестностью. Америка работает на воюющую Европу и нуждается в свежей рабочей силе, только без трахомы, без анархизма и других болезней. А сколько десятков тысяч испанских рабочих перешло на работы в обезлюженную Францию...

Мальчики в возбуждении:

— Знаешь, кочегар здесь очень хороший, он репюбликан. — (Вследствие непрерывных перебросок из страны в страну, из школы в школу, они говорят на некотором условном языке).

— Республиканец? Да как же вы его поняли?

— Он все нам хорошо об'яснил. Сказал А л ф о н с о, а потом так (жест прицела из ружья): паф-паф.

— Ну, значит действительно республиканец.

Мальчики тащат для кочегара малагу (сушеный виноград) и другие привлекательные вещи. Они нас знакомят. Республиканцу лет двадцать, и насчет короля у него, повидимому, взгляды вполне определенные.

Туго набитый людьми пароход открывает детям поле совсем необычных наблюдений. Они по нескольку раз в день делятся ими и нередко поражают неожиданностями мысли и языка.

«Она женатая, а со всеми делает влюбление», говорит старший про испанку, которая оказывается австриячкой, замужем за французом, и на которую они натыкаются во всех укромных углах парохода. Про француза-художника спрашивают: «Зачем у него два кольца: одно женательное, а другое какое?». Про французскую даму: «она только браслетится и кольцетится». Эти выражения могут показаться выдуманными. Но они записаны буква в букву. С католическими попами мальчики играют в шашки и поддавки, но религиозные атаки выдерживают стойко. С республиканцем в кочегарке живут душа в душу.

1 я н в а р я 1917 г. Все на пароходе друг друга поздравляли с новым годом и предаются размышлениям о новом свете по ту сторону океана.

В результате ли телеграмм из Малаги или по иным причинам, но в Кадиксе позволили с'ехать на берег. Вез молодой лодочник, оказался немец, по профессии мясник, два года в Кадиксе, пытался несколько раз тайком пробраться на пароход, предлагал до 50 пезет за укрытие, ничего не вышло. Не хотят везти в Америку немца, да и только, боятся английского дозора.

На пристани старые знакомые, на первом месте потомок гранда и почитатель энциклопедиста Маура. Последний визит Кадиксу. Приморский бульвар. Улица герцога Тетуан с окнами игорных клубов. Памятник Морету. Английская сервесериа. Библиотека, где тихо работает книжный червь. Почта, откуда послано столько писем и телеграмм.

Возвращались вечером на парусной лодке. Море разыгралось в течение получаса. Вода хлестала справа и слева, обдавала спину и заливалась в ботинки. Монсерат показался после этого близким и надежным.

На следующее утро. Покидаем через час последний испанский порт. Пароходик доставил группу новых пассажиров. На палубе его провожающие. Солнце печет прекрасно. Чиновники компании с бумагами. Шпик маячит на пристани.

Прощай, Европа!.. Но еще не совсем: испанский пароход — частица Испании, его население — частица Европы, главным образом, ее отбросы.

Новые пассажиры. Англичанин-гигант. Молодая и скорее привлекательная рожа. Широк в плечах. Ходит — шатается — в огромных туфлях. За ним увиваются два почитателя. Исповедует ницшеанские теории. Племянник Оскара Уайльда. Делает неглупые замечания. Профессия? Боксер, только под чужой фамилией. Но отчасти и французский писатель, по матери — француженке. О своих компатриотах по материнской линии отзывается презрительно: Наполеона они неспособны создать во второй раз. Их герой — возьмите Жоффра — честная посредственность. Они ударились в американизм вчерашнего дня. Америка же мечтает о Людовике XIV. Боксер прямо из Барселоны, где дрался с Джонсоном и был побит. В Кадикс ехал по железной дороге, чтоб избежать Гибралтара и английской ревизии. Этот, по крайней мере, открыто называет себя дезертиром: он создан для арены цирка, а не для поля брани.

— Видите, французский художник с фальшивой головой Иисуса? Это мой коллега. Он тоже дезертир, только у него папаша с миллионом.

Атлет знает английский, французский, немецкий, итальянский, древнегреческий языки (да как!), изучает испанский, занимается музыкой. Он очень оптимистически беседует о возможностях «работы» в Америке с французом-биллиардистом, который оказывается сверх того и чемпионом фехтования.

Впервые узнаю пароходного кюрэ в этом весельчаке, в куцом вицмундире над законченными округлостями тела, в синем форменном картузе над круглым, крепким, бритым лицом, с папироской в зубах и руками в карманах. Он производит впечатление шефа кухни, знатока в папиросах, винах и других вещах. По воскресным и праздничным дням облачается в рясу и служит мессу. Французский кюрэ со скромным ужасом глядит на его папиросу и колышащийся от хохота живот.

От Барселоны до Кадикса и от Кадикса далее, в течение первых восьми-девяти дней, погода стояла прекрасная: солнечная, ровная, по ночам душно, несмотря на открытое окно каюты. Это — в конце декабря и начале января. Испанское солнце, Гольфштрем!..

Опытные путешественники, заменяющие в дороге старожилов, пред-;азывали на послезавтра, потом на завтра резкие перемены в температуре)ды и воздуха. Но на «завтра» ин а «послезавтра» погода становилась еще 'чше вчерашней, и опытные путешественники, с ссылками на помощника ıпитана и метр-д'отеля, утверждали, что это ненормально и что Гольф-трем оказывается шире, чем ему полагалось быть... Тем не менее, матросы ıтянули по бортам верхней палубы защитную парусину, к великому недо-ıению публики. Но когда проехали Новую Землю, погода дрогнула, — ветер, ıтем дождь, корабль закачало серьезнее, кое-кто перестал обедать. дальше пошло все хуже. Монсерат трещал и захлебывался. На палубе встре-ются одиночки. Боксер качается и блещет афоризмами.

— Что такое океан? Сферическая пустота, наполненная нзбунтовав-:йся холодной соленой водой... Французский поэт назвал океан старым ıлостяком. Пусть так! Но от него мутит, тошнит и рвет.

Большинство пассажиров лежит вповалку.

Воскресенье, 13 января 1917 года. В'езжаем в Нью-Иорк. В три часа чи пробуждение. Стоим. Темно. Холодно. Ветер. Дождь. Причалил к на-:му почтовый пароход. Оборвалась веревка. Столкнулся с нашим и чуть расшибся. Крики. Светает. В порту, опустевшем за время войны, все же ого судов. Серое небо над серой зеленой водой. Сверху каплет. Тронулись)ва. Берег в тумане. Зимние деревья, портовые здания. Все предсказывает)мадину, которая пока еще скрывается в сумерках туманного утра.

На этом Испания заканчивается.

К художественному оформлению быта [1].

(Об обрядах старых и новых).

(Доклад, читанный на пленуме Государственной Академии Художественных Наук 30 ноября 1925 г.).

В. Вересаев.

Было это в 1909 году, — помнится, в декабре. В гробу лежал сухенький старичок с седой бородой, с очень высоким и крутым лбом. Гроб стоял в мрачной лютеранской часовне; стрельчатые дуги арок, стрельчатые узкие окна; сумрак вокруг. А в раскрытые двери знойно сверкала под солнцем песчаная пустыня, в далекой утренней дымке узорчато чернели финиковые пальмы, и караван верблюдов, звеня бубенцами, тянулся по дороге к городу.

Над гробом стоял черноусый немецкий пастор с наружностью доцента фармакогнозии и произносил надгробную проповедь. Он говорил:

— Возлюбленный брат! Ты, наконец, достиг того успокоения и отдыха, которого тщетно жаждал всю свою жизнь! Покинутые тобою, мы горько скорбим о себе, — но за тебя мы должны только радоваться: пришел срок, — ты сложил с усталых плеч бремя жизни и идешь упокоиться навеки на родительском лоне господа нашего бога!..

И еще больше, чем готическая часовня на фоне африканской пустыни, резали душу эти слова пастора, обращенные к тому, кто лежал в гробу. Мне казалось: старичок сейчас быстро поднимется, выскочит из гроба, стремительной своей походкой налетит на пастора и отчитает его так, как только он умел отчитывать. Докажет ему ясно, что никакого он никогда в жизни не искал покоя, что жизнь жива и прекрасна энергичною работою, что жизнь — не бремя, а крылья, творчество и радость, а если кто превращает ее в бремя, то в этом он сам виноват! И наклонялся бы к лицу опешившего пастора, и спрашивал бы:

— Ясно?.. Ясно?.. Ну, что? Ясно теперь?..

И пастор смущенно пятился бы от старичка, как пятился от него я двадцать пять лет назад. Да, верно: назад ровно двадцать пять лет, в декабре 1884 года. Я тогда был юным студентом-филологом петербургского университета. Случайно я забрел на лекцию анатомии, которую этот самый

---

[1] В порядке постановки вопроса.

удесный старичок читал юристам (для судебной медицины). Читал совсем о-особенному: он волчком носился по аудитории с разрезом височной кости, звал ее под глаза каждому студенту и старался растолковать взаимное расоложение полукружных каналов. Стремительно налетел и на меня, и пин етом указывал ход каналов, и спрашивал:

— Ясно? Ясно теперь?.. Ну, что? Ясно?..

А я краснел и старался ретироваться. И вот теперь, через двадцать ять лет, в Гелуане, под Каиром, я стоял на панихиде по этом самом стаичке: месяц назад врачи для чего-то послали его умирать в далекий Египет. Профессор Петр Францевич Лесгафт.

Лесгафт!.. Кто знал его, тот поймет: Лесгафт — и искание покоя! Лесафт — и бремя жизни!

Похоронный обряд был неправославный. Православный обряд вследтвие долгой привычки, уже перестал резать ухо и воспринимался при похоонах просто, как неизбежная формальность. Может быть, именно потому, что здесь обряд был непривычный, лютеранский, но в первый раз мне тогда почувствовалось со всею яркостью: нельзя, нельзя новых людей хоронить по-старому! Нельзя к людям, любящим жизнь, землю и работу для жизни, подходить с обрядами, видящими в жизни только «болезнь и печаль и воздыхание». Нужно хоронить их как-то по-иному, по-новому..

Но как?

Года два назад в газете «Рабочая Москва», по поводу начинавшего в то время распространяться обычая «октябрин», возгорелся спор об обрядах вообще, — допустимы ли обряды, как таковые, не питают ли они суеверия и предрассудков, не вызывают ли «мистических предрасположений» и т. п.

В основе этого спора лежало большое недоразумение. Под обрядами здесь, очевидно, мыслились обряды специально-религиозные, и исчерпывающею сущностью обряда представлялись мистическая и магическая стороны религиозного обряда. Конечно, нет спора, — многие церковные обряды носят ясно выраженный характер мистической символики. С другой стороны, немало религиозных обрядов преследуют цели чисто-магические. Похоронные обряды у самых разнообразных народов имеют целью облегчить умершему путь в загробный мир и обставить его в том мире с возможно большим комфортом; христианские похороны стараются вымолить умершему прощение его грехов; церковный брачный обряд есть «таинство», во время которого таинственным путем на брачущихся низводится благословение божие; многие обряды нашей крестьянской свадьбы имеют назначением предохранить молодых от порчи, дурного глаза и т. п. Но вовсе не это все составляет самое существо обряда. Обряд мыслим совершенно вне всяких религиозных и магических целей. В широком смысле обряд есть просто условное действие, символически отображающее наше чувство и, с другой стороны, воспитывающее нас в направлении облагораживания и углубления этого чувства. В этом смысле и наша современная жизнь, совершенно чуждая религии, вся цветет обрядами.

Солдат-новобранцев собирают всех вместе, они поднимают правые руки и дружно, в один голос, повторяют слова «присяги». В прежние времена это имело очень определенный смысл. Присяга приносилась в присутствии священника, предполагалось, что невидимо здесь присутствует сам бог, слышит клятвы и жестоко покарает того, кто решится нарушить данную присягу. Теперь, конечно, ничего такого не предполагается. Почему же просто, при приеме новобранцев, не об'яснить им, что государство пред'являет к ним такие-то и такие-то требования, ждет от них того-то и того-то? Для чего эта торжественная обстановка и все приемы, так напоминающие по своему существу присягу старинную?

Мальчики и девочки, все в одинаковых красных галстучках, встают, поднимают правые руки ладонью вперед и торжественно поют:

Мы—молодая гвардия
Рабочих и крестьян!

Для чего они встают с мест, для чего поднимают руки? Для чего у них вообще этот жест поднятия руки с чисто обрядовыми словами: «всегда готов»?

Умирает человек. В прежнее время похоронный обряд имел совершенно ясный смысл. Люди собирались к гробу умершего, чтобы помолиться за упокой его души; сам труп представлял из себя нечто таинственное и священное, как храм, в котором жила бессмертная душа человека. А «храм оставленный — все храм». Для нас, в настоящее время, живой человек есть лишь известная комбинация физиологических, химических и физических процессов. Умер человек — данная комбинация распадается, и человек, как таковой, исчезает, превращается в ничто. Остается туша гниющего мяса. Какое к ней может быть разумное отношение? Такое же, как при жизни человека — к его отбросам. Говоря словами кн. Андрея Болконского в «Войне и Мире», следует взять эту тушу за голову и за ноги и бросить в яму, чтоб она не воняла под носом. Как к отбросам, с отвращением, и относится к трупу всякая живая тварь, кроме человека. Мы же кладем это разлагающееся тело в ящик определенной формы, обтянутый красной материей, ставим у ящика почетный караул, сменяющийся через каждые десять минут (подумаешь, — нашли, что караулить!); для вящшего почета несем до могилы, кряхтя и обливаясь потом, тяжелый ящик на плечах, а сзади едут пустые дроги. Играет музыка. Для чего все это? Какой в этом смысл?

Все эти нелепые на вид условные действия наливаются смыслом, поэзией и красотой, когда мы дадим себе отчет, в чем значение обряда, и как действует он на душу человека. Обряд есть условное действие, символически отображающее наши чувства. Великое, совершенно незаменимое значение обряда заключается в том, что переполняющие нашу душу чувства он направляет в определенное русло и этим до чрезвычайности облегчает проявление наших чувств.

У людей есть необоримая потребность в торжественно-радостные и торжественно-печальные моменты своей жизни собираться вместе и в чем-то

оявлять владеющие ими чувства. Но только люди исключительной одарен-:ти, и притом совершенно особенной, импровизационной, одаренности, еют выливать теснящиеся в душе чувства в свои собственные, непосред-венно ими создаваемые формы. Большинство на это совершенно неспо-бно. Неспособно на это даже большинство художников, потому что, во-еки мнению профанов, очень мало кто из художников способен творить состоянии сильной эмоции. Вот тут-то и нужны закрепленные, твердые ряды, нужны определенные русла, в которые бы могла свободно и легко гремиться владеющая человеком скорбь или радость.

Ф. И. Буслаев замечает по поводу народных причитаний над покойни-м: «Причитания смягчают и успокаивают душевную скорбь, и тем более ичитания заученные, обычные, испокон веку идущие из рода в род; точно к же, как слезы облегчают, между тем как немая скорбь не-разимо томит сердце. Потом, уже в самых причитаниях этих, в обычных ических воплях заключается источник облегчения».

Церковь хорошо учитывала эти потребности человеческого духа, шла навстречу со своими величественными, потрясающими душу обрядами, по едством этих обрядов создавала соответственные настроения и таким обра м воспитывала души людей в нужном ей направлении. Многие из этих рядов поистине великолепны. Напр., — православная наша панихида и во-де весь чин погребения. Черные ризы, восковые свечи в руках участников, етильники у углов гроба, мерцающие сквозь кадильный дым, запах ладана воска, «во блаженном успении вечный покой», комки земли, сыплющиеся крышку гроба, «земля еси и в землю отыдеши, амо же вси человеци пой-и»... И этот гениальнейший по своей простоте и силе реквием — «Со свя-ми упокой». И согревалась, и сотрясалась застывшая в скорби душа, и из-валась в слезах и, незаметно для себя, через это даваемое ей утешение, :принимала и то основное настроение, которым пропитаны были обряды: вая жизнь, заслоненная печальною, серьезною и величественною смертью, енность и ничтожность этой земной жизни, «истинная жизнь», ждущая : там, за гробом, необходимость всегда помнить о смерти и быть готовым переходу в ту жизнь...

Memento mori, — помни о смерти!

В настоящее время у нас весь этот старый ритуал отпал, и на его месте, ли строго говорить, не осталось ровно ничего. Что такое для нас обряд? стяки, предрассудок, пережиток старого; в лучшем случае, говоря словами оцкого, — «бытовая театральность»; если и можно придавать какое-либо ачение новой обрядности, то только как средству отвлечения людей от ста-й церковной обрядности, старой «церковной театральности». Нет и отда-нного представления об огромнейшем психологическом и агитационном ачении обряда. Поэтому нет порыва, нет вдохновенного позыва к творче-у широких, покоряющих душу новых обрядов. Мы видим только вялые и брежные попытки заменить прежнее просто чем-нибудь,—первым, что по-ю под руку. И новые обряды эти поражают, убивают душу своею убогостью бездарностью.

Возьмем похороны,— типические современные гражданские похороны. Но именно типические, средние, обычные. Когда высказываешь мысль об убогости современного нашего похоронного обряда, в ответ слышишь всегда одно и то же возражение: «Что вы говорите! Разве вы не видели похорон Ленина? Может ли быть что-нибудь более величественное, более потрясающее душу?» Да, верно. Но ведь Ленин был деятель, пользовавшийся в массах совершенно невиданной в истории популярностью, душевный под'ем сотен тысяч людей, теснившихся к его гробу, являл собою нечто совершенно исключительное. С другой стороны, Ленин был главою большого государства, и естественно, что на его похороны не жалели материальных затрат. Симфония алых и черных полотнищ, лес великолепнейших пальм в Колонном зале. отборнейшие оркестры, прекраснейшие хоры, талантливейшие ораторы. Все это вместе создавало настроение, которого, конечно, никогда не забудет никто из видевших. Но все это совершенно не типично для обыкновенных, средних похорон.

Возьму другие похороны, в которых мне недавно пришлось принимать близкое участие. Умерла старая партийная работница. В широких кругах она была мало известна, но в области своей деятельности пользовалась большою любовью и совершенно исключительным уважением. В большом Красном зале Московского Комитета РКП, на Большой Дмитровке, на красном возвышении среди огромного ковра стоял гроб. По углам ковра—четыре больших пальмы, вокруг их кадок — белые хризантемы. Вечер. Яркое электричество, тишина, пустой зал. Почетный караул. Это было красиво и величественно, — эти четыре неподвижно вытянувшиеся, строгие фигуры на страже останков умершего своего товарища. Гуськом, неслышно вереницею, посетители шли вокруг гроба и выходили обратно в ту же дверь. Мы, более близкие к умершей, — ее друзья, родственники, — сидели вдоль стен зала. Вдруг тишина резко вздрогнула, с нею вздрогнули все мы: на сцене, за опущенным занавесом, заиграл духовой оркестр. Сыграл похоронный марш Шопена. Замолчал. Опять тишина. Через каждые четверть часа оркестр играл что-нибудь печальное. И когда он играл, в душе как будто начинало что-то гармонизироваться, замершая в груди печаль просилась наружу облегчающими рыданиями. Но замолкал оркестр, — и все пропадало, и оставалась прежняя давящая тяжесть. Приходили новые друзья. Остановятся перед гробом, смотрят на покойницу. Потом отойдут, сядут у стены, как мы, и сидят, и смотрят. Нет сил так сидеть, в этом бездеятельном, ни на что не отвлекаемом молчании. Чувствуется, — нужно что-то делать, нужно всем соединиться в каком-то общем, всех об'единяющем деле, в чем-то, что дало бы выход теснящему сердце горю.

Так было весь вечер, и всю ночь, и весь следующий день, и всю следующую ночь. На третий день хоронили. Вынос был назначен в одиннадцать часов. С десяти часов посторонних удалили из зала, последний час предоставлено было провести с покойницею ее друзьям и близким. И опять мы сидели в молчании, и не знали, что делать, и, не отрывая глаз, смотрели в лицо умершей. И еще сильнее чувствовалась потребность в чем-то, что

ло бы выход тому, что было в душе. Наконец, кончилось это томление. Мы плечах понесли гроб к похоронным дрогам. Двинулись к кладбищу. Играл кестр. Здесь это было хорошо и давало настроение. Пришли на кладбище. ставили гроб на краю могилы. И начались — речи. Обычное похоронное алебное пустословие. И тупо, пусто становилось в голове от этих речей. роду было много, — все кругом чернело народом. И каждая речь как дто отшибала от могилы по волне; кончалась речь, — и люди толпами тремлялись прочь. Не могли достоять полчаса, — а ведь шли, не отставали, ю далекую дорогу! После последней речи у могилы осталась небольшая чка ближайших друзей...

А ведь тут все-таки можно было почерпнуть богатый материал для чей из деятельности покойной; по дружным отзывам всех, ее знавших, а отличалась исключительным душевным изяществом и благородством. тут похороны все-таки были достаточно богатые. Дроги двигались медленно, пряжены они были в две пары лошадей, оркестр был большой и хороший. возьмите вы похороны уже самых рядовых, простых граждан: какое тут проходимое убожество, какая серость и трезвость обряда! И какая недоенная растерянность присутствующих! Приходят люди — и решительно не ают, что им делать. Чувство, которое привело их к гробу, остается неоформленным, путей для его проявления не дается. В лучшем случае — плохенький, полулюбительский оркестр и опять — речи. Но что же можно сказать кого, что действительно бы потрясло сердца, о рядовом враче, транс ртнике или металлисте? Будет набор напыщенных и преувеличенных по ал, которые будут только резать ухо своею фальшивостью. И что может казать голая музыка, даже самая хорошая? Разве в силах она одна выраіть всю ту сложность настроений, которую переживает участник похорон? азумеется, если он на похоронах не в качестве равнодушного зеваки.

Мне недавно рассказывал один крупный исследователь в области рус кой литературы. У него умер ребенок. Прежние, церковные, обряды для него ыли совершенно неприемлемы. Новые оставили такую зияющую пустоту душе, о которой он и теперь вспоминает с болью. Пришли, взяли гробик, твезли на кладбище, закопали... А бесцерковные похороны в деревне — со ем так же: взяли, отвезли, закопали; разве вот еще только от местной ейки скажет убогую какую-нибудь речь местный оратор. И уж совсем беспомощном положении оказываются люди, когда собираются помянуть еловека, умершего где-нибудь в другом месте, в Крыму или Сибири, или иершего, скажем, год назад. «Гражданская панихида»: опять, конечно, неэбежный похоронный марш Шопена. И опять речи. И больше ничего нет.

Очень характерно отношение к обрядам Льва Толстого. Известно, ка им всегда ярым ненавистником всяких условностей и всякой обрядности был олстой. Вспомните его убийственно-едкие описания церковных обрядов «Воскресении», описания оперы в «Войне и Мире» и в статье «Что такое кусство», вспомните, как Тургенев приехал приглашать его в 1880 году открытие памятника Пушкину в Москве, а Толстой ему ответил: «что я м буду делать? Все это одна комедия». И тот же Толстой пишет Фету

в 1872 году: «Я недавно приехал к брату, а у него умер ребенок и хоронят. Пришли попы, и розовый гробик, и все, что следует. Мы с братом невольно выразили друг другу почти отвращение к обрядности. А потом я подумал: ну, а что бы брат сделал, чтобы вынести, наконец, из дома разлагающееся тело ребенка? Как вообще прилично кончить дело? Лучше нельзя (я, по крайней мере, не придумал), как с панихидой, ладаном и т. д.». Это говорит человек, который по поводу религиозных обрядов высказался так: «я готов скорее отдать трупы моих детей, всех моих близких на растерзание голодным собакам, чем призвать каких-то особенных людей для совершения над их телами религиозного обряда». Вы видите: с одной стороны, — душа совершенно не принимает старых, религиозных обрядов, с другой стороны, — чувствуется, что невозможно совсем без всего, что что-то настоятельно нужно.

Что же нужно?

Нужно нечто разнообразное, сложное и величественное. Нужен *ритуал*, нужно определенное «действо». Нужны торжественные, величавые гимны, в которых художественно-закрепленные слова были бы соединены с волнующею музыкою. Но гимны новые, — не прежние, говорившие о тлене и печали. Как поет зачинатель хора в бетховенской девятой симфонии:

O, Freunde, nicht diese Töne!
Sondern lasst uns angenehmere anstimmen
Und freudenvollere!
(О, други, не эти звуки!
Но давайте, более приятные зачнем
И более радостные!)

Гимны эти должны говорить о великой серьезности смерти, об еще более великой серьезности жизни, о том, чему учит нас смерть. Чего-то мы не прощаем человеку, пока он жив. Только когда он умрет, наши глаза как будто раскрываются, и мы с удивлением говорим себе: «ведь я работал рядом с ним, я так часто видел его, — но почему ж я так мало ценил то, чем был он хорош?». Занятые повседневностью, мы и жизни кругом как будто не замечаем и не ценим. Придет смерть, — и как будто пленка какая-то сходит с глаз, и вдруг мы начинаем чувствовать, как милы и прекрасны люди вокруг, как прекрасна и интересна жизнь, как сладко творить и работать для нее... Вот чему может учить людей смерть, и вот о чем должны говорить новые похоронные гимны:

Memento vivere, — помни о жизни!

Но нужно, конечно, иметь в виду не равнодушных зевак, холодно глазеющих на обряд, и не людей, пришедших отдать покойнику холодный последний долг вежливости. Нужно иметь в виду близких друзей, товарищей умершего. Нужно чутко считаться с их опечаленною, отчаивающеюся душою. Душа отенена смертью, в ней черная скорбь, всякое напоминание о жизни звучит кощунством и оскорблением ее скорби. Вот с этим к ней и нужно подходит: да, скорбь, скорбь без конца и без границ, никакого впереди просвета, полное крушение жизни, полное ее опровержение... Что вся жизнь без

того, кто тут лежит неподвижно? С этим и должен подойти к душе гимн; именно своим сочувствием, скорбным своим единогласием он должен зазвучать в одно со скорбящею душою, гармонизировать царящий в ней хаос горя и отчаяния, дать ему излиться наружу горячими, облегчающими слезами, — вызвать тот catharsis, о котором говорит Аристотель в применении к древне-эллинской трагедии. Это делает, напр., в православной панихиде молитва «Со святыми упокой». «Надгробное рыдание творяще днесь...» — чудодейственное влияние оказывают эти странно-простые слова, звуча в рыдающих дискантах и тенорах хора, поддерживаемых глухим ропотом басов и октав. От простых этих слов — «надгробное рыдание» — тает в душе немой лед отчаяния и горькими, сладко-облегчающими рыданиями прорывается наружу. Это самое должен сделать и новый гимн — заставить громко зазвучать притихшее в душе отчаяние. И тогда уже, — нежно, осторожно, — он подойдет с другим, с новым, и напомнит рыдающим, чтоб они не давали смерти ослепить себя, чтоб не предавали жизни, и закончит величавою, торжественною песнью во славу жизни.

Что еще? Должны быть девушки с зелеными ветками, в белых одеждах, — символ слиянно-цветной, всецветной жизни на фоне черного траурного крепа смерти. Может быть, и курения нужны,—нечего смущаться тем, что их до сих пор употребляли в храмах самых разнообразных религий: именно эта упорная всеобщность употребления указывает, что и запахи могут играть роль в вызывании определенных настроений. Цветы, конечно, и, конечно, цветы без запаха: обонятельные ассоциации — наиболее прочные; можно ладан или какое другое курение прочно ассоциировать с представлением о смерти, но совсем не нужно, чтобы о смерти нам напоминали ландыши или розы.

И нужно, — это уже обязательно нужно, — чтобы было известное драматическое «действо», типа древне-эллинской трагедии, с перекличкою полухоров, с монологами корифеев. И все это должно быть гениально-просто, очень легко для исполнения, — и музыка, и слова, и весь погребальный чин, чтобы его без большого труда и подготовки могли исполнять сами участники похорон. Это тоже очень важно. Мы слишком оторвались от первоначальных волевых, действенных истоков искусства, слишком во всем привыкли к роли зрителя. Из пассивного наблюдателя присутствующий на похоронах должен стать активным их участником. Раньше со всеми обрядами так и бывало. У диких в похоронных плясках участвовали все присутствующие; в отправлении свадебных обрядов на крестьянских наших свадьбах тоже принимают участие все присутствующие. А нам это так чуждо, мы так отвыкли от всякого рода коллективных действий, что вот какой возможен анекдот. Этот доклад я читал летом в санатории Цекубу, в Гаспре. Один молодой пролетарский поэт, возражая мне, говорил:

— Вот, у вас тут какие-то девушки в белых платьях. Что ж вы этих девушек — в бюро похоронных процессий будете заказывать, что ли?

Девицы с опухшими лицами и пьяными глазами, типа факельщиков, иначе он не мог себе представить, откуда взять этих девушек. Северный кре-

стьянин, до сих пор еще отправляющий старинные свадебные обряды, конечно, не вздумает разыскивать какого-нибудь свадебного бюро, чтобы там «заказать» участников свадебного обряда: вся масса гостей составляет хор, и сама же эта масса выделяет из себя тысяцкого, дружков, подгалашниц и прочих участников свадебного «действа». И на все это находится достаточное количество исполнителей в самых глухих и небольших деревушках.

Очень интересный, глубоко задуманный обряд гражданской панихиды дал Гете в своем «Вильгельме Мейстере», в сцене отпевания прелестного подростка Миньоны. Обстановка тут немного оперная, на гимнах — некоторый налет совершенно нам уже чуждой сентиментальности и мистичности, но в основном настроении и планировке всей панихиды много такого, чему и нам следовало бы поучиться. Ясно, между прочим, какого типа возможна перекличка полухоров. Странным образом, эта сцена из гетевского романа (в общем, нужно сознаться, довольно-таки скучного) очень мало кому известна. Вот она в сокращении:

...Все вошли в «Залу Прошлого». Она была освещена и изукрашена самым оригинальным образом. Небесно-голубые ковры обтягивали стены почти сверху донизу, так что виднелись только цоколи и фризы. В глубине залы, против дверей, на великолепном саркофаге возвышалось мраморное изваяние почтенного мужа, облокотившегося о подушку. Он держал перед собою свиток и, казалось, смотрел в него с тихим вниманием. Свиток был расположен так, что всякий легко мог прочесть слова, начертанные на нем. На свитке стояло:

Memento vivere!

По углам залы в четырех канделябрах горели большие восковые факелы. Соответственно им, четыре других факела горели в меньших канделябрах, окружавших другой саркофаг в середине залы. Возле него стояло четыре мальчика, одетых в одежды небесно-голубого цвета с серебром, и широкими опахалами из страусовых перьев обмахивали тело, покоившееся в саркофаге. Все сели, и раздалось прекрасное пение двух невидимых хоров.

Они вопрошали:

— Кого приносите вы к нам в тихую обитель?

Четверо детей ответили милыми голосами:

— Усталую подругу приносим мы к вам.

Хор. — Первенец юности в нашем кругу, приветствуем тебя! Со скорбью приветствуем! Пусть не идет по твоим следам ни один отрок, ни одна девушка! Пусть только отжившая старость охотно и спокойно приближается к тихому пристанищу, и да покоится в сообществе с нею милое, милое дитя!

Мальчики. — Ах, как неохотно принесли мы ее сюда! И ей суждено здесь остаться! Останемся с нею и будем плакать, плакать на ее могиле!

Хор. — Смотрите на нее глазами духа! Да живет в вас творящая сила и да поддерживает самое прекрасное и самое высокое, что есть на земле, — жизнь!

Мальчики. — Но горе, горе! Мы не находим здесь нашей подруги! Она уже не будет гулять в садах, не будет собирать луговых цветов Будем плакать, мы оставляем ее здесь! Будем плакать и останемся с нею!

Хор. — Дети, возвращайтесь в жизнь! Пусть осушит ваши слезы свежий ветерок, играющий над успокоившимися водами. Уходите из ночи! День, и радость, и стойкость — жребий живого.

Мальчики. — Встанем же, возвратимся назад в жизнь! Пусть день даст нам работу и радость, пока вечер не принесет нам покоя, и ночной сон не освежит нас.

Хор. — Дети, спешите назад в жизнь! В чистой одежде красоты да встретит вас любовь с небесным взором и с венцом бессмертия.

Мальчики удалились. Четверо юношей, одетых одинаково с мальчиками, выступили из-за ковров, накрыли гроб тяжелою, прекрасно украшенною крышкою и одновременно начали свою песнь:

Юноши. — Тщательно схоронено здесь сокровище, прекрасный образ прошлого. Здесь под мрамором покоится оно, недоступное тлению. Также и в сердце вашем осталось оно жить. Идите, идите обратно в жизнь! И возьмите с собою отсюда священную серьезность. Ибо только она, священная серьезность, обращает жизнь в вечность.

Я понимаю, какие на все это будут возражения. Скажут: что за комедия! Кто из серьезных людей станет отправлять эти театральные обряды и участвовать в этих похоронных «действах»? Перед глубокою серьезностью смерти это будет производить впечатление какого-то кощунственного шутовства, — и тем более кощунственного, чем серьезнее оно будет исполняться. Очень возможно, что ***в первое время,*** пока люди не освоятся с этими обрядами, они от них будут получать именно такое впечатление. Но при первом знакомстве всякий обряд, всякое условное действие производят странное впечатление. Стоит поглядеть вокруг наивно-трезвыми, приметливыми и непонимающими глазами ребенка или Льва Толстого, — и все окружающее превращается в одну сплошную нелепость самого смехотворного свойства. Встретились два человека, вложили кисти правых своих рук одну в другую сжали их и опять отняли руки. Или: бросились, обняли друг друга руками, прижались ртами, сжали губы, потом с чмоканьем их разомкнули. Смотрят на театральное представление, слушают оратора — и вдруг начинают ладонями бить одною об другую, и чем громче бьют, тем довольнее. Разработанный похоронный обряд — комедия? Почему же не комедия все эти почетные караулы, музыка над гробом, торжественные процессии, траурные гудки, преклонение знамен?

Есть люди, — сравнительно их не так много, — которым глубоко чужды и неприятны какие-либо обряды, какие-либо организованные, закреплен-

ные формы для выражения их чувства. Должен сознаться, — я сам как раз принадлежу к таким людям. Я неохотно иду на похороны, — не потому, чтобы мне был неприятен вид покойника, а просто потому, что я решительно не понимаю, что там делать; мне всегда немножко смешно и очень стыдно стоять в почетном карауле; я никогда не нацепляю на себя никаких траурных или красных повязок, никаких значков; я горячо любил моего умершего отца, но после похорон ни разу не был на его могиле и не мог бы ее отыскать; во время оно мы с женою постарались повенчаться так, чтоб об этом никто не знал. Я не люблю никаких празднеств и торжеств.

Но, глядя вокруг, я не могу не признать, что люди, подобные мне, составляют значительное меньшинство, представляют исключение, — и навряд ли радостное. У большинства людей очень глубока вполне законная потребность уярчать и украшать жизнь, особенно, значительные ее моменты, величественными и торжественными обрядами. Посмотрите, например. Церковь дала свои обряды, свой ритуал для похорон, для свадьбы. Но народное чувство не довольствуется даже этими, казалось бы, все охватывающими обрядами, и дополняет их, расширяет, углубляет, — напр., ритуальными причитаниями над покойником или, еще показательнее, всею сложною, пышною и разнообразною символикою свадебных обрядов; церковный акт венчания играет в этих обрядах только роль маленькой точки-центра, а иногда даже и такой роли не играет.

И вот тут опять, в других торжественных актах, отмечающих жизнь человека, — при свадьбе, при рождении ребенка, — в настоящее время та же беспомощность, то же удручающее убожество, пришедшее на смену умершей для современного сознания былой красоте и торжественности.

Вот, напр., описание обряда «красной свадьбы» в корреспонденции из Кинешмы, помещенной в газете «Правда» (1925, № 4/2935):

> 26 декабря 1924 года в клубе «Кожевник» при кинешемском кожзаводе состоялась «красная свадьба». Небольшой клуб ярко освещен. Большой стол, покрытый красною скатертью. За столом сидят молодые, предвик, делопроизводитель отдела Записи Актов Гражданского Состояния, в стороне члены ячеек. Прямо перед публикой портрет Ильича. Наконец, красная свадьба открыта. «Интернационал». Зрители напирают. Трудно разобрать приветствия различных организаций, поздравляющих молодых. Выделяются слова одного из товарищей:
>
> — Вы показываете путь другим беспартийным. Я уверен, что не за горами время, когда люди будут счастливы и без попов.
>
> Раздаются аплодисменты. Молодым, как застрельщикам нового быта, подносят в подарок две книги: 1) История РКП(б) Зиновьева и 2) Речи и статьи В. И. Ленина.
>
> В ответном слове «жених», т. Воробьев, говорит:
>
> — Мы поняли поповский дурман... Мы не пожелали итти в церковь... Мы решили лучше итти вот в этот рабочий клуб...

Снова долго несмолкаемые аплодисменты.

Дальше доклад о новом быте. Затем производится запись. Опять речи... «Интернационал».

Корреспондент с большим одушевлением описывает свадьбу, рассказывает об энтузиазме и возбуждении, какое вызвала в присутствующих эта свадьба. И я охотно верю ему. Как первая в данной местности бесцерковная свадьба, как первый в данном отношении вызывающе-революционный акт, она должна была, конечно, возбудить восторг в одних и негодование в других. Но вот представьте себе: десятая такая свадьба, сотая, пятисотая... Давно уже выдохлась вся революционность акта, давно уже бесцерковная свадьба стала обычнейшим бытовым явлением, которое само по себе, голою своею наличностью, совершенно уже не в состоянии вызвать восторга. И останется все то же? «Заседание», приветствия организаций, которые, как всегда, трудно разобрать, (да и лучше не разбирать!), — и речи, «опять речи»?

Какая скука! Какая серая, трезвая скука!

А уж казалось бы, — тут ли бы не развернуться самому веселому, самому опьяняюще-радостному и буйному творчеству, тут ли бы не засверкать ослепительному празднику молодости, красоты, содружества, ярких надежд, смотрения вперед! Во все времена, у всех народов, свадьба была веселым и пышным празднеством. И тут не то, что при похоронах: обряд, ритуал, «действо» с самого начала никого бы уж не оскорбляли, и все охотно, незаметно даже для самих себя, втягивались бы в радостное коллективное действо, которое бы в одном чувстве об'единило всех присутствующих.

И сколько в эти новые обряды можно вложить нового, глубоко воспитывающего и высоко поднимающего душу!

В церковном обряде:

Жена да боится своего мужа!

В крестьянской свадьбе:

Уж одна была у меня коса,
Да две волюшки,
Две волюшки, и обе вольные;
Хоть две у меня будет косы,
Да одна волюшка,
Одна волюшка, и та невольная.

А теперь: товарищи, соединяющиеся на свободную совместную жизнь и работу. Не нужно колец на пальцы, они — звенья цепи, которою раньше сковывали мужа и жену. Нечего невесте плакать и голосить: не на рабство она теперь идет, из которого нет выхода. И пусть оба помнят: их союз—свободный союз, ценный и живой лишь до тех пор, пока ни с одной из сторон нет принуждения или самопринуждения. Кончилось чувство, нет его больше, — и не обманывай своего товарища, скажи ему прямо; дружески пожмите друг другу

руки и разойдитесь. Но пусть также помнят сходящиеся в браке: сходятся они не на баловство, не на приятное удовольствие, а на радостное и серьезное дело жизни. И еще одно должно быть: помните, жених и невеста, что вы несете большую ответственность перед вашими будущими детьми. Не зачинайте их, когда вы пьяны, когда вы злы и раздражены, когда не излечились от болезней, которые тяжелым грузом лягут на ваших детей.

И пусть все это говорится не в вялых и обыденных речах ораторов, — пусть это звучит в торжественных ритуальных обращениях ведущего свадебный обряд, в величественных гимнах хора, пусть все будет выражено в закрепленных, художественно-ярких, врезывающихся в мозг ритуальных словах. Вот это будет настоящая пропаганда нового быта и новых отношений, куда подейcтвительнее всех нудных речей и докладов о новом быте. Вы только постарайтесь представить себе, что такой обряд может сделать, напр., в деревне.

Интересное наблюдение мне пришлось недавно слышать от наших фольклористов-этнографов О. Э. Озаровской и Б. М. Соколова. Оба они, независимо один от другого, отмечают следующее: в северо-русских деревнях, где еще до сих пор кое-где процветают во всей пышности старинные свадебные обряды, гораздо более прочными оказываются браки, проведенные через торжественный свадебный ритуал, чем браки, заключенные «самоходкой» или «самокруткой», — путем простой регистрации. И это вполне понятно: регистрация является актом слишком простым, слишком мало внушительным, слишком мало говорящим о серьезности и важности свершаемого. Что легко связать, то так же легко и развязать. И если жениться—так же просто, как выпить бутылку пива, то и разжениться — не менее просто, чем выбросить выпитую бутылку за окно. Допустимо ли, желательно ли поощрять такое легкое отношение к такому серьезному делу жизни? На необходимость хоть какого-нибудь свадебного ритуала указывалось и многочисленными делегатками с мест на недавней сессии ВЦИК'а при обсуждении кодекса законов о браке, семье и опеке. Делегатки заявляли:

— В деревне привыкли к обрядам, и без какого-либо обряда свадьба не имеет того значения; а если окажутся свидетели, хотя бы дружки или шафера, едущие с невестой и женихом в волость, то это уже имеет значение, и большое количество населения будет ездить регистрироваться именно при таких свидетелях в волисполком, а не в церковь. («Известия», 1925, № 240, 20 окт.)

Видите, как скромно! Пусть хоть шафера будут или дружки, которые бы сопровождали молодых в отдел записи, — все-таки хоть какой-нибудь будет намек на обряд...

Наконец, еще торжество, — встреча нового гражданина нашего мира. И здесь — то же убожество, та же вялость фантазии, та же серость и бездарность обряда. Вот газетное описание «октябрин» («Известия» от 13 ноября 1924 г., № 259):

В переднем углу клуба отряд пионеров с алым стягом поет под негромкую дробь барабана:

Мы — молодая гвардия
Рабочих и крестьян...

— Товарищи-пионеры, предлагаю вам отправиться за матерью и пригласить сюда, — об'являет председатель.

Идут пионеры с барабанным боем и возвращаются с матерью, которая несет на руках ребенка. Публика аплодирует, кричит «ура!». Когда все вошли в клуб, молодая мать заявляет:

— Ребенок принадлежит мне только физически. Для духовного воспитания передаю его обществу.

Аплодисменты. Председатель берет ребенка на руки, пионеры развевают над ним полотнища своего знамени.

— Мы, пионеры, даем клятву, что поможем новому члену пройти все три школы: пионерскую, комсомольскую и РКП и стать честным гражданином. С честью мы принимаем новорожденную девочку в свой отряд.

Председатель зачитывает официальную грамоту, данную новорожденной гражданке от жилищного товарищества:

«В день седьмой годовщины Октября правление и трудящиеся дома торжественно принимают в члены своего коллектива новорожденную и нарекают ее именем Майя, в честь международного пролетарского праздника 1 ·ая».

Музыка. Крики «ура!». Аплодисменты.

Сан'ячейка дома зачитывает и преподносит матери вторую грамоту о принятии шефства над ребенком. Новой гражданке подносится портрет Розы Люксембург, а матери жалованные грамоты и книга по материнству.

Об этом опять-таки можно сказать то самое, что о гражданской на- і свадьбе: в такой трезвой, уныло-серой форме обряд может давать хоть ое-нибудь удовлетворение лишь пока он является новым, необычным, пер- ; шагом в отрицании церковного обряда крестин. Но что такой обряд жет дать, когда он станет обычным? Кто станет аплодировать матери за что она не «крестит» своего ребенка? Какая цена будет всем этим гра- ам, когда они будут выдаваться каждому новорожденному гражданину?

А между тем и здесь опять, — сколько здесь простора для яркого, творкого вмешательства! Конечно, не для непонимающего младенца этот об- , а для родителей и всех окружающих. Прежние родители с самого начала ходили к ребенку, как к своей собственности, они имели очень высокое дставление о своих правах и никакого представления — о своих обязантях. А теперь: можно бы представить себе хор детей, представительующих интересы только что явившегося на свет их товарища, вопросы, орые этот хор, в чисто-ритуальном порядке, задает родителям, и на ко-

торые родители должны давать такие же ритуальные ответы. И только как бы удостоверившись, что юный их товарищ попадает в надежные руки, дети вручают его родителям. И еще, — так же, как в свадебном обряде: нечего бояться введения в ритуал и гигиены. Пусть те же дети берут с родителей обещание не держать младенца в спертом воздухе, не бояться открытых форточек, не совать в рот ребенку сосок с жеваным хлебом. И пусть торжественные гимны звучат, говорящие о «верности земле и ее смыслу», о верховной святости труда, о сверкающем будущем, за которое нужно бороться и для которого нужно работать.

И везде, во всех обрядах, — чтобы вдохновенно звучал призыв к жизни и к творчеству для жизни, к серьезному, не шуточному отношению к ней, призыв к борьбе, к труду, к подвигу и к радости.

Потребность в обряде у человека огромна. Стоит оглядеться вокруг, — и везде мы находим подтверждение этому. В известной брошюре Л. Д. Троцкого «Вопросы быта» приведен такой рассказ агитатора-массовика: «На этой неделе неожиданно умер один комсомолец. Отец наставил вокруг него крестов и хотел хоронить в церкви. Но тут закричали в ячейке, пришли комсомольцы, а отец говорит: «Сам поп в облачении будет кадить, а вы мне что вместо этого предложите?». Комсомольцы отвечают: «Мы дадим музыку».—«Ну, если музыку, значит, гражданские похороны. Я согласен».

А вот случай, недавно бывший в Москве. Няня-сиделка в одном из московских лечебных заведений, коммунистка сама и жена коммуниста, родила ребенка. Обращается в ячейку, просит устроить октябрины. В ячейке ответили: — «Вы — партийная, ваш муж — партийный, — какие тут октябрины? Октябрины устраиваются для беспартийных, для пропаганды». Огорченная, ушла. Через полгода обращается к одной моей знакомой, старой партийной работнице, с просьбой, чтоб она походатайствовала в ячейке,—нельзя ли ей все-таки устроить над своим ребенком октябрины. Дело вот в чем. Она и муж ее примирились с тем, что октябрин не будет, — нельзя, так что ж делать! Но у нее есть тетка, она ходит за ребенком, очень к нему привязалась. И тетка эта поставила решительнейшее требование: пусть устроят либо крестины, либо октябрины, не то она уедет в деревню или потихоньку окрестит ребенка сама. «Что же это? Ни крещеный, ни октябреный. Так какой-то — неприпечатанный!». Но ячейка осталась твердокаменной. Ответила: нельзя! А если окрестит без согласия родителей, — будет привлечена к судебной ответственности.

На первый взгляд в поведении этой тетки или отца умершего комсомольца можно усмотреть величайшую беспринципность, безустойность. Веруя, — как можно мириться с гражданским обрядом? Не веруя, — как можно мириться с церковным? Но проявилась тут вовсе не беспринципность, тут в самом чистом, в самом наглядном виде обнаружилась великая потребность человека «припечатывать» обрядом торжественные моменты своей жизни. Тот ли, другой ли обряд, — все равно. Но дайте обряд!

А раз нет обряда, раз он изгнан из обихода, — ну, как-нибудь иначе, а надо же отметить редкий, радостный день. И вот — выступает на авансцену вечный, неизменный, всегда несущий с собою радость спутник, — вино. В той же книжке Троцкого приводятся показания агитаторов: «Очень часто молодежь, партийная и беспартийная, не венчается в церкви, но остальная обрядность, как пляски и самогон, обязательна. Что касается крестин, то некоторые не крестят, но тоже пирушку устраивают». Другой агитатор сообщает: «браки отличаются тем, что, когда женятся, то обращаются в кассу взаимопомощи с тем, чтобы выдали 300 — 900 руб. Спрашиваешь: «зачем тебе нужно?». Отвечают: «да как же, надо поесть в этот день!». Ну, конечно, не только поесть... И так все в один голос: пирушка, пирушка, пирушка...

Неужели же невозможно дать человеку что-нибудь более прекрасное, более поднимающее дух и более радостное, чем самогон и сорокаградусная? И неужели здесь ничего неспособно сделать искусство? Искусство украшает площади и улицы памятниками, дворцами труда, вокзалами, — неужели же недостойно его постараться внести красоту в саму жизнь человека? Обо всем этом следовало бы серьезно подумать поэтам, композиторам, режиссерам.

Возражают: обряды создаются постепенно, они органически вырастают из глубины народной жизни. Если будет новая обрядность, если она, действительно, нужна, то жизнь родит ее без помощи «спецов», творцы обрядов придут из гущи самой жизни. Странное представление о спецах! Если представить себе спеца обросшим плесенью, оторванным от жизни чиновником, с холодными, незагорающимися глазами принимающим заказ на создание похоронного или свадебного обряда, то, конечно, из этого ничего не выйдет. Но я представляю себе новых Пушкиных, Скрябиных, Станиславских, загорающихся желанием создать новые, грандиозные обряды, просветляющие и поднимающие жизнь на сверкающую высоту. Почему они этого не могли бы сделать? И что это за фантастическое представление о постепенном творчестве из кусочков, будто бы характерном для коллективного творчества! Один мужичок сочинил один стих или музыкальную фразу, его сосед — другой стих, третий мужичок из соседней деревни — третий, — и вот готова народная песня. И слова песни, и песни, и «действа» творятся теми же Пушкиными, Скрябиными и Станиславскими, только неизвестными нам по именам. И становятся они всенародными не потому, что сочинены по словцу и по нотке отдельными представителями массы, а потому, что соответствуют запросам народной массы.

Во время обсуждения этого доклада на пленуме Академии Художественных Наук выступил один вузовец-комсомолец. Он заявил:

— Обряды, это — ветхозаветная вещь, все их надо выбросить, и старые, и новые. На что они мне? Я весь горю, — и никаких мне не нужно обрядов, чтобы подогревать этот огонь! Если, когда мы будем жениться, у меня с женою заведется лишний рубль, мы не свадьбу станем играть, а лучше пойдем в кинематограф или пожертвуем этот рубль на ясли, чтоб, когда у нас будут дети, они не мешали нашей общественной работе. Обряды, это — воз-

вращение к старому, свидетельство, что революционный пафос у многих начинает выдыхаться.

Подобные речи часто приходится слышать. В них много молодости настроения, много веры в себя и задора, — но очень также много глубочайшего консерватизма, много довольства тем, что есть. И полное отсутствие какой-либо художественной фантазии, полное неумение представить себе, как м о г л о б ы быть иначе. И непонимание того, что сами же эти отрицатели обрядов постоянно творят обряды, того не зная. Комсомолец, с таким азартом провозглашавший ветхозаветность всякого обряда, с полною, вероятно, готовностью будет нести почетный караул у гроба товарища или любимого своего вождя, не подозревая, что это чистейший обряд. И он много сил положит на то, чтобы достойно организовать первомайскую манифестацию, не зная, что работает опять-таки над обрядом.

Во время Великой Французской Революции, в 1792 году, в Страсбурге, перед уходом из города революционной рейнской армии, мэр города Дитрих устроил у себя вечер. На этом вечере он предложил присутствующим подумать о создании революционного марша для волонтеров. Если бы там присутствовал мой комсомолец, он, вероятно, ответил бы мэру:

— Зачем эти всякие марши? Они были нужны для прежних королевских войск, набранных из-под палки. Мы, волонтеры революционной армии, горим таким огнем, что нам не нужно его подогревать. Мы и без марша одушевленно пойдем и на баррикады, и под картечь роялистов и пруссаков. Ваше желание маршей говорит о том, что революционный ваш пыл, гражданин мэр, угасает.

К счастью, призыв Дитриха слышал не наш радикальный комсомолец, а человек с художественным огнем в душе, молодой революционный офицер Руже-де-л'Иль. Он не пожал на этот призыв плечами, он вдохновился им и в ту же ночь сочинил — марсельезу. Нигде, ни в чем так ярко не отразился весь грозный пыл и пафос Великой Французской Революции, как в этом марше Руже-де-л'Иля. В солдатах революции марсельеза пробуждала такое бодрое, боевое настроение, что многие генералы приписывали честь победы этому гимну. И целый ряд позднейших французских поколений, когда по стране проносился клич революции, шел на баррикады с тем же гимном на устах:

Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons!
(К оружию, граждане! Стройтесь в батальоны!)

Цель этого моего доклада не в том, чтобы убедить многочисленных наших радикальных рутинеров в нужности и желанности новых, революционных обрядов. Это, думается мне, бесполезно. Моя цель — убедить художников, что обряд сам по себе вовсе не есть нечто «ветхозаветное», что он — только средство, через которое можно выражать самые разнообразные настроения, и что создание новых обрядов — задача грандиозная, на которую стоит потратить свои силы. И если найдутся такие художники, если они сумеют создать что-нибудь достойное, — то умолкнут и все консерваторы, и

с одушевлением пойдут навстречу, и скоро не в состоянии даже будут понять, как можно было возражать против таких обрядов, как мы не можем понять, как можно было бы возражать против марсельезы.

Повторяю: существо обряда — не в мистике, не в магии, не в «бытовой театральности». Главнейшее значение его в том, что он, с одной стороны, дает людям готовые, художественно-закрепленные русла для проявления теснящихся в душе чувств, — с другой же стороны организует сами эти чувства, направляет, просветляет и углубляет их. Огромное действенное значение обряда великолепно учитывала церковь. Следовало бы учесть его и новой общественности. И представьте себе, как бы это было прекрасно, как бы это всех об'единяло и поднимало, если бы, вместо разных для каждой религии, в большинстве жизнеотрицательных церковных обрядов, — по всему миру, — в России, Германии, Англии, Китае, Индии, на Сандвичевых островах, везде были бы одни и те же светлые, утверждающие жизнь, полные веры в будущее обряды, такие же для всех общие, как клич: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Постскриптум. Прошу читателей, — особенно, стоящих близко к жизни масс, — поделиться со мною своими соображениями по поводу мыслей, высказанных в этой статье. Мой адрес: Москва. Смоленский рынок. Шубинский пер., 2, кв. 14.

К дискуссии о проекте Семейного кодекса.

Ф. И. Вольфсон.

I.

Проект Семейного кодекса вызвал чрезвычайно обостренное внимание советского общественного мнения.

Это внимание явилось откликом на постановление ВЦИК РСФСР, который, обсудив проект на последней сиссии, не утвердил его окончательно, а принял его лишь за основу, считая необходимым, чтоб он был всесторонне обсужден на местах.

Сессия ВЦИК не удовлетворилась тем, что проект был обсужден на губисполкомах, на исполкомах уездных городов.

ВЦИК счел необходимым, чтоб проект был обсужден на самых низах наших государственных и общественных организаций, на широких рабочих собраниях, на волисполкомах, сельсоветах, на сельских сходах, в избах-читальнях.

И действительно, начиная с октября месяца, с момента последней сессии ВЦИК, этот вопрос почти не сходит с повестки дня рабочих и крестьянских собраний, дебатируется на страницах прессы, составляет содержание многочисленных писем, с которыми известные и неизвестные лица обращаются в редакции наших газет, в президиум ВЦИК, в Наркомюст и т. д.

Почему этот мирный, этот как будто далеко не политический вопрос вызвал и продолжает вызывать столь страстные прения, почему он так глубоко всколыхнул широчайшие трудовые массы?

Ответ на этот вопрос мы найдем в условиях развития нашего семейного законодательства и судебной практики по семейным делам.

Мы получили от старого строя позорнейшее законодательство по семейному и брачному праву.

Мы получили законы о семье, как о тюрьме, о тюремной клетке, в которую легко войти, но из которой трудно выбраться.

Мы получили законы о власти мужа и отца, о его правах, где постановления о власти тюремщика перемежаются с лицемерными, ханжескими наставлениями о любви супругов, почтении родителей, добронравном образе жизни и воспитании детей в видах, угодных правительству.

На-ряду с этим мы получили огромное количество ненормальных отно ений между супругами, огромное количество случаев эксплоатации жен, тязаний голодом ни в чем невинных детей.

Пролетарская революция немедленно ниспровергла эти законы и об' ила беспощадную борьбу семейной эксплоатации. Еще в дыму революцион ых боев, в осенние месяцы 1917 года мы издали новые декреты о разводе, о раке, освобождающие супругов от невыносимых уз старого церковного брака.

Мы не закрывали глаза на то, что семейная эксплоатация имеет место в условиях пролетарской и крестьянской семьи, и в условиях быта трудя щихся. Наш суд повел и ведет по настоящее время борьбу с эксплоатацией енщины и детей и в пролетарской среде.

Возникает вопрос: можно ли назвать эксплоатацией, когда рабочий, про етарий, сам едва зарабатывающий на свое пропитание, когда этот рабочий е дает на содержание своей жене, не кормит и не воспитывает произведен ого им на свет ребенка?

Это, конечно, не социальная, не классовая экономическая эксплоата ия, ибо она не имеет ничего общего с эксплоатацией работодателя, буржуа, о это не менее тяжкая физическая и моральная эксплоатация. Очень часто прочем она сопровождается и экономической эксплоатацией.

Следует ли вести борьбу с этой эксплоатацией? Указывают на то, что ы здесь стоим перед неразрешимой проблемой. Современная жизнь разру ает индивидуальную семью. Алиментный вопрос есть вопрос не личной орали, не этический. Это вопрос социально-экономический. Только разви ие форм социалистического общежития способно разрешить этот вопрос.

Наше действующее семейное право, наша судебная практика по семей ым делам исходит, однако, из максималистских, ригористических принципов. Они говорят женщине — «если ты идешь на то, чтоб стать женой, то готовься ыть матерью» и карают за детоубийство, карают незаконный аборт. В то же ремя они пред'являют хотя и менее, но все же строгие требования к мужчине, озлагая на него безусловную обязанность содержания произведенных им на вет детей. — Эта линия суда, проводимая в условиях чрезвычайно далеких т истинносправедливых социальных отношений во всех других областях ашей жизни, вызывает естественную реакцию. Она выражается в суровой ритике этой линии. Правильна ли эта линия? Этот вопрос и составляет ентр настоящей дискуссии. Ибо когда спорят о том, нужна ли регистрация рака или не нужна, то имеют в виду сужение или расширение обязанностей олее сильного участника брачного отношения; когда спорят о том, следует ли наблдить юридическими последствиями фактические супружеские отношения, меют в виду расширение имущественной ответственности за последствия аких отношений.

II.

Но основной момент, осложняющий разрешение вопроса и поэтому за стряющий дискуссию, заключается в сложности, в разнородности форм наших оциальных и хозяйственных отношений. Деревня и город, сельское хозяйство

и промышленность и живучие остатки первобытного натурального хозяйства и очаги социализма на-ряду с бесконечной лестницей переходных ступеней составляют слишком разнообразную обстановку для того, чтоб найти надлежащую и притом единообразную форму построения отношений, связанных с фактом брака и рождения детей. В поисках единой формы естественен как правый «крестьянский» уклон, так и «ультралевые ребячества». Не следует ли отказаться от единства кодекса во что бы то ни стало? Не следует ли в городе закреплять «левые» достижения, отвечающие условиям городской жизни, и призадуматься над тем, чтоб сочетать защиту матери и ребенка и в деревенской среде с бытовыми и хозяйственными условиями жизни крестьянства. В этом заключается, на наш взгляд, существо и основная трудность той проблемы, которая стоит перед нами. Было бы большой ошибкой, если б мы старались механически, во что бы то ни стало, т.-е. не учитывая особенностей социально-экономической обстановки, если б мы стремились регулировать одними и теми же нормами отношения по браку в городе и в деревне, т.-е. на почти полярных точках хозяйственного строительства и культурного развития. Для иллюстрации того, насколько нежизненно это механическое об'единение постановлений Семейного кодекса, достаточно сослаться на статью 9-й проекта. Она гласит: «Имущество, нажитое супругами в течение брака, считается принадлежащим супругам на началах общей собственности» (ст.ст. 61—65 Гр. код.). Мы в дальнейшем постараемся доказать неправильность этой формулировки имущественных правоотношений супругов. Но допустим, что это правило применимо для городской семьи. Может ли оно найти жизненное применение в условиях крестьянского быта? Крестьянская семья не имеет того характера хозяйственной изолированности супружеской четы, который отличает городскую семью. В городе семья — это супружеская чета и дети. Городская семья — это по большей части чрезвычайно миниатюрный союз. В деревне супружеская чета растворяется в более крупной бытовой и хозяйственной формации, в дворе. Двор — иначе большая семья. Ст. 65 Земельного кодекса определяет двор, как семейно-трудовое об'единение лиц совместно ведущих сельское хозяйство. Ст. 66 предусматривает увеличение состава двора в случае брака. Таким образом ясно, что в крестьянской среде брак создает имущественные отношения не только и не столько между супругами, сколько между одним из супругов и той хозяйственной организацией, двором, в составе которого находится другой супруг и в который он вступает.

Правильно говорил тов. Сенцов на сессии ВЦИК, что в деревне «семья полностью сохранила тип хозяйственной единицы». Лицо, которое в силу брака становится членом крестьянского двора, приобретает гораздо бо́льшие права, чем те, которые ему предоставляет ст. 9 проекта. Он становится равноправным участником во всем имуществе двора, а не только сособственником личного имущества супруга. Поскольку жена, вступающая во двор мужа, становится равноправным членом двора, т.-е. имеет такие же права, что и муж, нет никакой надобности в обобщении собственности на то, что они наживают во время брака. Почему жена и муж, состоящие в одном дворе со своими братьями, сестрами и родителями, почему они в этих условиях

олжны быть имущественно более связаны друг с другом, чем братья и сестры между собой? Для последних общим является только имущество ора, между тем как согласно ст. 9 проекта для мужа и жены общим должно ять также и то, что они наживают вне хозяйственной жизни двора.

Таким образом статья 9 проекта совершенно неприменима в условиях естьянского быта. Если целью кодекса является «обеспечение интересов итери и особенно детей и уравнение супругов в имущественном отношении»,) статья 9 его противоречит этой цели, ибо по действующему Земельому кодексу права женщины обеспечиваются лучше чем по проекту. Можно, нечно, указать на то, что проект не имеет в виду отменять Земельный одекс и что никто не собирается лишать женщину тех прав, которые прицены ей как крестьянке, как члену двора и т. д. Такое возражение, конечно, убедительно. Ибо если имущественные отношения супругов, состоящих крестьянском дворе, регулируются не нормами Семейного кодекса, а Земельиго кодекса, то об этом должно быть положительно указано в законе огда будет известно, что «Кодекс законов о семье, браке и опеке» в части, пределяющей имущественные правоотношения супругов, есть кодекс для родской семьи. Быть может, это было бы и правильно. Но такой оговорки т, а потому получается непримиримое противоречие. И если задачей кона должно служить возможное упрощение отношений, разрешение сложых взаимоотношений, создаваемых жизнью, то при таком положении мы место упрощения и разрешения спорных взаимоотношений только их осложем.

Трудность исчерпывающего регулирования вопросов семейного права пределяется не только разнохарактерностью хозяйственных связей, определяющих существо городской и крестьянской семьи. Надо иметь в виду и огромое количество переходных стадий от натурального, полунатурального и торного крестьянского хозяйства к высшим формам капиталистических и лусоциалистических или почти социалистических форм.

Бытие определяет сознание. Бесконечному разнообразию материальных ловий, в которых протекает жизнь современной семьи, отвечает чрезвыйно пестрое сочетание взглядов на способы регулирования отношений, текающих из брака и им создаваемых.

Чрезвычайно оживленные прения на сессии ВЦИК, в которых приняло астие большое количество ораторов, в большей своей части представители мест, рабочие и работницы и рядовые крестьяне и крестьянки, являются этом отношении весьма показательными.

Приводим для иллюстрации наиболее характерные выступления некорых товарищей. Вот выступает тов. Картышев, рабочий. В небольшой речи отчетливо наметил ряд существеннейших вопросов из интересующей нас ласти. Это выступление характерно, поскольку в ней нашел выражение гляд передового рабочего на формы взаимоотношений на почве брака его внимания не ускользнули и вопросы крестьянской семьи.

Возражая тов. Красикову, отстаивавшему идею о необходимости, обя гельности регистрации брака, о том, что «преждевременно ставить факти-

ческий брак во главу советского законодательства», тов. Картышев говорит «Тут тов. Красиков сначала обещал нам копну, а потом — у меня создалось такое впечатление, он и мыши не дал. Стоило ли из-за этого говорить в содокладе? Какие вы хотите установить нормы, для чего это теперь нужно, когда закон полностью обеспечивает женщину? Женщина не должна быть слабой стороной, но нужно пойти дальше, и первое, что следует сказать в нашем кодексе, это то, что брачные отношения могут быть как регистрированные, так и нерегистрированные, а об этом сказано обиняком. Нужно будет еще оговорить, что в случае, когда супруги сходятся и материально хотят быть совершенно независимыми один от другого, им нужно это право предоставить и пункт о материальных взаимоотношениях следует развить и уточнить.

Представьте себе такое явление: сходятся двое квалифицированных, рабочий и работница, или двое ответственных служащих. Материально они не хотят иметь ничего общего. У них весь брак основан на взаимном притяжении, на культурном и идейном единомыслии и на половых отношениях Материально ни один, ни другой не заинтересованы в этом браке, а суд, на основании статьи, будет насильно доказывать, что тут права мужа и жены умалены. Постольку, поскольку это так, нужно ввести еще пункт, который и говорил бы, что супруги могут входить в материальные взаимоотношения. могут и не состоять ни в каких материальных отношениях — по своему желанию. Кроме того, товарищи из деревни, наверное, знают не только такие случаи, какие приводил тов. Курский о жене-работнице, но и наоборот, — когда за деревенского парня — Ваньку, лет 18-ти, не умеющего утереть нос. выходит матерая девица, — и первое, чем она начинает заниматься, это «отделись, потому что щи сама хочу разливать, а не свекровь».

Ванька делиться не может, потому что еще не может работать. Жена уходит, а в результате, на основании закона, продают последнюю кобылу, овечку, гусенка, куренка, и от этого двор разоряется. Нужно положить этому конец, при чем нужно и тех, которые берут работниц вместо жен, также карать».

Не менее характерны выступления ряда крестьян. Возьмем выступление тов. Блинова, аттестующего себя, как малограмотного крестьянина.

Он коснулся одного вопроса, — именно, вопроса о брачном возрасте но в его выступлении, являющемся образцом эпической прозы, мы имеем объективную яркую характеристику жизни женщины в крестьянской семье.

«Я остановлюсь только на двух пунктах и, конечно, в дальнейшем разбираться не могу, так как я крестьянин малограмотный. Говоря о пункте 3, — об условиях регистрации брака, — докладчик сказал, что при обсуждении этого вопроса одни говорили, что можно записывать на регистрацию моложе. а другие говорили, что старше, но докладчик не сказал. кто же это настаивал. чтобы понизить года до 16 или 18 лет?

Я тут маленько задумался; может, здесь участвовала медицина, может, медицина признала, что климат у нас изменился, и созревание женщины настало раньше? Я как-то читал, что только на Кавказе можно венчать

14 лет, а у нас нельзя. Другой товарищ говорил: «Эту женщину запишешь,— она сама еще кукла да в себе будет куклу носить». В нашем деревенском быту это совершенно недопустимо; ведь сколько на женщину в 15½ лет будет возложено: она зимой должна и прясть, и ткать,— одним словом, всю зиму работать и в то же время будет стряпать: она все время в заботе и в работе. Придет лето, она должна вязать, молотить и делать всю работу. а тут же у нее будет ребенок. Может ли она развить в себе крепкую жизнь, развить крепкое телосложение? Нет, она с молодых лет будет забита Какие же у нее пойдут дети? Как сама она не созрела, так и дети ее будут хилые. Как вот с хлебом бывает: если он не доразвился, не достиг еще силы. так и с нею: если не разовьется, у нее мелкое поколение пойдет.

Поэтому я считаю, что это нужно изменить, если это не признано медициной, и установить брачный возраст в 17 лет для женщины».

Сопоставляя эти две речи, легко видеть, как резко отличены друг от друга проблемы городской семьи от проблемы крестьянской семьи.

Для пролетария Картышева безразлично: регистрировать брак или не регистрировать. Для него также безразличен вопрос об имущественных взаимоотношениях супругов. И то сказать: по поводу какого имущества пролетарий будет спорить с своей женой при разводе: о самоваре, двух-трех стульях и прочей «движимости»? Поэтому для него безразличен этот вопрос. Для него, выросшего в условиях городокой культуры с ее клубами, советскими праздниками, октябринами и пр., для него вопрос о регистрации — вопрос пустой («обещал копну, а и мыши не дал»), но так ли это безразлично для тов. Блинова, который, говоря о женщине, обрисовывает ее трудную жизнь на работе в пределах семейного хозяйства, хозяйства крестьянского двора («она все время в работе и в заботе»)? Так ли для него безразличен вопрос об имущественных отношениях супругов? Разумеется, не так безразличен Он не выдвинет мысли о том, что этот вопрос разрешается усмотрением брачущихся. Он потребует, чтоб законодатель урегулировал этот вопрос. Безразличен для него вопрос о регистрации брака? Конечно, не безразличен. Ибо брак должен быть связан с имущественными последствиями. Брак есть в то же время вступление в члены крестьянского двора. Примак, вступающий в крестьянский двор, должен быть зарегистрирован. Точно так же необходима и регистрация вступления в крестьянский двор путем брака. Брачная регистрация и должна заменить примаческий договор.

Переходим к рассмотрению того, как проект разрешает основные вопросы семейного права.

III.

Необходима ли регистрация брака?

Проект разрешает этот вопрос следующим образом. Он устанавливает порядок регистрации и определяет ее значение. Регистрация не есть необходимая и обязательная процедура. Это не есть, как выражаются юристы. существо отношения, essentiale negotii.

Это есть процедура, обрядность, облегчающая доказывание наличия брака.

Если она не соблюдена, то это не влияет на юридические отношения между лицами, состоящими в браке, в фактическом сожительстве.

Такая постановка вопроса о значении регистрации является новшеством. Ныне действующий Кодекс законов об актах гражданского состояния разрешает вопрос о значении регистрации иначе. Ст. 52 Код. зак. гласит «Только гражданский светский брак, зарегистрированный в органе записей актов гражданского состояния, порождает права и обязанности супругов, изложенные в настоящем Кодексе».

Категоричность этой формулировки, однако, смягчается ст. 133 и 1 примечанием к этой статье: «Основой семьи признается действительное происхождение. Никакого различия между родством внебрачным и брачным не устанавливается. Дети, родители которых не состоят в браке между собой, во всем уравниваются в правах с детьми, родившимися от лиц, состоявших в зарегистрированном браке между собой».

Таким образом мы в настоящее время имеем следующее положение: Зарегистрированный брак создает права как для супругов, так и для детей. Незарегистрированный брак не создает никаких прав для супругов, кроме тех прав, которые вытекают из факта рождения детей. Женщина в этом случае имеет право на содержание в пользу ребенка, а также на расходы по случаю беременности и родов. Факт регистрации, формальный по существу, создает при этом права, независимо даже от того, сопровождался ли он фактическим сожительством. Регистрация есть правопроизводящий фактор. В практике суда имел случай, когда женщина обратилась в суд с просьбой о признании ее брака недействительным, несостоявшимся: при этом она ссылалась на то, что она, хотя и венчалась 15 лет тому назад, но никогда в фактическом сожительстве не состояла. Когда суд затруднился признать такой брак недействительным, так как в законе этот случай недействительности брака не предусмотрен, и предложил ей разрешить дело в порядке расторжения брака, она энергично запротестовала: что вы будете расторгать? То, чего никогда не существовало? Я не была фактической женой, я вообще женой никогда не была, не хочу считаться и разведенной женой. В этом случае речь шла о восстановлении интереса, имеющего исключительно моральное содержание. Этот случай, конечно, исключительный.

Гораздо чаще встречаются те случаи, когда формальному браку, регистрации, не отвечают соответствующие фактические отношения, а когда формальный брак препятствует защите того имущественного интереса, с которым законодатель связывает действительные брачные отношения.

Гражданину А 50 лет. Он уже 10 лет не живет с женой, он живет в Москве, а жена — в Орле. В 1920 году он сошелся с другой женщиной, с которой состоит в фактическом браке. В 1924 году он тяжело заболевает. Фактическая жена в течение года заботливо за ним ухаживает. В 1925 году он умирает. Является его жена из Орла и, как законная, зарегистрированная жена, получает в свое распоряжение все его имущество, а фактическая жена

ничего не получает, ибо хотя она состояла на его иждивении, но как трудоспособная — не подходит под действие ст. 418 Гр. кодекса, согласно которой наследниками являются лишь дети, супруги и лица, состоявшие на иждивении, если они нуждаются и нетрудоспособны. Зарегистрированная жена, хотя давно разошлась с мужем, является его законной наследницей.

Подобные последнему случаи встречаются в практике судов нередко. Весьма часто регистрации не отмечают фактические отношения. Еще чаще фактические брачные отношения не сопровождаются регистрацией.

Вот, в каком виде складываются в жизни отношения, связанные с вопросом о регистрации брака.

Проект НКЮ, исходя из задачи обеспечения интересов матери и особенно ребенка, придает поэтому регистрации лишь значение формы, облегчающей охрану личных и имущественных прав и интересов супругов и детей, но не придает регистрации значения некоего правопроизводящего фактора.

Против этого положения очень энергично возражают. Указывают на то, что сообщение фактическому незарегистрированному браку того же значения, что и зарегистрированному, осложнит имущественные отношения граждан. Указывают на то, что при отсутствии в законе определения понятия брака нет критерия для отличия фактического, незарегистрированного брака от случайной связи, а эта в свою очередь породит массу претензий друг к другу со стороны лиц, состоявших лишь в случайной связи. Обыкновенно при этом указывают на огромное количество судебных дел об алиментах.

Что касается последнего указания — на большое количество дел об алиментах, то надо иметь в виду, что в числе алиментных дел претензии о содержании супругов составляют лишь 0,4 %, т.-е. всего четыре тысячных всего количества алиментных дел. Даже при сравнительно большом общем количестве алиментных дел, эта цифра дел является совершенно незначительной. Таким образом эти опасения явно преувеличены.

По вопросу о невозможности отличить незарегистрированный брак от случайной связи, приходится иметь в виду следующее: Какое практическое значение должно иметь различие между браком и так называемой случайной связью? Мы уже знаем, что в вопросе о содержании детей это различие не имеет никакого значения. Отец и мать несут обязанности в отношении ребенка независимо от того, родился ли ребенок в браке или в результате случайной связи. Следовательно, это различие должно иметь значение лишь по вопросу об имущественных взаимоотношениях супругов. Чрезвычайно интересно поэтому отметить судебную практику по вопросу об этих отношениях.

Как мы выше указали, в крестьянской среде вступление в брак связано со вступлением в состав двора одного из супругов. Член двора имеет право на раздел, также и выдел, если он по той или иной причине выходит из состава двора. В случаях развода в крестьянской среде, уходящий из двора разведенный супруг требует выдела своей доли. Общий принцип раздела — это раздел уравнительный. Однако суд отказывает в выделе по этому принципу уравнительного раздела в тех случаях, когда брак был непродолжительным. Он опре-

деляет размер доли в соответствии с степенью, об'емом и продолжительностью трудового участия в хозяйстве двора. Эта практика не встречает возражений Таким образом ясно, что в определении имущественных взаимоотношений супругов формальный момент регистрации брака не должен иметь значения. Необходимо в каждом отдельном случае установить степень трудовой связи лиц, состоящих в половом сожительстве. Если таким образом в определении имущественных взаимоотношений необходимо всегда считаться со степенью трудовой или хозяйственной связи, и если суд обязан исключительно с этим считаться, то ясное дело, что он всегда отличит брак, как более или менее продолжительный половой и хозяйственно-трудовой союз от случайной связи.

IV

Обратимся теперь к ближайшему анализу постановления проекта по вопросу об имущественных взаимоотношениях супругов. Мы здесь не будем подробно останавливаться на алиментных правах супругов. Как нами уже выше указано, судебная практика дает небольшое количество споров по этому вопросу. Проект не вносит ничего существенно нового в регулировку этих отношений по сравнению с действующим Кодексом. Следует разве отметить то, что по проекту супруг имеет право на содержание лишь тогда, когда он нуждается и нетрудоспособен. Необходимо таким образом наличие двух условий: нужда и нетрудоспособность, тогда как редакция ныне действующего Кодекса в этой части позволяла делать вывод о том, что достаточно одного из этих условий. Далее, проект предусматривает обязанность оказывать материальную поддержку безработному супругу.

Несравненно более актуальное значение имеет вопрос об иных имущественных взаимоотношениях супругов. Поскольку семья и брак, рассматриваемые в аспекте тех юридических отношений, которые они обусловливают, необходимо определять, как известную форму хозяйственно-трудового общения, необходимо в то же время указать, каково правовое положение того, что проект называет нажитым имуществом. Ныне действующий Кодекс обходит этот вопрос молчанием. Он регулирует лишь алиментные права супругов. По вопросу же о других последствиях хозяйственно-трудового общения он содержит лаконическое постановление ст. 105: «Брак не создает общности имущества супругов». В сущности говоря, молчание закона по этому вопросу и приведенная ст. 105 заставляют делать тот вывод, что Кодекс рассматривает брак лишь как половой, а не хозяйственно-трудовой союз.

Излишне доказывать, насколько неправильным является такая односторонняя трактовка семьи в ее современном состоянии.

Формулировка ст. 105 на первый взгляд кажется очень прогрессивной, она подчеркивает независимость супругов в имущественной сфере. Но на деле эта независимость на бумаге может превратиться в жестокую эксплоатацию в действительности.

Если мы возьмем типичную семью рабочего или служащего, то по общему правилу один муж работает на стороне. Он один «наживает». Жена «прожи-

вает». Получается, что один муж является созидателем доходов семьи, он один занимается производительным трудом, жена же является лишь потребителем и ничего не приносит в имущество семьи. Совершенно очевидно, однако, что тут имеется недооценка трудового участия жены в хозяйственно-трудовом общении, каковым является брак. Ведь очень часто труд домашней хозяйки в городской семье ничем не уступает по своему хозяйственному значению и по экономической ценности той «постоянной заботе и работе», о которой говорит крестьянин член ВЦИК'а Блинов в отношении крестьянки. Ясно, что отмахнуться от регулировки имущественно-правовых последствий, связанных с участием женщины в хозяйстве семьи, ни в коем случае нельзя. Этого нельзя делать и под этикеткой эмансипации женщины. Ибо женщине нужно не формальное равноправие, а фактическое равенство. Вот почему статья 105 Кодекса законов об актах гражд. состояния нас не удовлетворяет.

Но отсюда ни в коей мере не вытекает, что нас должна удовлетворить проектируемая ст. 9. Она гласит: «Имущество, нажитое супругами в течение брака, считается принадлежащим супругам на правах общей собственности» (ст. 61 — 65 Гр. код.).

Нам представляется, что эта формулировка не отвечает той цели, которую законодатель должен преследовать.

Если не считать ляпсусом сделанную в этой статье ссылку на 61 — 65 статьи Гражданского кодекса, а принимать эту ссылку за полновесное юридическое определение, то мы получаем следующее положение: статья 62 Гражданского кодекса постановляет: «Владение. пользование и распоряжение общей собственностью должно производиться по общему согласию всех участников, а в случае разногласия — по большинству голосов». Переведем это положение на язык житейских отношений. Гражданин Иванов ведет в городе торговлю. Жена его занимается домашним хозяйством. Доход от торговли есть «имущество, нажитое супругами в течение брака», следовательно, по 9 статье проекта он составляет общую собственность супругов, следовательно, владение, пользование и распоряжение им возможно лишь с общего согласия супругов. Спрашивается, жизненно ли такое положение, согласуется ли оно с принципами нашего гражданского оборота, со статьей 4 Гражданского кодекса, говорящей о том, что гражданские права предоставляются исключительно в интересах развития производительных сил страны. Нет, не жизненно, не практично, противоречит принципам нашего гражданского оборота. И не эту цель должен ставить себе Семейный кодекс в рассматриваемой области. Не надо упускать из виду той среды, тех социально-экономических отношений, определяющих быт. который мы регулируем. О крестьянской среде мы уже говорили. Мы Земельного кодекса не пересматриваем в настоящее время Следовательно, имущественные отношения в крестьянской среде на ближайший отрезок времени будут регулироваться постановлениями Земельного кодекса о крестьянском дворе. А посему нам приходится говорить лишь о городской семье, т.-е. о пролетарской семье рабочего, пролетарской или полупролетарской семье служащего и о мелко-буржуазной или буржуазной семье кустаря, торговца, частного промышленника. Применимо ли постановле

ние об общей собственности супругов пролетариев на то имущество, которое они «наживают в течение брака»? В большинстве случаев такие общесобственники или сособственники очень иронически относятся к ценности своего скарба. И законодателю нечего особенно беспокоиться о судьбе этого имущества. В этой среде вопрос о судьбе «нажитого имущества» возникает не во время существования брака, а тогда, когда он распадается.

А когда брак распадается, вопрос о судьбе этого скарба надо разрешать не отвлеченно, а применительно к составу семьи. Действительно, если семья состоит из пяти человек: жены, мужа и троих детей. Супруги расходятся. Один уходит из дома, а другой остается с детьми. Справедливо ли будет предоставлять одному уходящему супругу половину всего имущества, а всем четверым остающимся тоже только половину? Нет, несправедливо. А к этой несправедливости приводит постановление об общей собственности.

О неприемлемости положения об общей собственности на «нажитое имущество» в отношениях по семье мелкого собственника, кустаря, торговца, нэпмана мы уже говорили. Здесь эта общность собственности связывает по рукам ее обладателей, так как они друг без друга не могут ничего предпринять. Здесь это постановление ст. 9 проекта будет просто тормозить гражданский оборот.

Ст. 9 не отвечает той задаче, которая стоит перед законодателем в сфере регулирования имущественных отношений супругов.

Законодателю следует меньше всего заботиться о регулировании имущественных отношений между лицами, состоящими в браке, на тот период, когда брак нормально существует. При нормальных семейных отношениях имущественные вопросы регулируются сами собою, и отнюдь не исключительно положениями закона. Очень плоха та семья, фальшив тот брак, когда супруги, члены семьи не находят другого критерия для определения своих материальных отношений, кроме формального закона. Поэтому закон должен содержать возможно исчерпывающие определения по вопросу о том, как распределяется имущество, нажитое в браке, после того как брак расторгается. Здесь, конечно, приходится учитывать не только интересы супругов, но и интересы детей. Закон должен также указать, влияет ли развод на алиментные права супругов.

Статья 12 проекта содержит следующее постановление: «Право нуждающегося нетрудоспособного супруга на получение содержания от другого супруга сохраняется и по прекращении брака до изменения условий, служащих основанием для получения содержания». Здесь не указано, до какого срока это право продолжается. В суде разбиралось однажды такое дело. Супруги К. разошлись 15 лет тому назад. Гражданка К. жила при сыне. Но вот сына взяли на военную службу. Г-ка К. пред'являет иск о содержании к своему бывшему супругу.

Суд, учитывая ее тяжелое материальное положение, ее болезнь, являвшуюся отчасти последствием супружеской жизни, присудил в ее пользу содержание с прежнего мужа. А последний давно женился на другой. Он не мог помириться с решением суда, добровольно не платил, и в результате была продана

с торгов его домашняя обстановка, в том числе имущество второй жены. В приведенном примере осложняющим обстоятельством явилась болезнь истицы. Эта болезнь стояла в связи с последствиями супружеской жизни. Здесь напрашивалась мысль о возмещении некоего ущерба. Но не будь этого привходящего обстоятельства, вопрос было бы тем труднее разрешить. Действительно, до какого предела по времени продолжается имущественная связанность супругов?

V.

Мы не останавливались бы на вопросе об имущественных отношениях родителей и детей, вернее об обязанностях родителей в отношении детей, если б совершенно неожиданно в последнее время не появилась новая не то теория, не то политико-правовая программа в этой области. Высказывается тот взгляд, что только дети, происшедшие от зарегистрированного брака, имеют право на содержание от отца. Прочие дети такого права не имеют. Автор этой теории тов. Сольц сам признает, что, выдвигая эту теорию, он знает, что его назовут реакционером. Иначе говоря, тов. Сольц заранее признает это предложение реакционным. Но ничего не поделаешь. Приходится, дескать, быть реакционером, когда жизнь этого требует. Тов. Сольц совсем не такой ненавистник детей, чтобы так легко санкционировать отказ ребенку в капле молока по той причине, что этот ребенок смел родиться в незарегистрированном браке. Если же он не останавливается и перед этим, то потому, что он считает призрачной практику судов по делам об алиментах. Он знает десятки, а может быть, и больше случаев, когда выдаваемые судами исполнительные листы не оказывают никакого эффекта. Он знает случаи, когда против одного отца имеется пять исполнительных листов разных матерей, и по этим исполнительным листам не взыскивается ни копейки. Стоя перед лицом этих фактов, тов. Сольц приходит к выводу о вредности нашей судебной практики по делам о взыскании на содержание детей. Суд, дескать, обещает женщине горы благодати, ничего, кроме горя и слез и бесчисленных жалоб в ЦКК на рабфаковцев, коммунистов ответственных и неответственных, не получается. Надо поменьше давать обещаний, тогда девушки будут себя строже «блюсти». Будут сохранять свое целомудрие до законного брака, не будет ни алиментных дел, ни безнадежных исполнительных листов, ни безрезультатных жалоб в ЦКК.

Психологически, по человечеству, точка зрения тов. Сольца вполне понятна. Действительно, что ему сказать своим бесчисленным посетительницам в тех случаях, когда он ничем помочь им не может, как не то, что они сами виноваты в своем горе?

Но жизненно ли его предложение о лишении детей от незарегистрированных браков права на алименты? Действительно ли виноваты наши суды и наши законы в современном семейном кризисе? Его предложение сводится к затруднению для матери возможности взыскания алиментов. Но ведь это уже было. Ведь до 1901 года, до издания закона об уничтожении деления детей на незаконнорожденных и законнорожденных существовали затруднения для матери в деле отыскивания алиментов, и это не уменьшало коли-

чества внебрачных рождений, и закон от 1901 года признал необходимым даже ликвидировать название «незаконнорожденных» детей и ввел термин «внебрачных» детей. Царский закон счел необходимым защитить алиментные права детей, родившихся в незарегистрированном браке. Могут, конечно, сказать, что царский церковный брак—это не наш брак. Брак тогда был почти нерасторжим, потому и права внебрачных детей подлежали сугубой охране. Наш брак свободный, легко расторжимый, и всякая пара может легко зарегистрироваться. Ясно, что этот довод не убедителен. Ибо, исходя из этой точки зрения, в интересах сокращения алиментных казусов, надо быть последовательным и требовать не то нерасторжимости браков, не то ограничения числа браков, в которые могут вступать отдельные граждане. Таких предложений, однако, никто всерьез не вносит.

Попытаемся поискать посильного разрешения этого вопроса в другом, в старом направлении. Попытаемся сказать несколько слов в защиту существующей судебной практики по алиментным делам.

На наш взгляд, тов. Сольц ошибается в своих выводах о результатах работы суда по алиментным делам. Тов. Сольц судит об этой практике по тем десяткам, пусть сотням дел, которые так или иначе доходят до его сведения Но он не учитывает тех тысяч и, может быть, и десятков тысяч дел, по коим взыскания дают определенный эффект. Московский губсуд летом этого года произвел обследование работы судебных исполнителей по приведению в исполнение решений судов по алиментным делам. Оказалось, что в некоторых местах неисполнение достигает 30% всех алиментных дел. Но это имеет место в деревне, где исполнение особенно трудно. В городе взыскания гораздо успешнее. Здесь некоторые судисполнители дают 100% эффектных взысканий. Следует ли так легко скидывать со счетов эту работу суда? Так ли уж вредна эта работа? Недавно, на совещании по охране материнства и младенчества были сообщены цифры о падении смертности детей в СССР на половину против довоенного времени. Это—огромная победа учреждений по охране детства. Но нет ли крупицы работы суда в этом деле спасения детей от преждевременной смерти? Мы отнюдь не переоцениваем работы суда. Мы знаем, что она не лишена многих шероховатостей, что она богата ошибками, курьезами (правда, не столь обильными, как об этом кричат некоторые усердные критики нашего суда). Но есть одно неоспоримое достижение в работе суда — это воспитание трудящихся в духе уважения к матери и ребенку, поднятие женщины, обремененной тяжестью воспитания ребенка, из состояния презренного, павшего существа, из парня в положение гражданки, имеющей право на сочувствие, внимание со стороны государства и общества. Когда алиментные дела разрешаются всегда по желанию женщины в месте ее жительства, а не по общему правилу по месту жительства ответчика, когда ее иск освобождается от сборов, когда дело ее в суде назначается в первую очередь, когда по заведенному порядку женщина с ребенком на руках имеет право на внеочередной прием, на внеочередное слушание дела, когда ее присужденная претензия пользуется правом преимущественного удовлетворения перед претензиями других кредиторов должника, тогда, конечно, положение матери бесконечно облегчается, и

реже становятся случаи отравления, удушения детей, а 70—80% эффектных взысканий по алиментным делам не является уже столь бесцельной и неблагодарной работой. Нет, не одними призраками, не одними миражами суд кормит алиментных взыскательниц.

А 70—80% действительных взысканий — это, с другой стороны, весьма сильное средство против пылких увлечений любителей частой смены жен.

Не целесообразнее ли регулировать вопросы алиментного права усилением материальных последствий для виновников рождения детей, а не мерами, безусловно увеличивающими детскую смертность, каковыми следует признать возрождение с данного уже царским правительством подразделения детей на законнорожденных и незаконнорожденных.

VI.

В связи с вопросом о судьбе детей, родившихся в незарегистрированном браке, стоит вопрос о так называемом отыскании отцовства, т.-е. о том случае, когда фактический отец по той или иной причине не заявляет добровольно о своем отцовстве, и матери приходится юридически оформлять действительное происхождение ребенка от его указываемого ею отца.

По действующему Кодексу законов об актах гражданского состояния вопрос этот регулируется следующим образом: Забеременевшая женщина, если она не состоит в незарегистрированном браке, вправе не позже, чем за три месяца до родов, сообщить в ЗАГС о фактическом отце ребенка. Отдел ЗАГС'а сообщает об этом указанному отцу. Последний должен в двухнедельный срок по получении извещения от ЗАГС'а заявить спор о том, что указание на него, как на отца, сделано неправильно. Его спор поступает на разрешение суда. Если он не реагирует на сообщение ЗАГС'а, то это приравнивается признанию себя отцом: женщина, упустившая срок для подачи заявления в ЗАГС, вправе во всякое время судебным порядком добиваться установления отцовства.

При судебном разрешении спора об отцовстве ответчики чаще всего ссылаются на то, что женщина-истица вела легкомысленный образ жизни и что она была в физической связи не с одним ответчиком. Обыкновенно это заявление делается для того, чтоб компрометировать женщину в глазах суда и публики, а также для того, чтоб облегчить свою материальную ответственность. Дело в том, что согласно ст. 144 Код. ЗАГС'а, суд, признав, что женщина в тот период, к которому относится зачатие, была в связи не с одним мужчиной, вправе возложить алиментные обязанности на двоих, на троих лиц, — словом, на всех тех, которые были в связи с истицей.

Нужно указать, что это постановление ст. 144 Код. ЗАГС почти не применяется на практике. Суд охраняет не только материальные интересы женщины и ребенка, но и их достоинство. Суд не может игнорировать того, что по существующим в обществе взглядам так называемое неопределенное отцовство компрометирует личность ребенка. Суд не может не учитывать также и того, что в огромном большинстве случаев эти шокирующие заявления

делаются из не совсем этических побуждений. Несомненно, установление фактического отцовства в подобных случаях является одной из труднейших задач Очень часто слышатся жалобы на то, что «суд припаял ребенка ни в чем не повинному лицу». Разумеется, в массе случаев возможны ошибки, но, конечно, полная невиновность ответчиков в таких случаях является весьма условной...

Типичный случай из этой категории дел был недавно разрешен в московском суде.

Гражданка В.—20 лет, просит признать Б. отцом ребенка, недавно ею рожденного. Б. на суде заявляет, что он не признает себя отцом ребенка Он признает, что был в связи с В в 1923 и 1924 годах, что она тогда от него забеременела, но он помог ей устроить аборт, а с марта 1924 года он с ней не имел ничего общего. Он указывает на то, что В. легкого поведения и что с ней находились в связи много его знакомых, называет 10 рабочих, живущих в том районе, где истица. Суд вызывает этих лиц. Те возмущены заявлением Б. Один из них, уже пожилой рабочий, особенно возбужденно реагирует на действия Б. «У меня уже дочь такого возраста, как истица. Я — семейный человек. Никогда я не знал ее. Это безобразие». В том же духе дают показания и другие. Стороны В. и Б. об'ясняют, что и в 1923 и 1924 годах они не жили совместно. Сношения у них бывали в лесу.

Это дело является типичным. Здесь «фактическая сторона» дела не может быть исчерпывающим образом выяснена. Кому верить: Б. который отрицает свое отцовство, тем ли 10 рабочим, которые также отпираются и руками и ногами от «элиментa», или истице В.? А может быть, никому не поверить и считать иск недоказанным и отпустить В. с напутствием о том, чтоб она себя вела более благонравно?

Суд удовлетворил иск В., признал Б. отцом и взыскал с него 15 рублей в месяц на содержание. Решающим мотивом было то, что по делу с бесспорностью установлено то, что стороны находились довольно продолжительное время в связи. С большей вероятностью можно предположить, что Б. был с ней в связи и в 1925 году, когда произошло зачатие. Вот на построении решений по делам об отцовстве, на предположениях о большей вероятности очень часто указывают и критики судебных решений по этим делам. Но есть ли какой-либо иной способ? Есть. — Отказ в иске. Но такой отказ тоже будет основан на предположениях.

Здесь неизбежен перегиб. Суд делает этот перегиб в пользу более слабой стороны.

Проект Семейного кодекса упрощает процедуру установления отцовства при незарегистрированном браке и вместе с тем усугубляет ответственность отца.

Отменяется трехмесячный до родов срок на заявление в ЗАГС об отцовстве. Такое заявление может быть сделано как до родов, так и в любое время после родов. Женщина может также обратиться и в суд с таким заявлением. Лицо, показанное отцом, имеет право в течение месяца по получении извещения из ЗАГС'а оспорить заявление матери, и тогда запись не производится.

и делю переходит в суд. Если возражение в ЗАГС не последовало, то произведенная запись может быть в течение года оспорена в судебном порядке. Установив отцовство, суд одновременно может определить размер пособия на содержание ребенка, а также на расходы по беременности, родам, а также на содержание матери в течение шести месяцев после родов.

Заслуживает внимания постановление проекта по вопросу о случаях неопределенного отцовства. Проект исключает возможность взыскания с нескольких лиц. Он обязывает суд в этих случаях признать одно лицо отцом и на него возложить ответственность.

Чтоб покончить с вопросом об алиментах, остановимся на вопросе о содержании других родственников, кроме детей.

Проект в этом отношении вносит существенное изменение в ныне действующее положение. По действующему закону право на алименты имеют, кроме детей, еще и родители от детей, а также братья и сестры, если они нуждаются или нетрудоспособны. Проект отменяет алиментные права и обязанности между братьями и сестрами. Алиментами обязаны в отношении друг друга лишь родители и дети.

VII.

Проект «Кодекса закона о браке, семье и опеке» вводит новый институт семейного права, неизвестный действующему Кодексу законов об актах гражданского состояния, издания 1918 года, институт у с ы н о в л е н и я.

Усыновление было известно дореволюционному праву. Оно фактически существует у нас в крестьянском быту, где оно является разновидностью примачества. Составители Кодекса 1918 г. считали институт усыновления отжившим свой век. В перспективе широкого развертывания сети учреждений социального воспитания и обеспечения, в эпоху военного коммунизма этот институт представлялся ненужным. Но переход к нэпу, голод 1921—1922 г.г., лавина беспризорности — снова выдвинули вопрос о введении института усыновления.

Поскольку частное усыновление порождает не только обязательства усыновителя, но и дает ему фактическую власть над усыновленным, закон должен предусмотреть гарантии для усыновленного в смысле предупреждения эксплоатации под видом усыновления. Ст. 48 проекта провозглашает, что усыновление допускается только в интересах детей. При усыновлении детей старше 10 лет требуется их согласие. Усыновленные по отношению к усыновителю и усыновители по отношению к усыновленным во всех правах приравниваются к родственникам по происхождению.

Заслуживает внимания ст. 57 проекта, согласно которой любое лицо и любое учреждение вправе обратиться в суд с иском об отмене усыновления, если этого требуют интересы ребенка.

Мы не касаемся здесь вопросов опеки и попечительства. Эти вопросы требуют особого освещения.

ЗА РУБЕЖОМ

Мексика.

(Из книги «Мое открытие Америки»).

В. Маяковский.

Два слова.

Моя последняя дорога Москва, Кенигсберг (воздух), Берлин, Париж, Сантназер, Дижон, Сантандер, Мыс-ла-Коронь (Испания), Гаванна (остр. Куба), Вера-Круц, Мехико-сити, Лоредо (Мексика), Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Питсбург, Кливланд (Сев.-Ам. Соед. Шт.), Гавр, Париж, Берлин, Рига, Москва.

Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг.

Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор, вещи интересные сами по себе.

Я был чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно частности.

Я был достаточно мало, чтобы верно дать общее.

---

18 дней океана. Океан — дело воображения. И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой.

Но только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида — только это воображение есть Атлантический океан. Спокойный океан скучен. 18 дней мы ползем, как муха по зеркалу. Хорошо поставленное зрелище было только один раз; уже на обратном пути из Нью-Йорка в Гавр. Сплошной ливень вспенил белый океан, белым заштурмовал небо, сшил белыми нитками небо и воду. Потом была радуга. Радуга отразилась, замкнулась в океане, и мы, как циркачи, бросались в радужный обруч. Потом — опять плавучие губки, летучие рыбки, летучие рыбки и опять плавучие губки Сарагосова моря, а в редкие торжественные случаи фонтаны китов. И все время надоедающая (даже до тошноты) вода и вода.

Океан надоедает, а без него скушно.

Потом уже долго, долго надо, чтобы гремела вода, чтоб успокаивающе шумела машина, чтоб в такт позванивали медяшки люксов.

Пароход Эспань. 14.000 тонн. Пароход маленький, вроде нашего «Г У М'а». Три класса, 2 трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета.

Газета «Атлантик». Впрочем, паршивая. На первой странице великие люди: Балиев да Шаляпин, в тексте описание отелей (материал, очевидно, заготовленный на берегу), да жиденький столбец новостей — сегодняшнее меню и последнее радио, вроде «В Марокко все спокойно».

Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю ночь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает джаз:

Маркита,
Маркита,
Маркита моя.
Зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...

Классы самые настоящие. В первом — купцы, фабриканты шляп и воротничков, тузы искусства и монашенки. Люди странные: турки по национальности, говорят только по-английски, живут всегда в Мексике, представители французских фирм с парагвайскими и аргентинскими паспортами. Это сегодняшние колонизаторы — мексиканские штучки. Как раньше за грошевые побрякушки спутники спутников Колумба обирали индейцев, так сейчас за красный галстух, приобщающий негра к европейской цивилизации, на гавайских плантациях сгибают в три погибели краснокожих. Держатся обособленно. В третий и во второй идут только, если за хорошенькими девочками. Второй класс — мелкие коммивояжеры и стукающая по Ремингтонам интеллигенция. Всегда незаметно от боцманов бочком втираются в палубы первого класса. Станут и стоят, — дескать, чем же я от вас отличаюсь, воротники на мне те же, манжеты тоже. Но их отличают и почти вежливо просят уйти к себе. Третий — начинка трюмов. Ищущие работы из Одесс всего света, боксеры, сыщики, негры.

Сами на верх не суются. У заходящих с других классов спрашивают с угрюмой завистью: «Вы с преферанса?». Отсюда подымается спертый запашище пота и сапожищ, кислая вонь просушиваемых пеленок, скрип гамаков и походных кроватей, облепивших всю палубу, зарезанный рев детей и шопот почти по-русски урезонивающих матерей: «Уймись ты, кисáнка моя, заплакáнная».

Первый класс играет в покер и маджонг, второй — в шашки и на гитаре, третий — заворачивает руку за спину, закрывает глаза, сзади хлопают изо всех сил по ладони, надо угадать кто хлопнул изо всей гурьбы и узнанный заменяет избиваемого. Советую вузовцам испробовать эту испанскую игру.

Первый класс тошнит куда хочет, второй на третий, а третий сам на себя.

Событий никаких.

Ходит телеграфист, орет о встречных пароходах. Можете отправить радио в Европу.

А заведующий библиотекой, ввиду малого спроса на книги, занят и другими делами: разносит бумажку с 10 цифрами. Внеси десять франков и залиши фамилию, если цифра пройденных миль окончится на твою — получай 100 франков из этого морского тотализатора.

Мое незнание языка и молчание было истолковано, как молчание дипломатическое и один из купцов, встречая меня, всегда, для поддержки знакомства с высоким пассажиром, почему-то орал: «Хорош Плевна», два слова, заученные им от еврейской девочки с третьей палубы.

Накануне приезда в Гаванну пароход оживился. Была дана «Томбола» — морской благотворительный праздник в пользу детей погибших моряков.

Первый класс устроил лоттерею, пил шампанское, склонял имя купца Макстона, пожертвовавшего 2.000 франков, имя это было вывешено на доске об'явлений, а грудь Макстона, под общие аплодисменты, украшена трехцветной лентой с его Макстоновой фамилией, тисненой золотом.

Третий тоже устроил праздник. Но медяки, кидаемые первым и вторым в шляпы третьего, собирал в свою пользу.

Главный номер — бокс. Очевидно, для любящих этот спорт англичан и американцев. Боксировать никто не умел. Противно — бьют морду в жару. В первой паре пароходный кок — голый, щуплый, волосатый француз в черных дырявых носках на голую ногу.

Кока били долго. Минут пять он держался от умения и еще минут двадцать из самолюбия, а потом взмолился, опустил руки и ушел, выплевывая кровь и зубы.

Во второй паре дрался дурак болгарин, хвастливо открывавший грудь, с американцем-сыщиком. Сыщика, профессионального боксера, разбирал смех, он размахнулся, но от смеха и удивления не попал, а сломал собственную руку, плохо сросшуюся после войны.

Вечером ходил арбитр и собирал деньги на поломанного сыщика. Всем об'являлось по секрету, что сыщик со специальным тайным поручением в Мексике, а слечь надо в Гаванне, а безрукому никто не поможет, — зачем он американской полиции.

Это я понял хорошо, потому что и американец-арбитр, в соломенном шлеме, оказался одесским сапожником-евреем.

А одесскому еврею все надо, даже вступаться за незнакомого сыщика под тропиком Козерога.

Жара страшная.

Пили воду и зря, она сейчас же выпаривалась потом.

Сотни вентиляторов вращались на оси и мерно покачивали и крутили головой — обмахивая первый класс.

Третий класс теперь ненавидел первый еще и за то, что ему прохладнее на градус.

Утром жареные, печеные и вареные мы подошли к белой, и стройками и скалами, — Гаванне. Подлип таможенный катерок, а потом десятки лодок

и лодченок с гаванской картошкой, ананасами. Третий класс кидал деньгу, а потом выуживал ананас веревочкой.

На двух конкурирующих лодках два гаванца ругались на чисто русском языке: «Куда ты прешь со своей ананасиной, мать твою...».

Гаванна. — Стояли сутки. Брали уголь. В Вера-Круц угля нет и его надо на шесть дней езды туда и обратно по Мексиканскому заливу. Первому классу пропуска на берег дали немедленно и всем, с заносом в каюту. Купцы в белой чесуче обегали возбужденно с дюжинами чемоданчиков образцов подтяжек, воротничков, граммофонов, фиксатуаров и красных негритянских галстухов. Купцы возвращались ночью пьяные, хвастаясь дареными двухдолларовыми сигарами.

Второй класс сходил с выбором. Пускали на берег нравящихся капитану. Чаще — женщин.

Третий класс не пускали совсем, и он торчал на палубе, в скрежете и грохоте углесосов, в черной пыли, прилипшей к липкому поту, подтягивая на веревочке ананасы.

К моменту спуска полил дождь, никогда не виданный мной тропический дождина.

Что такое дождь?

Это воздух с прослойкой воды.

Дождь тропический — это сплошная вода с маленькой прослойкой воздуха.

Я первоклассник. Я на берегу. Я спасаюсь от дождя в огромнейшем двухэтажном пакгаузе. Пакгауз от пола до потолка начинен «Виски». Таинственные надписи: «Кинг Жорж», «Блек энд уайт», «Уайт хорс» чернели на ящиках спирта; контрабанды, вливаемой отсюда в недалекие трезвые Соединенные Штаты.

За пакгаузом портовая грязь кабаков, публичных домов и гниющих фруктов.

За портовой полосой чистый богатейший город мира.

Одна сторона — раз'экзотическая. На фоне зеленого моря черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу, подымая ее за хвост над собственной головой. Другая сторона — мировые табачные и сахарные лимитеды с десятками тысяч негров, испанцев и русских рабочих.

А в центре богатств—американский клуб, десятиэтажный Форд, Клей и Бок — первые ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов над всеми тремя — над Северной и Южной и Центральной Америкой.

Им принадлежит почти весь гаванский Кузнецкий мост: длинная, ровная, в кафе, рекламных и фонарях Прадо. По всей Ведадо, перед их особняками, увитыми розовым каларио, стоят на ножке фламинго, цвета рассвета. Американцев берегут на своих низеньких табуретах под зонтиками стоящие полицейские.

Все, что относится к древней экзотике, красочно, поэтично и малодоходно. Например, красивейшее кладбище бесчисленных Гомецов и Лопецов.

С черными, даже днем, аллеями каких-то сплетшихся тропических бородатых деревьев.

Все, что относится к американцам, прилажено, прилежно и организовано. Ночью я с час простоял перед окнами гаванского телеграфа. Люди разомлели в гаванской жаре, пишут почти не двигаясь. Под потолком на бесконечной ленте носятся зажатые в железных лапках квитанции, бланки и телеграммы. Умная машина вежливо берет от барышни телеграмму, передает телеграфисту и возвращается от него с последними курсами мировых валют. И в полном контакте с нею, от тех же двигателей вертятся и покачивают головами вентиляторы.

Обратно я еле нашел дорогу. Я запомнил улицу по эмалированной дощечке с надписью «трафико». Как будто ясно — название улицы. Только через месяц я узнал, что трафико на тысячах улиц просто указывает направление автомобилей. Перед уходом парохода я сбежал за журналами. На площади меня поймал оборванец. Я не сразу мог понять, что он просит о помощи. Оборванец удивился:

Ду ю спик инглиш?
Парлата эспаньола?
Парле ву франсе?

Я молчал и только под конец сказал ломано, чтоб отвязаться: «ай эм реша».

Это был самый необдуманный поступок — оборванец ухватил обеими руками мою руку и заорал:

Гип большевик!
Ай эм большевик!
Гип, гип!

Я скрылся под недоуменные и опасливые взгляды прохожих.

Мы отплывали уже под гимн мексиканцев.

Как украшает гимн людей! — даже купцы стали серьезны, вдохновенно повскакивали с мест и орали что-то вроде:

Будь готов, мексиканец,
Вскочить на коня.

К ужину давали незнакомые мне éды — зеленый кокосовый орех с намазывающейся маслом сердцевиной и фрукт манго—шарж на банан с большой волосатой косточкой.

Ночью я с завистью смотрел пунктир фонарей далеко по правой руке,— это горели железнодорожные огни Флориды.

На железных столбах в третьем классе, к которым прикручивают канаты, сидели вдвоем я и эмигрирующая одесская машинистка. Машинистка говорила со слезой: «Нас сократили, я голодала, сестра голодала, двоюродный дядька позвал в Америку. Мы сорвались и уже год плаваем и ездим от земли к земле, от города к городу. У сестры ангина и нарыв. Звали вашего доктора. Не пришел. Вызвал к себе. Говорит:— раздевайтесь. Сидит с кем-то и смеется. В Гаванне хотели слезть зайцами — оттолкнули. Прямо в грудь. Больно. Так в Константинополе, так в Александрии. Мы третьи... классы!

Этого и в Одессе не бывало. Два года ждать нам, пока пустят из Мексики в Соединенные Штаты. Счастливый. Вы через полгода опять увидите Россию».

Мексика. — Вера-Круц. Жиденький бережок, с маленькими низкими домишками. Круглая беседка для встречающих рожками музыкантов.

Взвод солдат учится и марширует по берегу. Нас прикрутили канатами. Сотни маленьких людей в тричетвертиаршинных шляпах кричали, вытягивали до второй палубы руки с носильщическими номерами, дрались друг с другом из-за чемоданов и уходили, подламываясь под огромный кладей. Возвращались, вытирали лицо и орали и клянчили снова.

— Где же индейцы? — спросил я соседа.

— Это индейцы, — сказал сосед.

Я лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майн-Риду. И вот стою, оторопев, как будто перед моими глазами павлинов переделывают в куриц.

Я был хорошо вознагражден за первое разочарование. Сейчас же за таможней пошла непонятная, своя, изумляющая жизнь.

Первое — красное знамя с серпом и молотом в окне двухэтажного дома.

Ни к каким советским консульствам это знамя никак не относится. Это «организация Проаля». Мексиканец в'езжает в квартиру и выкидывает флаг.

Это значит:

В'ехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду. Вот и все.

Попробуй, вышиби.

В крохотной тени от стен и заборов ходят коричневые люди. Можно итти и по солнцу, но тогда тихо, тихо — иначе солнечный удар.

Я узнал об этом поздно и две недели ходил раздувая ноздри и рот — чтоб наверстать нехватку разреженного воздуха.

Вся жизнь, и дела, и встречи, и еда — все под холщевыми полосатыми навесами на улицах.

Главные люди — чистильщики сапог и продавцы лоттерейных билетов. Чем живут чистильщики сапог, — не знаю. Индейцы босые, а если и обуты, то во что-то не поддающееся ни чистке, ни описанию. А на каждого имеющего сапог — минимум 5 чистильщиков.

Но лоттерейщиков еще больше. Они тысячами ходят с отпечатанными на папиросной бумаге миллионами выигрышных билетов, в самых мелких купюрах. А на утро уже выигрыши с массой грошевых выдач. Это уже не лоттерея, а какая-то своеобразная, полукарточная, азартная игра. Билеты раскупают, как в Москве подсолнухи. В Вера-Круц не задерживаются долго: покупают мешок, меняют доллары, берут мешок с серебром за плечи и идут на вокзал покупать билет в столицу Мексики, Мехико-сити.

В Мексике все носят деньги в мешках. Частая смена правительств (за отрезок времени в 28 лет — 30 президентов) подорвала доверие к каким бы то ни было бумажкам. Вот и мешки.

В Мексике бандитизм. Признаюсь, я понимаю бандитов. А вы, если перед вашими носами звенят серебряным, даже золотым мешком, разве не покуситесь?

На вокзале увидел вблизи первых военных. Большая шляпа с пером, желтое лицо, шестивершковые усы, палаш до полу, зеленые мундиры и лакированные желтые краги.

Армия Мексики интересна. Никто, и военный министр тоже, не знают, сколько в Мексике солдат. Солдаты под генералами. Если генерал за президента, он, имея тысячу солдат, хвастается 10 тысячами. А получив на десять, продает еду и амуницию девяти.

Если генерал против президента, он щеголяет статистикой в тысячу, а в нужный момент выходит драться с десятью.

Поэтому военный министр, на вопрос о количестве войска, отвечает:

— Кин сав, кин сав. А кто знает. Кто знает. Может 30 тысяч, но возможно и сто.

Войско живет по-древнему, в палатках со скарбом, с женами и с детьми.

Скарб, жены и дети, этакой махновщиной, выступают во время междоусобных войн. Если у одной армии нет патронов, но есть маис, а другие без маиса, но с патронами — армии прерывают сражение, семьи ведут меновую торговлю, одни наедятся маисом, другие наполнят патронами сумки и снова раздувают бой.

По дороге к вокзалу автомобиль спугнул стаю птиц. Есть чего испугаться.

Гусиных размеров, вороньей черноты, с голыми шеями и большими клювами, они подымались над нами.

Это «зопилоты», мирные вороны Мексики, ихнее дело — всякий отброс.

От'ехали в девять вечера.

Дорога от Вера-Круц до Мехико-сити, говорят, самая красивая в мире На высоту 3.000 метров вздымается она по обрывам, промежду скал и сквозь тропические леса. Не знаю. Не видал. Но и проходящая мимо вагона тропическая ночь необыкновенна.

В совершенно синей ультрамариновой ночи черные тела пальм, совсем длинноволосые богемцы-художники. Небо и земля сливаются. И вверху и внизу звезды. Два комплекта. Вверху неподвижные и общедоступные небесные светила, внизу ползущие и летающие звезды светляков.

Когда озаряются станции, видишь глубочайшую грязь, ослов и длинношляпых мексиканцев в «сарапи», пестрых коврах, прорезанных по середине, чтоб просунуть голову и спустить концы на живот и за спину.

Стоят, смотрят,— а двигаться не их дело.

Над всем этим сложный, тошноту вызывающий запах, странная помесь вони: газолина и духа гнили банана и ананаса.

Я встал рано. Вышел на площадку.

Было все наоборот.

Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают.

На фоне красного восхода, сами окрапленные красным, стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в бородавках вслушивался нопаль, любимый деликатес ослов. Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал могей. Его перегоняют в полупиво-полуводку — «пульке», спаивая голодных индейцев. А за нопалем и магеем, в пять человеческих ростов, еще какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только темно-зеленый в иголках и шишках.

По такой дороге я в'ехал в Мехико-сити.

Диего-де-Ривейра. — Встретил меня на вокзале. Поэтому живопись — первое с чем я познакомился в Мехико-сити.

Я раньше только слышал, будто Диего один из основателей компартии Мексики, что Диего величайший мексиканский художник, что Диего из кольта попадает в монету на лету. Еще я знал, что своего Хулио Хуренито Эренбург пытался писать с Диего.

Диего оказался огромным, с хорошим животом, широколицым, всегда улыбающимся человеком.

Он рассказывает, вмешивая русские слова (Диего великолепно понимает по-русски), тысячи интересных вещей, но перед рассказом предупреждает:

— Имейте в виду, и моя жена подтверждает, что половину из всего сказанного я привираю.

Мы с вокзала, закинув в гостиницу вещи, двинулись в Мексиканский музей. Диего двигался тучей, отвечая на сотни поклонов, пожимая руку ближайшим и перекрикиваясь с идущими другой стороной.

Мы смотрели древние, круглые, на камне, ацтекские календари из мексиканских пирамид, двумордых идолов ветра, у которых одно лицо догоняет другое. Смотрели и мне показывали не зря. Уже мексиканский посол в Париже, г-н Райес, известный новеллист Мексики, предупреждал меня — что сегодняшняя идея мексиканского искусства — это исход из древнего пестрого грубого народного индейского искусства, а не из эпигонски-эклектических форм, завезенных сюда из Европы. Эта идея — часть, может еще и не осознанная часть, идеи борьбы и освобождения колониальных рабов.

Поженить грубую характерную древность с последними днями французской модернистской живописи хочет Диего в своей еще неоконченной работе — росписи всего здания мексиканского министерства народного просвещения.

Это много десятков стен, дающих прошлую, настоящую и будущую историю Мексики.

Первобытный рай, со свободным трудом, с древними обычаями, праздниками маиса, танцами духа смерти и жизни, фруктовыми и цветочными дарами.

Потом — корабли генерала Эрнандо Кортеса, покорение и закабаление

Подневольный труд с плантатором (весь в револьверах), валяющимся в гамаке. Фрески ткацкого, литейного, гончарного и сахарного труда. Подымающаяся борьба. Галлерея застреленных революционеров. Восстание с землей, атакующей даже небеса. Похороны убитых революционеров. Освобождение крестьянина. Учение крестьян под охраной вооруженного народа Смычка рабочих и крестьян. Стройка будущей земли. Коммуна — расцвет искусства и знаний.

Эта работа была заказана предыдущим недолговечным президентом. в период его заигрывания с рабочими.

Сейчас эта первая коммунистическая роспись в мире предмет злейших нападок многих высоких лиц из правительства президента Кайеса.

Соединенные Штаты — дирижер и Мексики — дали броненосцами и пушками понять, что мексиканский президент только исполнитель воли северо-американского капитала. А поэтому (вывод не труден) незачем разводить коммунистическую агитационную живопись.

Были случаи нападения хулиганов и замазывания и соскребывания картин.

В этот день я обедал у Диего.

Его жена — высокая красавица из Гвадалахары.

Ели чисто мексиканские вещи.

Сухие, пресные, пресные, тяжелые лепешки-блины. Рубленое скатаное мясо с массой муки и целым пожаром перца.

До обеда кокосовый орех, после — манго.

Заливается отдающей самогоном дешевой водкой коньяком-хабанерой.

Потом перешли в гостиную. В центре дивана валялся годовалый сын. а в изголовье, на подушке, бережно лежал огромный кольт.

Приведу отрывочные сведения и о других искусствах.

П о э з и я. — Ее много. В саду Чапультепеке есть целая аллея поэтов — Кальсада дель поэтос.

Одинокие мечтательные фигуры скребутся в бумажки.

Каждый шестой человек обязательный поэт.

Но все мои вопросы критикам о сегодняшней значительной мексиканской поэзии, о том, есть ли что-либо похожее на советские течения — оставались без ответа.

Даже коммунист Átepeo, редактор железнодорожного журнала, даже рабочий писатель Крус, пишут почти одни лирические вещи со сладострастиями, со стонами и с шторами и про свою любимую говорят:

Ком лео нубио,
Как нубийский лев.

Причина, я думаю, слабое развитие поэзии, слабый социальный заказ Редактор журнала «Факел» доказывал мне, что платить за стихи нельзя, — какая же это работа? Их можно помещать только как красивую человеческую позу, прежде всего выгодную и интересную одному автору. Интересно, что этот взгляд на поэзию был и в России в предпушкинскую и даже в пуш-

кинскую эпоху. Профессионалом, серьезно вставлявшим стихи в бюджет, был, кажется, тогда только один Пушкин.

Поэзия, напечатанная, да и вообще хорошая книга, не идет совсем. Исключение только переводные романы. Даже книга «Грабительская Америка», насущная книга об империализме в Соединенных Штатах и возможности об'единения латинской Америки для борьбы, переведенная и напечатанная уже в Германии, здесь расходится в пятистах экземплярах и то чуть ли не при насильственной подписке.

Те, кто хотят, чтоб их поэзия шла, издают лубочные листки с поэмкой, приспособленной к распеву на какой-нибудь общеизвестный мотив.

Такие листки показывал мне делегат Крестинтерна тов. Гальван. Это предвыборные листки с его же стихами, за грош продающимися по рынкам. Этот способ надо бы применить вапповцам и мапповцам, вместо толстенных академических антологий на рабоче-крестьянском верже, в 5 руб. ценой.

Русскую литературу любят и уважают, хотя больше по наслышке. Сейчас переводится (!) Лев Толстой — Чехов, а из новых я видел только «Двенадцать» Блока, да мой «Левый марш».

Театр. — Драмы, оперы, балет пустуют. Заезжая Анна Павлова имела бы полный зал, только б если у нее двоилось в глазах.

Я был раз в огромном театре на спектакле кукол. Было жутко видеть это приехавшее из Италии потрясающее искусство. Люди, казавшиеся живыми, ломались в гимнастике по всем суставам. Из бабы человечьей величины десятками вылетали танцовать крохотные куколки обоего пола.

Оркестр и хор полуаршинных людей выводил невозможные рулады. И даже на этом официальном спектакле, в пользу авиаторов Мексики, полны были только ложи дипломатических представителей, хотя билеты и продавались вручную, вразнос.

Есть два «батаклана», подражание голым парижским ревю. Они полны. Женщины тощие и грязные. Очевидно, уже вышедшие из моды, из лет и из успеха в Европе и в Штатах. Пахнет потом и скандалом. Номер получасового вращения (с дрожью) задом (обратная сторона танца живота) повторяется трижды и снова бешеный свист, заменяющий в Мексике аплодисменты.

Так же посещаем кино. Мексиканское кино работает от восьми вечера и показывают одну неповторяющуюся программу из трех-четырех огромных лент.

Содержание ковбойское, происхождение американское. Но самое любимое, самое посещаемое зрелище — это бой быков.

Огромное стальное строение арены—единственное здание по всем правилам, по всей американской широте.

Человек — тысяч на сорок. Задолго до воскресенья газеты публикуют:

Лос очос торос
8 быков.

Быков и лошадей, принимающих участие в битве, можно заранее осматривать в конюшнях торо. Такие-то и такие-то знаменитые тореадоры, матадоры и пикадоры принимают участие в празднике. В назначенный час ты-

сячи экипажей со светскими дамами, катящими с ручными обезьянками в своих роильсах и десятки тысяч пешеходов прут к стальному зданию. Цены на билеты, раскупленные барышниками, вздуты вдвое.

Цирк открытый.

Аристократия берет билеты в теневой дорогой стороне, плебс — на дешевой, солнечной. Если после убийства двух быков, из общей программы в 6 или в 8, дождь заставляет прекратить живодерню, публика, так было в день моего приезда, ярится и устраивает погром администрации и деревянных частей.

Тогда полиция прикатывает брандсбои и начинают окачивать солнечную (плебейскую) сторону водой. Это не помогает, тогда стреляют в тех же солнечников.

Торо.

Перед входом огромная толпа ждет любимцев-быкобоев. Именитые граждане стараются сняться рядом с высокомерным быкобойцем, аристократки-синьоры дают, очевидно для облагораживающего влияния, подержать им своих детей. Фотографы занимают места почти на бычьих рогах — и начинается бой. Сначала пышный, переливающий блестками парад. И уже начинает бесноваться аудитория, бросая котелки, пиджаки, кошельки и перчатки любимцам на арену. Красиво и спокойно сравнительно проходит пролог, когда тореадор играет с быком красной тряпкой. Но уже с бандерильеров, когда быку в шею втыкают первые копья, когда пикадоры обрывают быкам бока и бык становится постепенно красным, когда его взбешенные рога врезаются в лощажьи животы и лошади пикадоров секунду бросаются с вывалившимися кишками — тогда зловещая радость аудитории доходит до кипения. Я видел человека, который спрыгнул со своего места, выхватил тряпку тореадора и стал сам взвивать ее перед бычьим носом.

Я испытал высшую радость: бык сумел воткнуть рог меж человечьими ребрами, мстя за товарищей-быков.

Человека вынесли.

Никто на него не обратил внимания.

Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами сдиратели шкур. Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять.

Почему нужно жалеть такое человечество?

Единственное, что примиряет меня с боем быков — это то, что и король Альфонс испанский против него.

Бой быков — национальная мексиканская гордость.

Когда, распростившись с своим делом, купив дома и обеспечив себя и детей и едой и лакеями, знаменитый быкобоец, Рудольфо Гооно, уехал в Европу — вся пресса взвыла, собирая анкеты, имеет ли право этот великий человек: у кого будет учиться, с кого будет брать пример подрастающая Мексика!

Поражающих архитектурных памятников новой стройки я в Мексике не видел. Быстро меняющиеся президенты мало задумываются о долговечных стройках. Диэц, пропрезидентствовавший тридцать лет, под конец начал строить не то сенат, не то театр. Диэца прогнали. С тех пор прошло много лет. Готовый скелет из железных балок стоит, а сейчас, кажется, его получил на слом или продажу, за какие-то услуги президенту, какой-то мексиканский спекулянт. Новой и хорошей вещью мне показался памятник Сервантесу (копия Севильского). Возвышающаяся площадка, обнесенная каменными скамейками, посредине фонтан, очень нужный в мексиканской жаре. Скамейки и низкие стены выстланы плитками, воскрешающими в простеньких лубочках похождения Дон-Кихота. Маленький Дон и Санчо-Панса стоят по бокам. Никакого усатого или бородастого Сервантеса.

Зато два шкафика его книг, которые тут же много лет листают возвышенные мексиканцы.

Город Мехико-сити плоский и пестрый. Снаружи почти все домики ящиками. Розовые, голубые, зеленые. Преобладающий цвет розовато-желтый, этаким морским песком на заре. Фасад дома скучен, вся его красота внутри. Здесь дом образует четырехугольный дворик. Дворик усажен всякой цветущей тропичностью. Перед всеми домами, обнимающая дворик двух-трех-четырехэтажная терраса, обвитая зеленью, увешанная горошками с ползучими растениями и клетками попугаев.

Целое огромное американское кафе Самборн устроено так: застеклена крыша над двориком — вот и все.

Это испанский тип домов, завезенный сюда завоевателями.

От старого восьмисотлетнего Мехико, когда все это пространство, занимаемое городом, было озеро, обнесенное вулканами и только на островочке стояло пуэбло, своеобразный город дом-коммуна, тысяч на 40 человек, от этого ацтекского города не осталось и следа.

Зато масса дворцов и домов первого завоевателя Мексики Кортеса и его эпохи недолгого царя Итурбиды, да церкви, церкви и монастыри. Их много больше 10.000 расставлено по Мексике.

И огромные новые соборы, вроде брата Нотр-Дама Кафедраля, на площади Сокола, да маленькой церковки в старом городе, без окон, заплесневшей и зацветшей. Она брошена лет двести назад, после сражения монахов с кем-то, вот и стоит дворик, в котором еще и сейчас валяется допотопное оружие, в том порядке, вернее в беспорядке, в котором побросали его разбитые осажденные. И мимо огромных книг на деревянных подставках носятся летучие мыши и ласточки.

Правда, упомянутым кафедралом для молений пользуются мало, у кафедраля с одной стороны вход, а с другой — четыре выхода на четыре улицы. Мексиканские синьорины и синьориты пользуются собором, как проходным двором для того, чтобы, оставив в ждущем шоффере впечатление религиозной невинности, выскользнуть с другой стороны в об'ятие любовника или под руку поклонника.

Хотя церковные земли конфискованы, процессии религиозные запрещены правительством, но это остается только на бумаге. На деле, кроме попов, религию блюдут и множество своеобразных организаций: «Рыцари Колумба», «Общества дам католичек», «Общества молодых католиков» и т. д.

Это дома и здания, на которых останавливаются гиды и Куки. Дома истории, дома попов и дома богатых.

Коммунисты показывали мне кварталы бедняков, мелких подмастерьев, безработных. Эти домики лепятся друг к другу, как клетки для галош в Художественном театре, но с еще большей грязью. В этих домах нет окон и в открытые двери видно, как лепятся семьи из восьми, из десяти человек в одной такой комнатке.

Во время ежедневных летних мексиканских дождей вода заливает протоптанные ниже тротуаров полы и стоит вонючими лужами.

Перед дверьми мелкие худосочные дети едят вареный маис, продающийся здесь же и хранящийся теплым под грязными тряпками, на которых ночью спит сам торговец.

Взрослые, у которых есть еще 12 сантимов, сидят в «пулкерей», этой своеобразной мексиканской пивной, украшенной коврами сарапи с изображением генерала Боливара, с пестрыми лентами или стеклярусами вместо дверей.

Кактусовый пульке, без еды, портит сердце и желудок. И уже к сорока годам индеец с одышкой, индеец с одутловатым животом. И это — потомок стальных Ястребиных Когтей, охотников за скальпами. Это обобранная американскими цивилизующими империалистами страна, страна, в которой до открытия Америки валяющееся серебро даже не считалось драгоценным металлом. Страна, в которой сейчас не купишь и серебряного фунта, а должен искать его на Волстрит в Нью-Йорке. Серебро американское, нефть американская. На севере Мексики, но владении американцев и густые железные дороги и промышленность по последним техническим словам.

А экзотика — на кой она чорт! Лианы, попугаи, тигры и малярии это на юге, это мексиканцам. Что американцам! Тигров что ли ловить, да стричь шерсть на кисточки для бритья.

Тигры — это мексиканцам. Им — голодная экзотика.

Самая богатая страна мира, уже посаженная северо-американским империализмом на голодный паек.

Жизнь города начинается поздно, в 8 — 9 часов.

Открываются рынки, слесарные, сапожные и портняжные мастерские, все электрифицированные, со станками для опиливания и крашенья каблуков, с утюгами для глажения сразу всего костюма. За мастерскими правительственные учреждения.

Масса такси и частных автомобилей, вперемежку с демократическими тряскими, грязными автобусами, не комфортабельней и не вместительней нашего грузового полка.

Авто конкурирует с автобусами и авто разных фирм между собой.

Эта конкуренция, при больше чем страстном характере испанцев-шоф-ферое, приобретает боевые формы.

Авто гоняется за авто, авто вместе гоняются за автобусом, а все со-бща в'езжают на тротуары, охотясь за необдуманными пешеходами.

Мехико-сити — первый в мире город по количеству несчастных случаев т автомобилей.

Шоффер в Мексике не отвечает за увечья (берегись сам), поэтому сред-яя долгота житья без увечий — 10 лет. Раз в десять лет давят каждого. Іравда, есть и нераздавленные в течение 20 лет, но это за счет тех, кото-ые в пять лет уже раздавлены.

В отличие от врагов мексиканского человечества — автомобилей — рамваи исполняют гуманную роль. Они развозят покойников.

Часто видишь необычное зрелище. Трамвай с плачущими родственни-ами, а на прицепе-катафалке покойник. Вся эта процессия жарит во всю, массой звонков, но без остановок.

Своеобразная электрификация смерти.

Сравнительно с Соединенными Штатами, народу на улицах мало — до-ишки маленькие с садами, протяжение города огромное, а жителей всего 00 тысяч.

Уличных реклам мало. Только ночью врезается одна. Мексиканец из лектрических лампочек накидывает лассо на коробку папирос, да все такси крашены изогнувшейся в плавании женщиной — реклама купальных остюмов.

Единственная реклама, которую любит малоудивляющийся мексиканец, то «барата»—распродажа. Этими распродажами заполнен город. Самые со-идные фирмы обязаны ее об'являть — без распродажи мексиканца не заста-ишь купить даже фиговый лист.

В мексиканских условиях это не шутка. Говорят, муниципалитет по-:сил на одной из застав, вводящих в Мехико-сити, для усовещевания че-эсчур натуральных индейцев, вывеску:

«В Мехико-сити
без штанов
вход воспрещается».

Магазинная экзотика есть, но она для дураков, для заезжих, скупаю-их сувениры, сухопарых американок. К их услугам прыгающие бобы, черес-ур яркие сарапи, от которых будут шарахаться все ослы Гвадалахары, су-очки с тисненым ацтекским календарем, открытки с попугаями из настоя-их попугайских перышек. Мексиканец чаще останавливается перед машин-ыми магазинами немцев, бельевыми — французов, мебели — американцев.

Иностранных предприятий бесконечное количество. Когда в праздник I июля французские лавки подняли флаги, то густота их заставила ду-ать, что мы во Франции.

Наибольшими торговыми симпатиями пользуются Германия, немцы.

Говорят, что немец может проехать по стране, пользуясь всеобщим іебосольством, только из любви к его национальности. Недаром в самой

распространенной здесь газете я видел типографские машины, привезенные недавно только с немецкими клеймами, хотя до Америки сутки, а до Гамбурга езды 18 дней.

До 5 — 6 часов служба, работа. Потом к вертушкам. Перед парикмахерскими в Америке вертушки — стеклянный цилиндр с разноцветными спиралями, реклама мексиканских парикмахерских. Другие—в чистильню сапог. Длинный магазин с подставками для ног перед высокими стульями. Чистильщиков на 20.

Мексиканец франтовит — я видел рабочих, которые душатся. Мексиканка ходит неделю в дырах, чтоб в воскресенье разодеться в шелка. С семи часов центральные улицы загораются электричеством, которого здесь жгут больше, чем где бы то ни было, во всяком случае больше, чем позволяют средства мексиканского народа. Своеобразная агитация за крепость и благополучие существования под сим президентом.

В 11 часов, когда кончаются театры и кино, остаются несколько кафе да загородные и окраинные подвальные кабачки — ходьба начинает становиться небезопасной. В сад Чанультранек, в котором дворец президента, уже не пускают.

По городу горох выстрелов. Сбежавшаяся полиция не всегда обнаруживает убийство, чаще всего стреляют в трактирах, пользуясь кольтом, как штопором. Отшибают бутылочьи горлышки. Стреляют просто из авто, для шума. Стреляют на пари — тянут жребий, кто кого будет застреливать — вынувший застреливает честно. В саду Чанультранеке стреляют обдуманно. Президент приказал не впускать в сад с темнотой (в саду президентский дворец), стрелять после третьего предупреждения. Стрелять не забывают, только иногда забывают предупреждать. Газеты об убийствах пишут с удовольствием, но без энтузиазма. Но зато, когда день обошелся без смерти, газета публикует с удивлением:

«Сегодня убийств не было».

Любовь к оружию большая. Обычай дружеского прощания такой: становишься животом к животу и похлопываешь по спине. Впрочем, похлопываешь ниже и в заднем кармане брюк всегда прохлопнешь увесистый кольт.

Это у каждого от 15- до 75-летнего возраста.

Капля политики. — Капля — потому, что это не моя специальность, потому что жил в Мексике мало, а писать об этом надо много.

Политическая жизнь Мексики считается экзотической, потому что отдельные факты ее на первый взгляд неожиданны, а проявления необычны.

Чехарда президентов, решающий голос кольта, никогда не затухающие революции, сказочное взяточничество, героизм восстаний, распродажа правительств, — все это есть в Мексике и всего вдоволь.

Прежде всего о слове революционер. В мексиканском понятии это не только тот, кто, понимая или угадывая грядущие века, дерется за них и ведет к ним человечество — мексиканский революционер, это каждый, кто с оружием в руках свергает власть — какую безразлично.

А так как в Мексике каждый или свергнул, или свергает, или хочет свергнуть власть, то все революционеры.

Поэтому это слово в Мексике ничего не значит и, прочтя его в газете в применении к южно-американской жизни, надо спрашивать дальше и глубже. Я видел много мексиканских революционеров, от молодых энтузиастов-комсомольцев, до времени прячущих кольт, ждущих, чтобы и Мексика пошла по нашему октябрьскому пути, от этих и до 65-летних стариков, копящих миллионы для подкупа к выступлению, за которым самому мерещится президентский пост.

Всего в Мексике около 200 партий, — с музейными партийными курьезами вроде «партии революционного воспитания», Рафаэля Маиена, имеющей и идеологию, и программу, и комитет, но состоящей всего из него одного, или вроде прогоревших лидеров, предлагающих городскому управлению вымостить за свой счет целую улицу, только чтоб хотя б один переулок был назван их именем. Для рабочего зрения интересна «лабористская» партия. Эта мирная «рабочая партия», по духу близкая северо-американскому Гомперсу, лучший показатель того, как дегенерируют реформистские партии, заменивши революционную борьбу торговлей из-за министерских портфелей, благородными речами с трибуны и торгово-политическими махинациями в кулуарах.

Интересна фигура деятеля этой партий, министра труда, Маранеса, которого все журналы рисуют не иначе, как с горящими бриллиантами во всех грудях и манжетах.

К сожалению, я не могу дать достаточного очерка жизни коммунистов Мексики.

Я жил в Мехико-сити, в центре официальной политики, рабочая же жизнь сконцентрировалась севернее, в нефтяном центре Тампико, на рудниках штата Мексико, среди крестьян штата Вера-Круц. Могу только вспомнить несколько встреч с товарищами.

Товарищ Гальван, представитель Мексики в Крестинтерне, организовал в Вера-Круц первую сельско-хозяйственную коммуну, с новыми тракторами и с попытками нового быта. Он, как настоящий энтузиаст, рассказывает о своей работе, раздает фотографии и даже читает стихи о коммуне. Товарищ Карио, еще совсем молодой, но один из лучших теоретиков коммунизма — и секретарь, и казначей, и редактор, и все что угодно в одно и то же время.

Площадь Гереро — индеец. Коммунист-художник. Прекрасный политический карикатурист, владеющий и карандашом и лассо.

Тов. Морено. Депутат от штата Вера-Круц.

Морено вписал в мою книжку, прослушав «Левый марш» (к страшному сожалению, эти листки пропали «по независящим обстоятельствам» на американской границе):

«Передайте русским рабочим и крестьянам, что пока мы еще только слушаем ваш марш, но будет день, когда за вашим маузером загремит и наше 33» (калибр кольта).

Кольт загремел, но, к сожалению, не мореновский, а в Морено.

Уже находясь в Нью-Йорке, я прочел в газете, что тов. Морено убит правительственными убийцами.

Компартия Мексики мала, на полтора миллиона пролетариев — около двух тысяч коммунистов, но и из этого числа только товарищей триста активных работников.

Но влияние коммунистов растет и распространяется далеко за пределы партии — коммунистический орган «Эль Мачете» имеет пятитысячный фактический тираж.

Еще один факт:

Товарищ Монсон уже в федеральном сенате стал коммунистом, будучи послан в сенат лабористами штата Сан-Луис Потоси... Его дважды вызывала его бывшая партия для отчета — он не показывался, занятый делами компартии. Тем не менее, его не могут лишить полномочий, благодаря его огромной популярности в рабочей массе.

Эксцентричность политики Мексики, ее необычность на первый взгляд — об'ясняется тем, что корни ее надо искать не только в экономике Мексики, но и в расчетах и вожделениях Соединенных Штатов и, главным образом, в них. Есть президенты, которые президентствовали чуть не час, так что, когда являлись интервьюеры, президент уже был свергнут и отвечал с раздражением: «разве вы не знаете, что я был выбран всего на полтора часа?».

Такая быстрая смена об'ясняется отнюдь не живым темпераментом испанцев, а тем, что такого президента выбирают по соглашению со штатами для спешной и покорной проводки какого-нибудь закона, защищающего американские интересы. С 1824 г. (выбор первого президента Мексики, генерала Гваделупе) за 30 лет сменилось 37 президентов и 5 раз радикально менялась конституция. Прикиньте еще, что из этих тридцати семи — тридцать были генералами, а значит каждое новое вступление сопровождалось оружием — и вам станет немного ясней вулканическая картина Мексики.

В соответствии с этим и приемы борьбы мексиканские.

Перед голосованием — предвидя у противника большинство голосов, лихие делегаты крадут обладателей лишних голосов противной партии и держат до принятия резолюций.

Это не система — но бывает. Генерал вызывает в гости другого, и за кофе, сантиментальный, как и все испанцы, уже сжимая револьверную рукоять, со слезами уговаривает коллегу:

— Пей, пей, это последняя чашка кофе в твоей жизни.

Конец одного из генералов ясен.

Только в Мексике могут быть такие истории, как история генерала Бланча, позднее рассказанная мне уже в американском Лоредо. Бланча брал города в компании десяти товарищей, сгоняя с гор тысячный табун лошадей. Население города разбегалось и сдавалось, воображая тысячный отряд, справедливо думая, что лошадям одним незачем брать город. Но лошади брали потому, что их гнал Бланча. Бланча был неуловим, то дружа с американцами против мексиканцев, то с мексиканцами против американцев.

Его поймали на женщине. Подосланная красавица выманила его на мексиканскую сторону и в трактире всыпала ему и его товарищу какую-то сонную дрянь. Его сковали вместе с товарищем и бросили скованных в реку, делящую два Лоредо. Стреляли из кольтов с лодок.

Очнувшийся от холода силач-великан Бланча сумел порвать наручники, но его тянул прикованный товарищ.

Их тела вытащили только через несколько дней.

Много идей взлетают искрами от этих сшибающихся людей, отрядов, партий.

Но одна идея об'единяет всех — это жажда освобождения, ненависть к поработителям, к жестоким «гринго», сделавшим из Мексики колонию, отрезавшим половину территории (так что есть города, половина которых мексиканская, вторая — американская), к американцам, стотридцатимиллионной тушей придавившим двенадцатимиллионный народ.

«Гочунин» и «гринго» два высших ругательства в Мексике.

«Гочунин» — это испанец. За 500 лет, со времени вторжения Кортеса, это слово потухло, тлеет, потеряло остроту.

Но «гринго» и сейчас звенит, как пощечина (когда врывались в Мексику американские войска, они пели:

Грин-гоу
ди рошес ов..:

старая солдатская песня — и по первым словам сократилось ругательство).

Случай.

Мексиканец на костылях. Идет с женщиной. Женщина англичанка. Встречный. Смотрит на англичанку и орет:

— Гринго.

Мексиканец оставил костыли и вынул кольт.

— Возьми обратно свои слова, собака, или я просверлю тебя на месте.

Полчаса извинений, дабы сгладить страшное незаслуженное оскорбление.

Конечно, в этой ненависти к гринго не совсем правильное отожествление понятий — «каждый американец» и «эксплоататор». Неправильное и вредное понимание «нации» так часто парализовало борьбу мексиканцев.

Мексиканские коммунисты знают, что:

500 мексиканских нищих племен,
а сытый
с одним языком,
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.

Все больше понимают трудящиеся Мексики, что только товарищи Морена знают, куда направить национальную ненависть, на какой другой вид ненависти перевесть ее.

Нельзя
борьбе
в племена рассекаться —

Нищий с нищим —
рядом.
Несись
по земле
из страны мексиканцев
роднящий крик:
«Камерадо».

Все больше понимают трудящиеся (первомайская демонстрация — доказательство), что делать, чтобы свергнутые американские эксплоататоры не заменились отечественными.

Скинь
с горба
толстопузых обузу,
Ацтек,
креол
и метис!
Скорее
над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись!

«Арбузом» называется мексиканское знамя. Есть предание: отряд повстанцев, пожирая арбуз, думал о национальных цветах.

Необходимость быстрой переброски не дала долго задумываться.

— Сделаем знамя арбузом, — решил выступающий отряд.

И пошло: зеленое, белое, красное,
корка, прослойка, сердцевина.

Я уезжал из Мексики с неохотой. Все то, что я описал, делается чрезвычайно гостеприимными, чрезвычайно приятными и любезными людьми.

Даже семилетний Хезус, бегающий за папиросами, на вопрос об имени, неизменно отвечал:

— Хезус Пупито, ваш покорный слуга.

Мексиканец, давая свой адрес, никогда не скажет: «вот мой адрес». — Мексиканец оповещает: «Вы теперь знаете, где ваш дом».

Предлагая сесть в авто, говорит:

— Прошу вас сесть в свой автомобиль.

А письма, даже не к близкой женщине, подписываются:

— Целую следы ваших ног.

Похвалить вещь в чужом доме нельзя, ее заворачивают вам в бумажку.

Дух необычности и радушие привязали меня к Мексике.

Я хочу еще быть в Мексике, пройти с тов. Хайкисом еще Мореном намеченную для нас дорогу. Из Мехико-сити в Вера-Круц. Оттуда два дня на юг поездом, день на лошадях и в непроезженный тропический лес с попугаями без счастья и с обезьянами без жилетов.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

В горах Азербайджана.

Ал. Ракитников.

Ангехаран лежал за небольшой шумливой горной речушкой.

В нем было все обычно: бедно, убого и неуютно, на всем лежал неизгладимый отпечаток недавней междунациональной резни, приведшей в здешних краях к неимоверным разрушениям и человеческим бедствиям.

По нагорному скату лепились друг к дружке, карабкались каменные, приземистые строения, таинственно поблескивая черными, железными решетками. За каменными оградами уныло лиловели тощие туши буйволов, их несуразно-широкие тупые губы медленно ерзали друг о друга в сонной жвачке. Худые стога сена, казалось, приземливались под тяжестью снежных шапок. Снег — этот внезапный бич, видно, вдоволь погулял и поегозил, забив ватным тампоном небо и обычно славное, теплое ангехаранское солнце.

— Идем, — сказал мой друг и попутчик Гусейн, протискивая ровное белозубье сквозь красноватые губы, — идем, покажу свое хозяйство.

Я думал, он всерьез. Неожиданно он остановился перед грудой камней, кирпичей и валунов и сказал:

— Мой дом.

Я недоверчиво покачал головой. Но это оказалось так: великий раззор прошел и по лицу ангехаранской земли.

— Как жить станешь? — спросил я Гусейна.

Он не знал замечательных, дурашливых русских слов: авось да небось. Он крепко стиснул зубы и сказал:

— Сделаем, все сделаем.

В тот же день он обошел приятелей и знакомых, побывал у председателя исполкома, беседовал с угрюмым Османом, председателем комитета взаимопомощи, и когда я встретился с ним в сельской школе после почти двухчасовой разлуки, он был вдвойне полон надежд и веры, он насвистывал что-то веселое и не мог удержаться от того, чтобы не сказать мне:

— Говорил, что Ангехаран хорошо будет, говорил.

— А где солнце? — смеясь, спросил я его, — где?

— Будет, все, голубчик, будет.

Он был неимоверно взбудоражен и весел. Родина пьянила его, родная земля окрыляла его крестьянскую душу. Он даже сказал, что теперь хо-

рошо бы выпить бутыль доброго вина, хотя коран — «ай, этот коран» (Гусейн при этом хитро ухмыльнулся) — не разрешает пить доброму мусульманину, а-ни-ни, ни капельки.

Школа — маленькое, душное помещеньице с низкими потолками и узкими окошками — была переполнена народом. Тут были не только комсомольцы и дети, но и «почтенные», щеголявшие сочным, черным цветом бородищ.

Урок политграмоты был на исходе. Я познакомился с учителем местной школы, а также с инструктором школы-передвижки. Мы разговорились. Я стал опрашивать комсомольцев и детей. И тут пришлось столкнуться с той непомерной жаждой грамотности, знаний и «хорошей» жизни, какая обуяла ныне все мусульманские деревни, какая дает себя чувствовать почти в каждом селении.

Черные бороды утверждали, что это они посылают своих детей в школы и комсомол. Молодежь не возражала. Но намекала на некоторую самостоятельность. Все единодушно жаловались на никудышное школьное помещение и не могли скрыть зависти к селению Аксу, где строится большая школа с просторными классами, с огромным коридором, который вполне может быть приспособлен под театр (в Ангехаране под театр отведена — конюшня).

Все шло гладко, как вдруг дверь широко распахнулась, и вошло несколько взволнованных человек и затараторили. Оказалось — жалобщики. Пришли просить защиты. Это Гусейн рассказал, что я пишу в газетах.

Один, высокий с печальным лицом, стал излагать свою жизнь: сколько дней он тратит на работу — круглый год, изо дня в день, сколько детишек у него — много, много, сколько прорех в хозяйстве — руками развел, а вот наложили налогу 34 руб. 60 коп.

Я принужден был вооружиться карандашем. Стал переводить на деньгу его хозяйство и прибыль. У него оказалось два быка, одна лошадь, один плуг. Земля дала ему около 250 пуд. ячменя, а на рынке ячмень стоял в 3 руб. 50 коп.

Председатель исполкома, молодой энергичный парень, в военной фуражке с лиловым околышем, утверждал, что налог не тяжел. Я подсчитал и пришел к тому же выводу. Чернобородый опечалился.

— Мы очень бедные, — сказал его сосед, — у нас в селе более 27 семейств вовсе голодают. Наше селение было вовсе разрушено.

Председатель исполкома, недавно приехавший в Ангехаран, счел необходимым поддержать.

— Есть, — сказал он, — неправильности, но мы их исправляем. У нас есть специальная тройка, которая копается в этих делах.

Чернобородый недоверчиво покачал головой, малость замялся и потом продолжал:

— У нас тебе другое есть дело. Арестовали тут у нас одного хорошего человека. Зовут его Агаджан. Был он у нас председателем исполкома и комитета вазимопомощи, а теперь об'явили его взяточником, в тюрьму посадили, даже на поруки не дают. Нельзя ли это дело выяснить, а пока что — пусть дадут нам его на поруки.

Я записал. Сказал: буду в городе, порасспрошу кого надо и сделаю все.

Впоследствии, переговорив в Шемахе с целым рядом товарищей, я принужден был передать им, что, к сожалению, ничего не могу для них сделать, так как считаю арест Агаджана правильным.

История с Агаджаном характерна и для других сел, чревата опасностями для самой идеи Советской власти на деревне.

Еще в 20-м году в селении Ангехаран председателем исполкома «заделался» очень бедный человек Агаджан. Ничего у него не было: ни кола, ни двора, а брюки были изорваны в тысяче местах, на голове не было даже шапченки путевой. Сразу Агаджан поставил работу толково и умело. Придет к нему бедняк — Агаджан жалостлив и внимателен, и словом и делом поможет, если надо зерна — одолжит, если не из госфонда, то будто из личных запасов. А придет кулак — суров и жесток, и не разжалобится, и не уймется, пока тот... не умаслит его добрым «пешкешом».

И повелось так — правая рука делает одно, а левая другое. И ничего — и бедняки будто довольны, и богачи. Богач за деньги всего добивается, а бедняку через сие — также некая кроха перепадает.

Воистину был Агаджан хитер и толков. Умел ладить со всеми. И никому в голову не приходило, что от всей этой политики одному Агаджану хорошо. Некоторые бедняки потемней даже говорили: «ну, что из того, что он берет взятки, ведь некая часть перепадает и нам, беднякам».

Так шло не мало лет.

Но в конце прошлого года Агаджан до того хозоброс, обзавелся таким невероятным количеством галифе и френчей, что стали интересоваться в уезде: а кто это у нас новый такой бек удалой, Агаджан, откуда у него такие добротные коровенки, крепкие буйволы, баранье, оплывшее сытыми курдюками?

Вскоре уяснили себе все, и удалой Агаджан угодил в тюрьму.

Вот примерный список (неполный) Агаджанова добра: 17 голов крупного скота, 8 лошадей, 12 барашек, 300 пудов пшеницы (200 пудов успел раздать беднякам, когда стали заинтересовываться его личностью, после этого многие бедняки стали ходить по учреждениям, хвалить Агаджана, просить, чтобы не казнили его, а миловали), 50 пудов муки.

Кроме того, земли засеял 30 десятин, в то время как у других — наделы не достигают и десятины.

Делом этим заинтересовался наркомвнудел: уж очень смачное дело. И герою Ангехарана суждено предстать перед судом и ему, вероятно, сторицей воздастся за каждую коровенку и каждого буйвола.

Перед от'ездом обедали у Авас Мамедова. Он пригласил меня с присущей в этой местности любезностью.

Сев на корточки полукругом, у небольшого выцветшего коврика, мы предались чайному кейфу.

Инструктор передвижки жаловался на тоску, изо дня в день забирающую его: он недавно из Баку, и вот тянет его обратно, сосет — мочи нет.

Тяжело в нашей деревне, но работы — непочатый край. Есть такие, что с 20 года коммунисты, а не грамотны. Спросишь его ерунду какую, сущие пустяки, каждый пионер в городе знает, молчит.

За чайным ковриком, на корточках сидел весь «культурный цвет» Ангехарана. Ежеминутно прибывали новые и уже вокруг нас стояли кольцом несколько человек, жадно ловивших каждое слово.

Восток любит беседы, восток уважает человеческое слово.

Говорил больше всех Абас Заде. Он являлся сторонником крайних мер. Он не мог равнодушно говорить о боге, а особливо о его неустанных хитрых агентах-мулах.

— Вы не знаете, что здесь делается, — кипятился он, — здесь чорт знает что делается. Темнота непроходимая. Мулла это все. Без муллы ни на шаг. Особенно женщины.

Хозяин Авас суетился, стараясь накормить нас на славу. Он принес две большие тарелки чихертмы (курица с яйцом), навалил гору юхи [1]) и просил кушать и кушать. Для тепла он зажег лампу. Не нашел сил скрыть.

— За керосином приходится в город бегать.

— Кооператив надо, — сказал Абас Заде.

— Конечно, надо, — сказал Авас и успокоился.

— По-моему мнению, — сказал Абас Заде, возвращаясь к вопросу о муллах, — надо все эти гнезда, т.-е. мечети, вместе с муллой облить керосином и сжечь.

Возник спор. Все возражали против таких огненных мер. Но Абас Заде не унимался. В подкрепление крайних мер он стал приводить различные случаи — столь же пикантные, сколь и печальные.

— Приходит одна женщина к мулле и говорит: «больная я, очень больная, детей нет, муж недоволен, нельзя без детей». Мулла важно погладил бороду: «можно, все можно». Осмотрел ее, видит недурна, под стать его вкусу, толста в меру. «Хорошо, говорит, есть такая молитва, особая молитва, если ее написать на тебе, начнешь рожать, рожать во-всю. Только, говорит, молитву эту надо на бедрах написать». Слово муллы — закон. Разделась и ждет молитвы. Ну, конечно, мулла изнасиловал ее. Вот, мол, тебе бог, а вот — и порог, иди и рожай. Но потерпевшая не смолчала, и дело это сейчас находится у прокурора. А сколько глупых молчат.

— А вот в одном селении, в горах, неподалеку отсюда, живет большой святой — шейх Гамид-Паша. Силу имеет огромную. Любой в селении даст вам ложную клятву именем аллаха, но именем шейха — ни за что. Потому аллах далеко в небесах... а шейх тут, под боком, если узнает, что

---

[1]) Хлеб.

его именем ложно поклялись, может такую молитву сказать, что у человека все хозяйство прахом пойдет, жена зачахнет, а его поразит не одна тысяча болячек. Вот, однажды, пришла к этому шейху женщина и жалуется на бесплодие. Хитер шейх. Имеется у него два кованых ящика одинакового вида. Один тяжелый, наполненный камнями, другой пустой. «Ну, говорит, подними-ка этот ящик». Хочет женщина поднять и не может. Камень тяжелый. «Эх, и грешная же ты, — говорит шейх, — ох, как грешна, видишь, не поднять тебе. Останься у меня, работай, молись, авось облегчишься». Осталась у него. Пожил он с ней вдосталь. А как надоела, говорит: «ну-ка теперь ящик подыми». А ящик-то уже другой, пустой. Подняла. «Вот видишь, как облегчилась, — говорит. — Ни одного греха не осталось. Ну, а теперь иди на все четыре стороны».

Слушатели дружно смеялись. Каждого взяло за живое и посыпались истории не менее занятные и любопытные, чем две вышеприведенные.

Таков уж дух времени. Набожный хозяин, аккуратно делающий намаз [1]), сохранял внешне невозмутимый вид и даже время от времени чуть подсмеивался. В прежние времена — этак лет двадцать тому назад — он наверняка не допустил бы в своем доме такого кощунства. Очевидно, микроб безбожия даже здесь в темной, отсталой тюркской деревне не так уж слаб.

После обеда дали мне добрую, низкорослую лошаденку, и я помчался дальше в неведомую Шемаху. Верст пять меня провожал инструктор школы-передвижки. Его худая, прямая фигура на рослом горном скакуне удивительно напоминала испанского рыцаря Дон-Кихота. Только фон был необычайный — синий снег, черные оскалы ущелий и скалистых срывов, плоские острия гор с залегшими, вечными снегами, хмуро торчащими из-под облачной мякоти.

Некогда Шемаха была огромным цветущим городом. Шемахинцы гордились садами, ковровым производством, крепким горным воздухом, остатками ханских дворцов, его давних причуд и капризов, твердили всем о несметных минеральных богатствах, рассеянных вокруг в долинах и ущельях гор.

Хоть торговали шемахинцы во-всю, но жизнью жили тихой, стародавней, пуще всего блюди старину, живя и умирая в отблесках славы ковровых выдумщиков и мастеров, пуще всего боялись, чтобы не ковырнул кто-либо, не замутил застоялого, жизненного болотца.

Рассказывают, что еще в царские времена, когда кому-то вздумалось провести железную дорогу в Шемаху, шемахинцы всполошились донельзя, встали сплошной, челобитной стеной просителей, оттоптали все чиновничьи дороги, слезно моля о пощаде. Среди веских аргументов, не последнюю роль играло то соображение, что с проведением железной дороги яйцо, которое стоило одну треть копейки, вскружится до копейки.

---

[1]) Молитву.

Шемахинцев пощадили. Они остались в стороне, в захолустье, тихо копошась в мертвой зыби — сплетен и суеверий.

Но пришли иные нещадные года и люди, гражданская война, армяно-тюркская резня, и Шемаху выкорчевали с корнем, с домами, людьми и от нее остались одни пышные развалины, не хуже ханских. Шемахинцы рассеялись по лицу Закавказья, унося в груди незабываемые воспоминания о тугом, застоялом быте. На чужбине они являли образцы горделивой верности отцовским обычаям.

Но за нещадными годами снова пришли творческие, и на суровое пепелище потянулись шемахинцы. Принялись ковыряться в горных камнях, земле, им отпустили лесу, немного денег, и Шемаха стала застраиваться, развертывая ряд за рядом — бесконечную цепь лавченок.

В Шемахе пришлось пробыть три дня. Жил я у торговца табаком, спичками и ламповыми фитилями. Его звали Гасаном. Вообще в Шемахе несколько сот Гасанов, и это имя, очевидно, самое любимое здесь, и звучит так же уютно и обычно, как русское Иван.

Гасан очень важен, медленен в движениях, скуп и однообразен на словах. Он сидит в своей лавочке, сидит на корточках, упорно теребит белые четки, остро оглядывает пустынные улички в ожидании покупателя. Но покупателей нет как нет. Шемаха еще пустынна.

Он думает о налогах, о Советской власти, думает неодобрительно. Но, главным образом, его волнует широкоспинная фигура милиционера, которому почему-то — «давай бесплатный папироса, давай спичка, давай хвитиль, все давай, только давай». Думая о милиционере, он все больше и больше несогласен с нынешним мироустроением.

Живется мне у Гасана ничего. В нишах у него куча одеял и подушек. Мне он отдает одно из лучших одеял. Утром я пью чай, в обед я пью чай, вечером я пью снова чай, и за чаем неизменно мелко колотый сахар в голубой вазочке и серый чурек [1]). Впрочем, обедать я хожу в духан, где кормят надоевшим до чрезвычайности шашлыком, хожу тайком от Гасана, чтобы не обидеть его, ибо он думает, что самое лучшее блюдо в мире — крепкий чай.

Вечером Гасан обычно входит важно и молча. Мы запускаем ноги в кюрси [2]), и Гасан начинает сосредоточенно посасывать кальяновую трубку.

— Ты скажи мне, товарищ, — начинает он обычно, — почему торговля плохой, почему? Разве плохой товар держим?

Потом заметив, что я курю папиросы, скорбно вопрошает:

— Почему у меня не купил, почему? разве наш товар плохой?

Затем идут ровные рассказы о житье-бытье, и каждый день одни и те же.

Сегодня Гасан недоволен, во-первых, «новым бытом».

---

[1]) Хлеб.

[2]) Выдолбленная в полу небольшая квадратная яма, в которую устанавливается печурка с угольями; ноги просовываются вниз под пол, поверх покрываются одеялом.

— Взял живой ребенок, потащил в театр, на ячейку, в красный пеленка завернул, музыка играла, без мулла, совсем не хорошо.

Гасан печально качает головой.

— А какой имя дал. Инглаб (революция). Разве мой имя Гасан — плохой имя, или жена Акима — плохой имя, ну, скажи мне?

Во-вторых, Гасан страшно недоволен, что у гр. В. попрежнему вечерами играет граммофон, что у гр. В. попрежнему хорошая обстановка и дом, стоющий, по крайней мере, две тысячи.

— Откуда взял, скажи мне, откуда граммофонный паластинка взял? Жалованье маленький, покупатель нет, а у него паластинка играет. Я буржуй, а он коммунист. Теперь скажи, если у него паластинка каждый вечер играет, а у меня нет, кто буржуй?

В-третьих, Гасан недоволен...

В третьих, ему редко удается высказаться. Отчаянный визг и крик, похожий на падение дробинок о жесть, заставили его спокойно выдернуть изо рта кальянную трубку и, не спеша запахнувшись в халат, пойти на женскую половину.

Там стоял обычный тарарам.

У Гасана две жены, одну звать Зелейха, другую Акима. Одна любимая, черноглазая, по-детски суетливая, падкая до ярких цветных материй и разных побрякушек, другая — забытая, старая, в оспинах, делающая всю работу, но строго помнящая заветы Магомета о равноправии жен. Но Гасан в женском вопросе делает обычное отступление и чихает на равенство. Только Зелейхе он дарит новые платья, только Зелейхе он приносит цветные безделушки, а недавно подарил ей серебряный пояс шириною в три пальца.

Несколько минут в частую дробь женских голосов врывался громовержный рокот Гасановского голоса. Потом два честных от сердца удара, мгновенная тишь и, наконец, завывный плач наказанной Акимы.

Гасан возвращается обратно, молчаливый, довольный и спокойный. После ссоры своих жен, он считает обязательным сказать мне:

— Русский жена — хороший жена, мусульманский жена выгоню, возьму русский.

Потом его занимает обычное сомнение:

— Только русский жена—больной жена,—почему больной, скажи мне?

И в третий раз я принужден выслушивать рассказ об одном бедном влюбленном, также по имени Гасан, и о некой Марусе, заразившей его сифилисом.

Выпив чаю, сердечно благодарю Гасана и ухожу по делам.

Пустая комнатушка. Простой стол без полировки и скамьи. На стенах два-три полинявших плаката. И все. Это женотдел.

Заведующая женотделом тов. Шамси, казанская татарка, вводит меня в круг женской доли в благословенной Шемахе.

— Двоеженство у нас теперь в загоне. Но попыток обхода—сколько угодно. Сплошь и рядом бывает. Вот недавно приходит один и говорит:

— Не могу жить с первой женой, хочу другую завести.

Хорошо. Развелся. Но у первой жены ребенок остался. Через некоторое время приходит и снова ноет и слезит:

— Ребенок мой скверно живет, голодает. Первая жена голодает. Есть у меня три комнатки. В двух буду с настоящей женой, а в третьей пусть живет первая, бывшая. Буду ее кормить помаленьку, ребенка буду видеть, ребенок — отца.

Говорит жалостливо, — ну, как не поверить? Получил разрешение. А через некоторое время прибегает его бывшая первая жена и ревмя-ревет:

— Муж бьет.

— Какой муж? — спрашиваю.

— Муж — Мамед-оглы.

— Да какой он тебе муж, ведь он развелся с тобой?

Оказалось — перехитрил Мамед-оглы женотдел. Не мытьем, так катаньем, — обзавелся двумя женами.

— Вы думаете, среди коммунистов не бывает чего-либо в таком роде? Вот, например, сколько мы бьемся, что заставить некоторых коммунистов приводить на собрания своих жен и сестер. Даже в повестках точно указываем: надлежит вам явиться с женой. Но ничего не помогает. Уговорами, подчас угрозами, заставляют жену пойти к врачу, изобразить мнимо-больную, лишь бы получить удостоверение о болезни, освобождающее от обязательного посещения собрания.

— Привлекли мы как-то одну местную тюрчанку для работы в театральном кружке. Что же вы думаете? Заклевали. Из комсомола даже ее исключили. Каких только кляуз не возвели на нее!

— Есть у нас тут один коммунист. Стоит кому-либо на улице поклониться его жене или заговорить с нею, — готово: в тот же день в доме пойдет все вверх дном, и жене не миновать быть порядком избитой.

— Бывает, конечно, и обратное. Но не так уж часто. Вот жена одного товарища А., если сама не может притти почему-либо на собрание, обязательно заставит пойти мужа. «Пойди, расскажешь мне потом».

Морщится муженек, неохота ему оторвать ленивых губ от кальянной трубки или отказаться от очередной игры в нарды.

— Увы!—таких у нас немного. Если б таких набралось десяток, хорошо было б.

К концу нашего разговора вошел деревенский парень с мешком за спиной и стал просить скорей продвинуть его дело. Он пришел пешком из селения Зархи (Матрасинского участка). Его дело заключалось в следующем: один комсомолец, односельчанин, 18-ти лет, хочет силком взять в жены его 14-летнюю сестру. У комсомольца винтовка, сельчане боятся его, не знают, что делать, а комсомолец грозится выкрасть ее с помощью товарищей, если не дадут добровольно. Оказывается, и отец комсомольца в давние времена был участником не одного похищения, и сын, не скрывая отцовского стажа, похваляется этой великолепной наследственностью.

Тов. Шамси направила его в комсомол и к начальнику уездной милиции.

Вечером Шемаха особенно тиха. По скользким уличкам маячат редкие человеческие тени. У лавченок тускло горят керосиновые фонари, зловеще оттеняя ряды коротких, несуразных столбов.

Сегодня вечером в местном клубе очередные октябрины. Вместе с одним комсомольцем Рухулой, оказавшимся моим соседом, во все дни моего пребывания в Шемахе добросовестно рассказывавшем о местном житье, мы скользили по кривым, неудобным тротуарам, идя на свет уездной аптечки, возле которой помещается клуб.

За окном аптеки видно, как быстрые руки насыпают что-то в бумажные конвертики: «аптека также спешит в клуб».

Длинный сырой коридор. Буфет. Стойка с тремя тарелками. На них какие-то неприглядные пирожки. Наконец, небольшой продолговатый зал, негусто напиханный народом.

Широкий, ядреный, крепкоскулый человек в кожаной тужурке рубит ладонью воздух, рубит слова о новом быте.

На эстраде красные знамена, смущенные родители, пионерские флаги и галстуки, традиционный графин с водой.

В большой красной пеленке, испещренной лозунгами, молча барахтается червячек. Подле стоит мать и пытается что-то сказать. Но ничего не выходит. Она безнадежно машет рукой и отходит в сторону.

Червяку дают имя — ненавистное моему хозяину, Гасану, — имя — Инглаб.

Рояль играет Интернационал. Кучерявый комсомолец торжественно об'являет о принятии тов. Инглаба в ряды пионеров и дает клятву приготовить из него хорошего комсомольца. Тов. Инглаб внезапно всхлипывает, вызывая у слушателей радостный смех.

За Инглабом идет следующий. Сегодня октябрят сразу нескольких.

Внезапно кто-то теребит меня за плечо. Оборачиваюсь: ба, Гасан, какими судьбами!

Он печально качает головой и укоризненно говорит:

— Видишь, совсем нехорошо, ай, нехорошо.

Он зашел сюда на минутку, так, по крайней мере, он об'ясняет свое присутствие. Я думаю, что его загнала сюда острая ненависть к красным пеленкам и знаменам.

После торжества мы втроем возвращаемся домой. Рухулла рад, смешливо передразнивает старые шемахинские обычаи и напевает по-мусульмански «комсомольскую». Гасан сумрачно молчит и тяжко думает невеселую думу — не об «Инглабе» ли?

Памяти Сергея Есенина.

Эх, Сергей, ты сам решил до срока
Завершить земных волнений круг...
Знал ли ты, что станет одинока
Песнь моя, мой приумолкший друг!

И каким родным по духу словом
Пели мы — и песнь была тиха.
Видно, под одним народным кровом
Мы с тобой растили дар стиха.

Даже и простое восклицанье
Часто так и славило без слов,
Что цвело певучее братанье
Наших русских песенных стихов.

И у нас — о, свет воспоминаний!—
Каждый стих был нежностью похож:
Только мой вливался в камень зданий,
Твой — в густую золотую рожь.

И, влеком судьбою полевою,
Как и я — судьбою городской,
Ты шагал крестьянскою тропою,
Я шагал рабочей мостовой.

Ты шагал... и, мир вбирая взглядом,
Вдохновеньем рвался в пастухи:
Милым пестрым деревенским стадом
Пред тобой стремился мир стихий.

На пути, и нежный, и кудрявый,
Ты вкусил горячий мед похвал...
И — кузнец, создатель каждой славы —
И тебя мой город приковал.

А потом, как будто злой проказник,
Как дикарь, как недруга рука,
Толканул, чтоб справить славы праздник,
В чумовые недра кабака.

И, твоим пристрастьем непрестанным
Утвердив лихие кутежи,
Застил город огневым стаканом
Золотой любимый облик ржи.

Где же ты, зеленых кос небрежность?
Где пробор березки при луне?..
И пошел тоскливую мятежность
Разносить, как песню, по стране.

Знать, не смог ты здесь найти покою —
И под пьяный тягостный угар
Затянул смертельною петлею
Свой чудесный стихотворный дар.

Хоть земля твой облик крепко скрыла,
Мнится бледной памяти моей,
Что вот-вот — и свежая могила
Вспыхнет близкой россыпью кудрей
И стихов испытанная сила
Запоет о благости полей.

Василий Казин.

На караул.

Сладкопевец мудрый
Утонул в снегу.
Золотые кудри
Песней сберегу.

Аржаное знамя
По снегам равнин
Вольными руками
Понесу один.

Свистом молодецким,
Перезвоном крыл —
Стороне советской
Подогрею пыл!

Хорошо ли, худо ль,
В славе наша рать.
Мне ли надо удаль
Где-то занимать?

Сон хороший снился
Во сыром бору.
Соколом родился,
Соловьем умру!

Край берез и воли!
Позабыв разгул,
Я сегодня в поле
Стал на караул.

Это не измена
И не дикий пляс,
Это только смена
На короткий час!

Петр Орешин.

Ответ.

Милый, ты назначил встречу,
Только где ж твой дом?
Как тебе *туда* отвечу
И каким письмом?

Все я сделаю, что надо,
И не поленюсь,
Чтобы красным листопадом
Прозвенела Русь.

По снегам и по морозам
Без дорог пойду,
На ушко твоим березам
Расскажу беду.

Сяду вкруг осин пригожих,
На клочек травы...
— Синеглазого Сережу
Не видали вы?

Да не он ли на опушке
Нам, под новый год,
Развеселые частушки
Соловьем поет?

Желтый лист несут метели
Через перевал...
Не Сережа ли с похмелья
Кудри растерял?

В поле холодно немножко,
Белый ветер лих.
Хорошо звенит гармошка
В пальцах ледяных.

Растрепать бы не пора ли
Нам земную сонь?
Три березки заплясали
Под его гармонь.

Клены топчутся неловко
На кресте дорог.
Ах, рассветная обновка,
Синий поясок!

Это он судьбу ворожит,
Это он поет.
— Русь, не ты ль вокруг Сережи
Водишь хоровод?

Светлый, радостный, кудрявый,
Он стоит один,
Озарен всемирной славой,
Средь степных равнин.

Милый, ты назначил встречу
Кровяным письмом...
— Соловей мой, я отвечу,
Я найду твой дом!

Петр Орешин.

Об отошедшем.

А. Воронский.

Росстани:

Краткая весть во всей своей жуткой нелепости и неотвратимости, вокзальный перрон, властный лязг и уверенное, бездушное громыхание, дымовый дых паровоза, запах машинного масла и нефти, небольшой вагон в конце поездного состава, почти детский коричневый под дуб гроб, качающийся на руках поверх густых, плотных и нестройных рядов, мимо застывшей в немом спокойствии «стальной конницы» — вот победитель и вот побежденный, — повитый траурным зал, свинцовое с прозеленью лицо, церковное и скорбное, у переносья и под глазом ожоги от трубы парового отопления — последнее целование, — когда-то непокорные цвета спелой ржи волосы, потерявшие свой мягкий и нежный блеск, постно и гладко зачесанные назад и вместо сини глаз ушедшие в глубь слепые впадины, погребальное шествие по рассолодевшим от оттепели грязным улицам, сырая и рыхлая земля, плач, поспешная, привычная работа лопатами. — все непреложно и замкнуто и мы говорим — он был.

На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.

Он был истинным поэтом, ибо вмещал в себе чувства и мысли, которые можно было выразить лишь на поэтическом языке стиха и песни. Это понимали. В Баку за несколько месяцев до своей смерти на дружеской вечеринке Есенин читал персидские стихи. Среди других их слушал тюркский собиратель и исполнитель народных песен старик Джабар. У него было иссеченное морщинами-шрамами лицо, он пел таким высоким голосом, что прижимал к щеке ладонь левой руки, а песни его были древни, как горы Кавказа, фатальны и безотрадны своей восточной тоской и печалью. Он ни слова не знал по-русски. Он спокойно и бесстрастно смотрел на поэта и только шевелил в ритм стиха сухими губами. Когда Есенин окончил чтение, Джабар поднялся и сказал по-тюркски, — как

отец говорит сыну: «Я — старик. 35 лет я собираю и пою песни моего народа. Я поклоняюсь пророку, но больше пророка я поклоняюсь поэту: он открывает всегда новое, неведомое и недоступное пока многим. Я не понимаю, что ты читал нам, но я почувствовал и узнал, что ты большой, очень большой поэт. Прими от старика-поэта преклонение пред высоким даром твоим».

Стихи и песни Есенина были хорошо известны читающей России. Даже те, кому наиболее чуждыми казались его основные поэтические настроения, не могли равнодушно отнестись к его творчеству: его стихи доходили, цеплялись за сердце и находили отклик у каждого по-своему. Бездушного отношения к Есенину, самого тяжкого для всякого поэта, не было ни у кого. Крестьянин и рабочий самоучка, ценившие поэзию, рабфаковец и рабкоровец — литераторы, искушенные писатели и начинающие поэты читали и знали Есенина и ждали его очередных стихов. Широту охвата его поэзии подчеркнули и похороны: они об'единили в большой и пестрой толпе людей, в иные моменты не связанных обычно друг с другом.

Есенин принадлежал к группе писателей и поэтов, пришедших в нашу отечественную литературу после первых бурных революционных всплесков пятого года. Есенин, Клюев, Клычков, Орешин, Пришвин, Иван Вольнов, Чапыгин, Касаткин — люди одного художественного направления. По-своему, по-особому, каждый на свой лад и образец они отразили новые сдвиги в нашем крестьянстве и в нашей литературной общественности. Их подняла волна растущего крестьянского самосознания, самодеятельности, самостоятельности, требовательности и желания утвердить свои права и законы и, наконец, волна культурного под'ема в крестьянстве. Они принесли с собой в литературу чистоту, цветистость, узорность и меткость народного языка и говора, материальность и выразительность образов, взятых из деревенского обихода, с поля, из перелесков, от большаков проселочных дорог. Наш интеллигентский, отвлеченный, небрежный язык разночинца, оставя позади сладковатую бальмонтовщину, они обогатили и приукрасили, черпая полновесными пригоршнями рудометное словесное золото из богатейшей народной сокровищницы. Но прежде всего они дали нам почувствовать дремучую, медвежью, аржаную, овинную и лесную Русь. О скирдах и снопах, о васильках и поле, об оврагах и перелесках, о лесах и горах наших, о буланых и пеструхах писали и раньше, но писали иначе. Наши крестьянствующие поэты и писатели клюевской и есе-

…нинской повадки сумели передать нам самую плоть и кровь старой деревенской Руси, ее аромат, ее особый запах. Вспомните у Есенина наудачу его черемуху и березку, кудлатых щенков, кленовую осеннюю медь, тальянку и ченку, осеннее олово, ссутулившийся дом, сад в голубых накрапах, кровь ягод рябины, отзвеневшую по траве сумерок зари косу, золотую дремотную Азию, опочившую на куполах, жидкой позолотой заката обрызганные поля, лебяжью шею ржи, розовую водь — все это — во плоти, материально осязаемо, это — сгусток давно нам знакомого и родного. Эту Русь он любил и чувствовал.

> Но даже и тогда,
> Когда на всей планете
> Пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть,
> Я буду воспевать всем существом в поэте
> Шестую часть земли
> Названьем кратким «Русь».

Он был национален и умел писать только о российском. Недаром поездка в Европу и в Америку прошла бесследно для поэтического творчества Есенина. Его персидские стихи пахнут больше васильками, рожью и полем, чем востоком. Есенин сумел свою любовь к родимому краю передать в стихе, простом, доступном и захватывающем своей искренностью, напряжением и лиризмом. Это родное, российское поэт обвеял осенней, равнинной грустью, печалью о прошлом, бродяжьей российской удалью кабаков, тоской о милой, предсмертными томлениями и предчувствиями. И если теперь в нашей молодой советской литературе у целых групп поэтической молодежи мы находим почти вещное чувствование нашей природы, орнамент, примитив, склонность к народному сказу в прозе, к выпуклой образности и изобразительности, тягу к деревне, к простоте и ясности в поэзии, которые особенно усиливаются за последнее время, то нетрудно заметить, что эта художественная линия в значительной степени идет от названной группы писателей, в среде которых Есенин в поэзии занял по праву первое место. Оборотной стороной является у этой группы [illegible] , че у всех — узость и ограниченность с дурным [illegible] ма и с преклонением нашего «расейского»: [illegible] У Есенина это нашло выражение, впрочем, не сто[illegible] сколько в нетрезвом поведении.

Есенин не был крестьянским поэтом, тем более он не был выразителем чувств и настроений передового революционного крестьянства наших лет, хотя он и отразил некоторые его сдвиги. Первый

цикл его стихов был деревенски-идиллический, окрашенный церковностью. Затем пришел период «Инонии». В «Инонии» сквозь религиозную, мистическую шелуху просвечивает вполне реалистическая картина своеобразного мужицкого рая, где нет ни чиновников, ни податей, где деревни тучнеют от колхозного урожая, а избы крыты тесом, где нет стальных и железных гостей, от которых поэт ждет только погибели. «Инония» отразила чаяния середняцкого крестьянства, но чаяния очень узкие, ибо в них сочеталась ненависть к барскому и господскому, тяга к земле с оглядкой назад к патриархальному укладу. Сам Есенин мужицкую «Инонию» не смог увязать с «Инонией» современного нашего пролетария, у которого «железный гость» и Америка, дисциплина, политический расчет и такт соединяются с широким русским размахом, с революционной дерзостью, с ширью и необ'ятностью благоуханных родных полей. Среда, в которую первоначально попал поэт, Гиппиус, Мережковский, интеллигентская богема, левые и правые эсеры, нисколько не содействовали тому, чтобы он смог своевременно обрести этот стык. Но Есенин был талантлив и умен, и в ходе нашей революции ему нетрудно было убедиться, что его «Инонию», «мир таинственный и древний», ждет гибель, что железный гость шествует победной поступью и что революция совсем не похожа на то невидимое сверх'естественное преображение, о котором ему мечталось. Потом пришла Америка и Европа. Возвратившись, Есенин не раз говаривал своим близким, что русские деревни после Америки представляются ему жалкими лишаями на земле, а в своей поэме «Страна негодяев» он сетует, что в России так много храмов и так мало уборных. Вера в полудедовскую «Инонию» была расшатана, а новая поэту была чужда. Здесь истоки и личной и общественной и художественной драмы Есенина. Он повис в пустоте. Отсюда—прямой путь в «Москву кабацкую».

В лесах есть поляны. Трава на них по-особому свежа и сочна. Они манят отдохнуть, осмотреться, но ступишь ногой, и темная, вонючая гнилая густая жижа раскрывает недра свои, всасывает и затягивает, — и человек гибнет. Такие поляны называются чарусами. От такой городской чарусы погиб Есенин. Он увидел и отметил себе гибель дедовской старины, но он слишком любил ее, он искал путь-дорогу к новому Китежу, но попал в чарусу. Она жадно и быстро поглотила его. Номера гостиниц, рестораны и кабаки, Стойло пегаса, «бесконечные, пьяные ночи», легкость «побед», непрочные содружества, мелькание людей точно в калейдоскопе, угар и гам кабаков и притонов, расточительные дни один за другими, один за другими. Он расточал единственный, несметный и непов-

римый дар, данный ему природой. Наверное, известное значение имела и легкость, с какой пришла слава к поэту. Его поэтический взлет был головокружителен. Есенин не знал препятствий, у него не было полосы, когда наступают перебои, томительные паузы, когда поэта забывают, оставляют в тени, либо развенчивают. Путь его был победен, удача не покидала его, ему все давалось легко. Неудивительно, что он так легко, безрассудно, как мот, отнесся к своему удивительному таланту. На наших глазах преображалось это прекрасное лицо отрока и пастушка: мокли чудесные синие очи, краснели и припухали веки, серело золото волос, дряблая кожа, тоньше становилась шея, хриплым делался голос, и первой смертной тенью ложилась на щеках немудрая городская косметика, такая ненужная и незаконная на этом лице. И вот уже последний цикл стихов и развязка.

Теперь после самоубийства поэта стихи последнего периода звучат по-особому. Насильственная смерть подвела им новую черту, влила в них новый, роковой смысл. Раньше в них можно было усматривать следы сюжетного приема, художественную условность опытного мастера, всегда законную. Сейчас они потрясают как подлинный документ, строки налились и сочатся кровью, напоены смертной тоской и томлением, крестной мукой, одиночеством и предчувствием гибели. Эстетика отходит на задний план и чувствуешь, как гробовая дрожь сотрясает тело поэта. И когда он бросает поразительные по силе слова: «ставил я на пиковую даму, а сыграл бубнового туза», мы видим не позу нового Германа, а веревку от чемодана и бритву в дрожащих руках поэта у последнего порога. И как-то странно отвечать на досужие вопросы, почему повесился Сергей Есенин. В стихах последнего времени поэт всенародно, с крайней прямотой, с обнаженностью и искренностью отвечает на это почему и предупреждает о своем конце. Из этой предсмертной исповеди видно, как поэт заживо оказался замурованным в глухом склепе: «полюбил я носить в легком теле тихий свет и покой мертвеца». Вокруг поэта нет ни друзей, ни любимых, он чужестранец даже в родном краю, милая отцвела черемухой и никогда не встретится. Он думает только о себе, индивидуализм дошел до крайности. Поэт болен, он у могилы. В известной своей части стихи этого времени являются уже материалом для психиатра и клиники: такова в особенности его поэма о «Черном человеке». Не всегда поэзия — лишь прекрасная художественная условность; слишком часто сквозь черную стройность букв проступает кровь, видны расширенные от ужаса глаза, и в ритме стиха слышится предсмертный крик. За условностью, за приемом, за техникой и обработкой мате

риала у больших художников должны быть правдивость, большая сила и значительность чувств. Таким художником был Сергей Есенин.

Но даже и в этих смертных стихах поэт сохранил любовь и преклонение пред родным краем, примиренность с жизнью и благодарность ей за ее земные дары.

Ну, что ж,— любимые, ну, что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь,
Как ласку новую, приемлю.

Он слишком любил все земное.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь!

* * *

Есть в Есенине еще какие-то сложные и противоречивые начала, сложные сплетения чувств и настроений от прежних древних времен, от предков, не укладывающиеся в цепь общественно-психологических фактов более позднего периода. Биография поэта мало известна: по причинам, ему только ведомым, он скрывал и прятал ее. Дело будущего осветить его жизнь и дать более богатый и тщательно сверенный материал. Но мы знаем, что уже с самого начала поэтического творчества у Есенина отчетливо наметились некоторые основные настроения, упорно повторявшиеся в разных вариациях до конца дней его. Грусть-тоска по ушедшей, рано увянувшей, угасшей и отзвеневшей молодости, буслаевская удаль и бесшабашность, хулиганство и смирение, чувство одиночества, примиренность и буйство, предчувствие своей гибели,— все то, что с наибольшей силой выражено в «Москве кабацкой» и в предсмертных стихах, мы находим и в первых, юношеских вещах поэта. Есенин с этой стороны чрезвычайно цельный поэт, хотя и не широкого диапазона: он несколько однообразен. Подробная биография установит, какие особые, индивидуальные причины заставили поэта от юности томиться темными предчувствиями, тоской и грустью и совмещать в себе лирическую незлобивость с кабацкой буслаевщиной. Но эти черты и особенности издревле свойственны русскому характеру. Это то, что в просторечьи именуется «широкой русской натурой». Эта натура уходит в глубь веков, в глубь нашей истории, она сродни нашему юродству. Стык Европы и Азии, татарщина, вековое рабство и повольщина, ушкуйничество и колонизаторство, искание новых «праведных» мест и земли, стремление уйти, убежать из-под начала чиновников и крепостни-

ков, стихийное повстанчество и неспособность к организованной систематической борьбе, наконец, общая неорганизованность, аморфность этого русского характера в прошлом—это и подобное питали такую «широту натуры». Наш век, наша эпоха со сталью, железом и бетоном, с рассчитанной, взвешенной борьбой классов, с огромными городами, с каменными шоссе и железными дорогами, с дифференциацией характеров отодвигают в прошлое «широту натуры». По-иному, по-особому преображается, переделывается, переплавляется и утилизируется эта «широта»: размах соединяется с американизмом, удаль с беззаветным энтузиазмом, направляемым точной и крепкой рукой. Есенину это оказалось не под силу, ибо в нем старая широта нашла наиболее резкое и сильное воплощение. Он увидел, как гибнет на глазах дорогое, и погиб сам. Общественный смысл его гибели в этом, но он с исключительным даром отразил эти национальные особенности нашего склада, и в этом огромное значение его поэзии. Это останется, как останется трагическая коллизия в нем прошлого и настоящего.

* *
*

Поэзия Есенина поражает своей обнаженной непосредственностью и напряжением. Он писал нутром, всем своим существом. Он был расточителен и в своем поэтическом творчестве, в том, как он творил. Он писал только о том, что глубоко волновало и трогало его. Думается, что и бесшабашность разгула и беспорядочность жизни его по мысли поэта отчасти служили той же поэзии: таким путем он старался держаться на уровне нужного ему под'ема.

В том, что Есенин писал от нутра, было много положительного, но здесь же таилась и прямая опасность. Опасность была в том, что творчество от одного нутра без надлежащей культуры, без упорной работы над собой брало непомерно много сил, и достигнутое окупалось слишком дорогой ценой. Поэзия становилась злой чародейкой и волшебницей. Подобно красавице ведьме из известной повести Гоголя она поражала и приковывала поэта своей странной, сверкающей красотой, заставляла его замыкаться в узкий круг, чтобы отдать его «Вию», вампиром она пила из поэта лучшие соки жизни и ничего не оставляла для других сторон его жизни. Есенин не раз в последнее время жаловался, что его ничто не интересует, что у него нет ни друзей, ни близких: «остались одни лишь стихи». «Средь людей я дружбы не имею. Я иному покорился царству». Таким царством для него была поэзия. В «Руси советской» поэт чувствует себя иностранцем в родной деревне,—он здесь ненужен, он готов все отдать,

со всем примириться, «но только лиры милой не отдам». У Есенина не только ум ушел в талант, ушли в талант его лучшие чувства и инстинкты. В нем художник поработил, поглотил человека. Поэзия обобрала его, ибо он творил непосредственным существом своим, тратя и отдавая ей в дар всего себя. Его судьба — предупреждение многим и многим современным молодым художникам, кои тоже пытаются держаться на одном голом нутре, на первоначально данных и заложенных природой дарах. Они забывают, как забывал и Есенин, что дары эти подобно руде требуют обработки и отшлифовки, требуют умелого и бережливого распоряжения ими. Нам недостает культуры. Оттого и получается, что так часто вянут и выдыхаются наши таланты после первых же напечатанных вещей. У настоящего художника всегда одна основная тема, она довлеет над ним. Но надо уметь варьировать ее, облекать ее в новые формы и одежды. Такое уменье дается культурой, учебой, экономией сил. Многие этого не понимают; они «выкладывают» себя в первой, во второй вещи, а дальше наступает длительный и часто безнадежный кризис. Есенин умел преображать и по-иному выражать свою любимую тему, он был одарен сверх меры, но он тоже старался обойтись одним лишь «нутром»: он не обогащал себя, не учился, не соразмерял. Его конец показал, чего это ему стоило.

* * *

Есенин скучал. Он ждал от русской революции чуда-чудесного. Он надеялся, что в огненной купели ее по-новому родится мир. Он подошел к революции с мистикой и с отвлеченным бунтарством. А революция шла кривыми, окольными путями-дорогами. Революция породила нэп, она потребовала мелкой культурнической работы. Есенин заскучал сильней и глубже. Он увидел серые будни, неудачи и старался забыться в гульбе.

Что-то всеми навеки утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвечиной
Над пропащею этой гульбой!..

Не случайно обострение его тоски, не случайна его смерть. Не мало искренних, чутких, горячих талантливых людей надломилось в эти переходные дни, будучи не в состоянии приспособиться к новой сложной и пестрой обстановке. И уж слишком торопливо, слишком молчаливо проходим мы мимо печальных и трагических фактов, хотя они назойливо лезут и стучатся к нам. Нужно глубже вдуматься, выяснить причины этих случаев, надобно усилить и усугубить борьбу

с обыденщиной, с будничной докукой во имя жизни, крепкой, бодрой и деятельной. Необходимо по-серьезному и открыто вложить персты свои в раны нашего быта, а не болтать об этом, пугаясь первых настоящих попыток в этом направлении. В наших разговорах об оптимизме, по правде говоря, много казенного, подтасованного. Мы не умеем показать во весь рост добытое нами в труде и в борьбе, не умеем часто рассказать о наших победах так, чтобы это заражало, трогало и поднимало над буднями, осмысливало их, и подменяем это свое неумение показными, барабанными реляциями.

Скажут: Есенин — человек прошлого, его судьба не показательна. Неверно это. Есенин был необычайно одарен, он был молод, он жил и среди нас, он печатался в наших органах. И разве его известность, его популярность, то, что его читали очень обширные читательские массы, разве это не имеет значения? И разве в среде молодежи, даже в среде более зрелых партийцев мы не встречаемся с настроениями и с фактами, связанными с именем Есенина? Вчитайтесь в «Дело о трупе» Глеба Алексеева, или это неправда? Подумать надо побольше над концом поэта и сделать выводы. Ведь погиб поэт единственный и неповторимый.

* * *

Особое внимание следует обратить на современную литературную среду. Тяжко и трудно жил поэт за последние годы. Еще более ужасна его смерть. Но хуже то, что в литературной среде у нас есть прямые кандидаты на есенинский конец. Называют даже имена. Смерть Есенина — новое и мрачное предупреждение. Наши болезненные явления среди писателей пора изживать последовательно, твердо и решительно. Представителям Советской власти и нашей партии, влияющим на литературную действительность, следует учесть и понять особенности этой среды; отличительные черты художественного слова, трудности, стоящие на пути, — но прежде всего за оздоровительную работу надо приняться самим братьям-писателям. Иначе веревка и бритва, браунинг и яд, кабак и притон станут нормальным бытовым явлением.

Одно недоразумение требуется рассеять незамедлительно. Раздаются голоса, что в смерти поэта повинны не то коммунисты, не то Советская власть, сузившие его творческий порыв. Со всей решительностью мы отметаем подобные утверждения. Что и говорить, у нас есть люди, и вправду склонные требовать от художника переложения злободневных передовиц на вирши, не считаясь ни с характером таланта, ни с внутренним содержанием писателя, ни

с задачами, которые он ставит себе. Такие есть. Но руководящая линия в области художества со стороны коммунистической партии далека от такой вульгарщины и примитивности. Тем более неправильны упреки в отношении к Есенину. Мы утверждаем, что в литературном наследстве поэта, и пока не дошедшем до читателя, нет вещей, отвергнутых и залежавшихся по обстоятельствам политического характера. Есенин пользовался исключительным вниманием, любовью и почитанием. Не в обиду, не в упрек и не в осуждение покойному, а в утверждение одной лишь правды, будет сказано: из года в год сквозь пальцы смотрели на такие поступки Есенина, которые для других никогда не прошли бы бесследно. Речь идет об его скандалах, правда, в пьяном, т.-е. больном, состоянии. Есенину это сходило, так как его берегли и знали, что он — «неповторимый цветок» и что он болен. За Есениным ухаживали, и к нему относились более бережливо, чем он сам к себе. Повинна эпоха, дух времени, но кто осмелится бросить камень в эту сторону? У трактора сейчас в России не меньше исторических прав, чем у красногривого жеребенка.



Образ Есенина двоится. — Два человека вели в нем тяжкую, глухую и постоянную тяжбу: юноша с кроткими глазами более синими, чем небо, в тихом осеннем листопаде, в грустной и нежной дрёме внимательный и сосредоточенный, простой и искренний, чуткий и даже застенчивый, скромный и понимающий, влюбленный в плоть жизни и в наше однообразное полевое раздолье, — и городской гуляка, забияка, скандалист и озорник, безрассудный мот и больной человек, менявший позы, нарочито подчеркивающий и заострявший свои противоречия, обнажавший их напоказ, игравший ими для «авантюристических целей в сюжете». В борьбе этих двух душ в себе пал Есенин. В его поэзии преодолевал все-таки „первый" человек, и «Черный человек» чаще всего уступал ему свое место. Может быть, поэзия была ареной, где первый человек наиболее решительно и легко одерживал победы над вторым. Потому так и отдавался ей Есенин. Но она же и заставила его платить полновесной ценой цененного.

Таким мы пока храним его в памяти, таким передаем потомству. Дело будущего изменить и дорисовать его образ.

И еще знаем одно: мы осиротели, мы потеряли поэта великой мощи и таланта. Он многое нам дал, но мы вправе были ждать новых поэтических откровений, новых слов и новых песен.

Но песни пропеты и грубо оборваны самим поэтом.

К постановке проблемы жизни и смерти поэтических фактов.

Генн. Поспелов.

Современное состояние литературоведения настойчиво диктует каждому работнику этой отрасли знания, действительно заинтересованному в ее успехах и достижениях, одну обязанность в практической работе: быть не широким и всепринимающим, но исключительным и нетерпимым; одну необходимость: уточнить и отмежевываться. В свое время большинство наук прошли через этот тяжелый, но плодотворный период и только благодаря ему встали на ноги. Для науки о литературе он, повидимому, только наступает.

Уточнять и отмежевываться. В этой широкой и еще неопределенной области, которая носит название литературоведения, где так пестро смешаны об'ективное наблюдение с импрессионизмом, зачатки научного знания с философией по поводу, где критерием для научности нередко служит лишь важность тона и глубокомыслие фразеологии, — в этой области считать интересным и потому законным всякий вопрос, относиться с добродушным вниманием ко всякому способу его решения значит вносить свою лепту в тот беспорядок и дезорганизацию, которые здесь царят, и продолжать их без конца.

Нужно уметь отмежевываться не только навсегда от ненаучных проблем и методов, ненаучных постановок вопроса и систем работы, надо суметь отмежеваться на время от вопросов второй и третьей очереди, от приемов работы, из них вытекающих и потому пока несвоевременных. Браться за решение вопросов второй очереди, часто может быть более интересных и заманчивых, не решив проблем первой необходимости, заниматься, например, конкретными и самодовлеющими историко-литературными проблемами широкого охвата, не решив даже самых примитивных методических вопросов на узком и пробном матерьяле, значит не решить ничего и зря только тратить время и силы.

Но для того, чтобы иметь возможность произвести это отмежевание и от неприемлемого вовсе и от несвоевременного пока, надо иметь перед глазами четкую теоретическую схему научной работы вообще, в которой были бы дана и система вопросов, вообще подлежащих решению, и то, какие из

них сейчас своевременно поставить для практической работы и какими заниматься пока еще бесполезно. Исходя из этой схемы, должна бы выполняться и всякая конкретная, исследовательская работа, которой необходимо понимать свое место среди других практических работ, уже имеющихся или только подлежащих созданию для выполнения общего научного плана работы. Без такой организованности невозможно будет изжить того хаоса и той отчаянной распыленности сил, которые мы имеем и которые все-таки надо изживать, несмотря на то, что существующая группа научных работников так не привыкла к коллективной и организованной работе.

I.

Одним из важных моментов в разработке теоретической схемы научной работы является обсуждение и постановка основных проблем литературоведения. Кажется, не будет ошибкой сказать, что последнее имеет две основные проблемы.

Установить генезис поэтических фактов прошлого, со всеми особенностями и отличиями их стиля, вскрыть причины их появления и смены, их сходства и различия, для того чтобы иметь возможность уяснить художественные рессурсы, которые еще таит в себе то или иное творчество или направление, и через это предусмотреть их дальнейшее развитие,— такова первая, основная проблема литературоведения. Метод диалектического матерьялизма отвечает на эту проблему, проблему рождения, понятием надстройки. Алгебраическое ее решение («В литературе, искусстве выражается общественная психология, а характер общественной психологии определяется свойством тех взаимных отношений, в которых находятся люди, составляющие общество. Эти отношения зависят в последнем счете от развития общественных производительных сил. Каждый значительный шаг в развитии этих сил ведет за собой изменение в общественных отношениях людей, а вследствие этого и в общественной психологии. Перемены, совершающиеся в общественной психологии, отразятся с большей или меньшей яркостью и на литературе и искусстве» — Плеханов) требует конкретизации, раскрытия и дальнейшей разработки. Некоторые достижения, правда, очень скромные, в этой области уже имеются. Во всяком случае эта проблема твердо поставлена, теоретические ее предпосылки солидно мобилизованы и стали общим достоянием.

Но у научного литературоведения есть и другая основная проблема,— проблема жизни и смерти поэтических фактов. Общеизвестны явления скорой утери интереса, утери суггестивности, как выразился бы А-р Веселовский, со стороны читающих слоев общества к одному ряду литературных произведений и через это их более или менее быстрое забвение, сдача в архив истории. С другой стороны, столь же общеизвестны факты сохранения суггестивности другим рядом произведений художественного слова, т.-е. сохранения к себе интереса у читающих масс, благодаря чему они становятся как бы постоянным достоянием общества. Поэтому: установить причины

юлгой жизни или скорого умирания поэтических фактов прошлого, чтобы иметь средства предусмотреть обе эти возможности для фактов настоящего, — так можно сформулировать эту вторую основную проблему литературоведения.

В науке она обычно вызывает к себе менее внимания, чем первая. Уже ее алгебраическое решение, которое в равной мере кроется в общих положениях нашего метода, естественно отступало на второй план. Энгельс писал Мерингу: «мы переносили и должны были переносить центр тяжести на то, чтобы выводить политические, правовые и прочие идеологические представления... из экономических основных фактов...», далее: «с этим связано также идиотское представление идеологов: так как мы за различными идеологическими областями... не желаем признать самостоятельного исторического развития, то значит мы отрицаем за ними всякую историческую роль». Он же писал Блоху: «нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и поводов отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии».

То же в литературоведении и, конечно, по тем же причинам. Свое назначение: решать арифметические задачи на основе формул данным методом, эта наука по отношению к своей второй проблеме еще и не начала выполнять. Еще не разработаны ни в какой степени приемы перевода алгебраических букв метода на язык конкретных цифр (почти так же дело обстоит и в плоскости первой проблемы); слабо и в области формул: ряд высказываний, разбросанных в работах методологов (у Плеханова часто очень конкретных), не собраны, не сведены воедино; еще не построена целесообразная, практически полезная установка, пригодная для конкретного анализа.

II.

Вопрос, который мы ставим здесь в качестве научной проблемы, чрезвычайно старинный вопрос. Он зародился естественно и инстинктивно в сознании читателя, может быть еще слушателя, при реакции на суггестивность поэтического произведения, на первых порах сознательного отношения к воспринимаемому. Читательская масса непосредственно реагировала на прочитанное, не задавая побочных вопросов, и для осознания своего впечатления создала своеобразные понятия: таланта, художественности. Эти определения для доброкачественной поэзии, явно образуя с определяемым порочный круг, тем не менее прочно усвоились, стали употребляться для об'яснения загадочных фактов в жизни поэзии и прочно живут в сознании обывателя до нашего времени. Одного писателя читают много и до сих пор, так как он талантлив и его произведения — художественны; и обратно.

С другой стороны, существует область, для которой этот вопрос является центральным и основным: область литературной критики этого официального выражения» читательской массы. Для той критики, которая не выродилась в голое комментаторство или импрессионизм, вопрос о до-

стоинствах и недостатках поэтических произведений, о их художественной значимости и высоте, которым определяется их дальнейшая жизнь или смерть, был вопросом центральным, на котором критика пробовала свои силы, и, главное, вопросом практическим. Лучшими представителями такой критики у нас были поздний Белинский, стоящий на почве диалектики, и ранний Чернышевский, еще не впавший в просветительство, который, например, в статье о Л. Толстом делает замечательный прогноз, ясно и смело говоря: «мы предсказываем...». Вот этот практицизм, эта диагностика являются важными и полезными свойствами указанной критики, позволившими ей сделать значительные достижения. Последующей критикой эти добрые свойства были в значительной мере утеряны; лишена их была и традиционная школьная наука. Они воскресли позднее, в статьях первых русских марксистов (Плеханов, Воровский). Научное литературоведение, строющееся теперь на основе их метода, должно совместить в себе строгость и об'ективность анализа с практицизмом старой критики; не предписывая поэзии законов со стороны, лишь изучая законы ей присущие, ему нужно стараться настолько овладеть ими, чтобы предвидеть завтрашний день литературной жизни.

Вышеназванная критика шла дальше понятий талантливости, художественности; она разлагала их, вырабатывала критерии для этих определений. В многочисленных статьях Белинского эти критерии разбросаны в разных местах, по отдельным вступительным замечаниям и отступлениям, но их можно свести к нескольким основным положениям, которые без больших изменений сохраняли силу для всех периодов жизни критика. Плеханов их насчитывает пять: образность, правдивость, единство идеи, соответствие формы и содержания, единство формы; Балталон — шесть: образность, естественность, типичность, об'ективность, гармоничность, наличие освещения. Оба эти подсчета в значительной мере условны. У Белинского не было строго обработанной терминологии; часто одно и то же явление он называл разными именами, и обратно, не систематизируя, а только описывая, больше наблюдая поэтические образцы, чем разбираясь в готовых схемах других. Поэтому список его критериев художественности может иметь n'-ное количество членов, если мы не введем логического основания для деления. Трем последним критериям в списке Плеханова у Балталона соответствует один (гармоничность), трем другим (естественность, типичность, об'ективность) у Балталона соответствует один (правдивость) у Плеханова. Заменив обе тройки соответствующим одним, мы получим три основных критерия — образность, правдивость (естественность) и гармоничность (единство) (6-й критерий списка Балталона оставим пока в стороне). Первый из них не вызывает сомнения и не подлежит дальнейшему делению. Белинский выразил его очень определенно: «Поэзия не терпит отвлеченных идей в их бестелесной наготе, но самые отвлеченные понятия воплощает в живые и прекрасные образы, в которых мысль скользит, как свет в граненом хрустале...»; и в дальнейшем он не вызывал сомнений; Плеханов формулирует его в тех же почти выражениях. То же в отношении третьего критерия: «Всякое художественное про-

изведение прежде всего должно отличаться строгим единством лежащего в его основании чувства или мысли, а следовательно, и формы... Произведение в таких случаях органично-целостно; в нем ничего нет ни лишнего, ни недостающего; оно округлено» (Белинский). Сложнее понимание критерия правдивости и естественности: он не прост; в него входят много признаков, и признаков разнородных, не расположимых на одной плоскости.

В самом деле: 1) Белинский требует, чтобы образы были просты, чтобы связь их элементов повторяла связи элементов действительности («Одна поэзия... отличается тем блеском, яркостью красок, той резкой угловатостью форм, которые мечутся в глаза толпе... Другая... имеет своим источником глубокое чувство действительности, сердечную симпатию ко всему живому»), это требование натурализма. Здесь критик высказывает свои личные вкусы, декретирует, а не только наблюдает и изучает. Поэтому этот критерий мы можем вычеркнуть совсем. 2) Он требует об'ективности, выражаясь так: «Об'ективность как необходимое условие творчества отрицает всякую корыстную цель, всякое судопроизводство со стороны поэта... Впрочем, эта об'ективность совсем не есть бесстрастие: бесстрастие разрушает поэзию»... Т.-е. поэт не должен вмешивать в творчество свои пристрастия рассудочного характера, они должны быть иррациональны. Ясно, что это частный случай первого критерия: конкретности, образности. Пристрастия должны быть, но лишь «как свет в граненом хрустале». Наконец, 3) он требует правдивости: «Да,—пишет критик,—романы Вальтер Скотта потому великие произведения искусства, что они не прикрашенное, не рассиропленное, а действительное, хотя и идеальное, изображение жизни, как она есть. Только жалкие писаки подбеливают и подрумянивают жизнь, стараясь скрыть ее темные стороны и выставляя только утешительные». Это совсем иное требование. Терминологически оно у Белинского слабо выделено от других; естественность, правдивость, типичность,— так он называет в разных местах то одно, то другое требование художественности. Плеханов располагает все критерии в один ряд, употребляя неопределенную терминологию Белинского, а между тем этот последний критерий может быть поставлен с другими только перпендикулярно.

Конкретная образность является основным признаком поэзии, как таковой, как вида искусства. Это признак экстенсивный, т.-е. ограничивающий собой большой круг поэтических явлений от продуктов других видов деятельности общественного сознания. Всякое произведение слова, не имеющее этого признака, тем самым выпадает из этого об'ема поэтических фактов, являясь произведением публицистическим, философским, научным и т. д. и обратно. Поэтому произведение, обладающее конкретной образностью, пластичностью, отсутствием предвзятой, рассудочной идеи, навязанной извне, какова бы ни была эта идея, обладающее последовательностью, гармоничностью содержания, а следовательно, и формы—можно назвать экстенсивно-художественным, а другое, не обладающее этими свойствами, находящееся, следовательно, где-то на границе поэзии и публици-

стики — экстенсивно-нехудожественным. К этому сводятся все требования Белинского, за исключением последнего из отмеченных нами. Об этой художественности говорит Плеханов, например, в статье о Некрасове.

В последнем своем требовании Белинский говорит совсем о другом, здесь дело идет не о том, что автор дает рассудочное суждение вместо живого образа, как это было выше, но что живая, конкретная «мысль» автора, которая в образе «скользит, как свет в граненом хрустале», сама по себе мысль ложная, неверно направленная, и через это ложен и образ, несмотря на всю свою конкретность и пластичность, что образ «выкрашен» в неверные тона. Балталон справедливо делит принципы критики Белинского на две группы: художественные и культурно-исторические. Сам Белинский и его современники говорили о художественности формы и о художественности идеи, содержания. Для нас ясно, что историко-культурные принципы есть все же принципы художественности, хотя и другого рода; что особенности содержания есть одновременно и особенности формы, но в этих противопоставлениях видно сознание каких-то двух плоскостей рассмотрения достоинств поэзии. Итак: есть произведения образные, экстенсивно-художественные и все же опять слабые, нехудожественные, вследствие ложности окраски образов, неверности направления «идеи». Это уже другого рода нехудожественность, так сказать, интенсивная нехудожественность. Произведения, заключающие в себе «верную, правдивую идею», будут интенсивно художественными.

Таким образом даны два перекрестных признака деления особенностей поэтических фактов, определяющих дальнейшую их жизнь в читательской массе. Они были ясны Белинскому и более или менее обозначены в его статьях. Оба они пользовались его вниманием, хотя можно, конечно, отметить колебания в различные периоды. Его ученики и последователи восприняли эти принципы критики, делая ударение на критериях художественности интенсивной. Так, Чернышевский в статье об Островском говорит о неестественности положений, слабости интриги, отсутствии единства и особенно подчеркивает, что «Островский впал в приторное прикрашивание того, что не должно и не может быть прикрашиваемо. Произведения вышли слабые и фальшивые. Ложные по основной мысли произведения бывают слабы и в чисто художественном отношении». Но приблизительно с 1858 года эти принципы критики окончательно отходят у него на задний план, заменяясь публицистической интерпретацией содержания, служащего основанием и поводом для сведения междуклассовых счетов. У Добролюбова эти принципы изредка пробиваются сквозь публицистику, и тогда критерии интенсивной художественности стоят на первом плане. Он не чувствует себя способным воспитывать эстетические вкусы публики, считает, что «главное достоинство писателя-художника состоит в правде его изображений», что неправда многих романов и мелодрам «именно в том и состоит, что в них берутся случайные, ложные черты действительной жизни, не составляющие ее сущности, ее характерных особенностей». Далее: «...непосредственное чув-

ство всегда верно указывает ему (художнику) на предметы; но когда его общие понятия ложны, то в нем неизбежно начинается борьба, сомнения, нерешительность, и если произведение его и не делается от этого окончательно фальшивым, то все-таки выходит слабым, бесцветным и нестройным. Напротив, когда общие понятия художника правильны и вполне гармонируют с его натурой (sic!), тогда эта гармония и единство отражаются и в произведении». (Здесь указывается, что интенсивная нехудожественность влияет на экстенсивную, что, действительно, бывает часто, но не всегда.) После таких замечаний начинается пересказ сюжета, который бьет уже в другую сторону.

Последующая критика ничего не прибавила к принципам, выработанным предыдущей. В лучшем случае она умела их применять, и не всегда успешно (Михайловский, Скабичевский). Принципы Белинского сделались широкопопулярными, приняты в критике, в школьной науке, приняты догматически, с той же неопределенной терминологией, без попыток ее уточнить и обставить логически. Трудно найти «теорию словесности» или «историю литературы», в которой не говорилось бы об образности, типичности, правдивости в отношении к ряду произведений нашей литературы.

Потебня и А. Н. Веселовский иногда касались нашего вопроса, но в сущности лишь отдаляли проблему. Последний об'ясняет жизнь и смерть отдельных формул, образов, сюжетов наличием или отсутствием в них суггестивности. Потебня видит причину тех фактов, что «создание темных людей и веков могут сохранять свое художественное значение во времена высокого развития», «в известной гибкости образа, в силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержание». Оба лишь оформляют и обобщают факты, не ставя проблему генетически. Веселовский сознает это и говорит, что «вопросы генезиса, всегда темные, лучше предоставить поэтике будущего, поставленной на рационально-исторической почве».

Итак, старая критика дала нам больше старой науки; она сумела выработать ряд критериев, ответить на проблему гораздо глубже и обстоятельней. Но ее ответ был описательным и потому недостаточным; результаты наблюдений и впечатлений не были сведены в систему; понятия не были раскрыты; термины — обработаны. Ответ получился не окончательный, номинальный. Критике нехватало метода, хотя вряд ли кто из современников стоял ближе к методу, чем Чернышевский и Белинский. Это особенно относится к проблеме художественности интенсивной. Вопросы экстенсивной художественности решаются иначе; они не нуждаются в методе. Они нуждаются в систематизации, в переводе на язык четких понятий, в разработке приемов диагностики, но и только. В этой области почти ничего не сделано; многие явления не указаны совсем; не разработаны и приемы практического анализа. Но в сущности это не методологическая проблема; это скорее проблема отграничения предмета нашей науки. Общий ответ на нее таков: поэтический факт, чтобы жить, должен быть фактом поэтическим, т.-е. образным и гармоничным, так как дефективные организмы не выживают. Задача только в том, чтобы уметь найти дефекты и доказать их наличие.

Другое дело проблема интенсивной художественности; она для своего практического решения требует метода. Чернышевский знал, что то или иное «не должно и не может быть подкрашиваемо», он чувствовал это, но не знал, почему именно не может и не должно. Добролюбов знал, что художник должен иметь «правильные понятия», которые должны «гармонировать с его натурой», но где критерий правильности и в чем суть гармонии, на это он не имел ясного и рационального ответа. Ответ они, вслед за Белинским, давали понятием «типичного». «Теперь выходят из моды, — писал Белинский, — и герои добродетели и чудовища злодейства, ибо ни те, ни другие не составляют массы общества. Вместо них действуют люди обыкновенные, каких больше всего на свете...». Добролюбов и Чернышевский тоже постоянно говорят о явлениях случайных и потому ложных и о характерных, типичных и, следовательно, правдивых. Такое понятие типичного, основанное на признаке статической множественности, в применении к фактам художественным явно метафизично и потому научно несостоятельно. Этот наивный реализм, утверждающий, что поэзия копирует окружающее, был особенно развит в моменты просветительства, так как он создавал удобные предпосылки для публицистических статей. Но на-ряду с этим у Белинского можно встретить и другие суждения. «В картинах поэта должна быть мысль, производимое впечатление должно действовать на ум читателя, должно давать то или иное направление его взгляду на известные стороны жизни».

То же у Добролюбова: «Прочный успех остается только за теми явлениями, которые захватывают вопросы далекого будущего...», писал он, — оставаясь при этом образными и гармоничными, напомним мы. Старая критика знала гораздо больше, чем это можно понять из ее часто неопределенных и расплывчатых суждений, но у нее все же не было системы, не было метода, к которому она тянулась и который предчувствовала.

III.

До сих пор мы говорили о проблеме жизни и смерти невольно языком «истории вопроса». Теперь мы поставим ее на четком, алгебраическом языке метода; от этого она сразу станет проще и яснее.

Литература — надстройка, вырастающая на основе экономической структуры общества. Это общий ответ на вопрос о рождении литературы, но в нем заключается и общий ответ на вопрос о ее жизни. Известно, что противники марксизма смущались этим ответом, отрицающим за литературой (и другими надстройками) самостоятельное развитие. Но это отрицание не есть еще отказ ей в самостоятельной исторической роли. Энгельс писал Мерингу: «Эти господа намеренно забывают о том, что как только исторический момент выдвинут в свет другими, в конце концов, экономическими факторами, так он тоже действует и на окружающую его среду и даже на породившие его причины может оказать обратное действие». Этим сказано очень

много и в этом кроются новые соблазны для противников. Они могут предположить это рождение механическим, не несущим с собой никакой наследственности, и сделать отсюда все выводы. На самом деле происходит обратное: экономический базис определяет не только факт рождения, но и эту дальнейшую, активную жизнь надстройки, самое направление ее влияния. Эта предопределенность влияния опять-таки не лишает надстройку значения, — это значение и вытекает из этой предопределенности. Плеханов подробно останавливается на этом вопросе: «Выгодно ли для общества в его борьбе за существование это приспособление его психологии к его экономике, к условиям его жизни. Очень выгодно, так как привычки и взгляды, несоответствующие экономии, противоречащие условиям существования, помешали бы остановить это существование. Целесообразная психология так же полезна для общества, как хорошо соответствующие своей цели органы полезны для организма. Но сказать, что органы животного должны соответствовать условиям его существования, значит ли это сказать, что органы не имеют значения для животного? Совершенно наоборот. Это значит признать их колоссальное, их существенное значение». Художественная литература, в которой выражается общественная психология, представляет собой один из таких органов общества, необходимый для его жизни. Орган этот выполняет определенную роль; для ее выполнения он должен быть целесообразно направлен.

Специфическая роль литературы, как надстройки идеологической, в жизни общества определяется именно тем обратным влиянием, на которое указывает Энгельс. Раз возникнув, она может влиять и оказывать обратное действие на свою причину, т.-е. на общественную психологию, а через нее и дальше, — на экономические отношения; при этом не только может, но и должна, так как это и является ее назначением. Далее: у нее, как у определенного вида искусства, есть свой особый путь, способ влияния, особая сфера общественной психологии, обслуживаемая ею. Этот путь не логических доводов, но непосредственного внушения; эта сфера не яркого центра сознания, но его полутемных периферических областей. Плеханов показывает это на примере: «Литературный портрет буржуазии не внушал героизма. А между тем противники старого порядка чувствовали потребность в героизме, сознавали необходимость развития в третьем сословии гражданской добродетели. Где можно было найти тогда образец такой добродетели?.. в античном мире». Здесь ясно видно, что назначение поэзии заключается в том, чтобы через пластические образы внушить общественному человеку те оценки и устремления, которые требуются поступательным развитием общественного целого. Поэзия, целесообразно направленная, выполняет это свое назначение.

Теперь мы снова можем уже в четкой и общей форме подчеркнуть двоякого рода причины жизни или смерти поэтических фактов, намеченные нами выше при разборе критериев старой критики. Отталкиваются и забываются: 1) те поэтические факты, которые производят организацию подсознательного неправильным путем, плохо приспособлены к самой

области своего влияния; они непластичны, прозаичны; они половинчаты, экстенсивно-непоэтичны; 2) те поэтические произведения, которые производят организацию правильным путем, приспособлены к области своего влияния, т.-е. образны, гармоничны, экстенсивно-поэтичны, но производят организацию в неправильном направлении, не в том направлении, которое диктуется развитием общественной экономики. Это нецелесообразные органы общества и потому отбрасываются им, как ненужные. И обратно. Нечего добавлять, что еще быстрее умирают произведения, совмещающие в себе дефекты обоих родов.

В этих схемах еще отчетливее видно, как наша проблема расчленяется на две: проблему отграничения предмета и проблему методологическую. Оба общие ответа на них получены здесь дедуктивно; по существу это не ответы, а лишь постановка и расчленение вопроса. Обе проблемы должны быть когда-нибудь решены индуктивно, на конкретном историко-литературном материале; для обеих них, сначала на фактах прошлого, уже имеющих историю, должны быть разработаны приемы конкретной диагностики. Первая более статична, своим последним основанием она может иметь данные психофизической структуры человеческого организма; вторая требует уяснения динамики общественной жизни, разрешение ее должно быть основано на методологических положениях.

IV.

Здесь мы, естественно, не можем касаться подробностей анализа, возможного при конкретной проработке этих проблем. Скажем только, что проблема интенсивной художественности в каждом отдельном случае может быть решена, повидимому, лишь анализом образов подлежащего исследованию произведения. Для этих целей должна быть создана и обоснована теория художественного образа. (Эта теория совершенно необходима; без нее не может быть разработана и первая проблема науки о литературе; ее создание — дело первой очереди). Проработанный на пробном матерьяле вопрос об интенсивной художественности показывает, что гибель поэтического произведения обусловливается ложностью некоторой части его образов. Ложным образом можно называть такой, в котором психологическое привнесение, устремление, заложенное автором в элементы выбора, — не реально, т.-е. не соответствует подлинным тенденциям развития классовой психологии автора, определяемым в свою очередь тенденциями развития экономического. Это то, что старая критика называла прикрашенным, подрумяненным образом, не гармонирующим с натурой художника. В. Воровский дает такому образу название «социально-иррационального» образа. Арцыбашев, — пишет он, — «...не просто изображает существующий тип, он еще наделяет его желательными для него, автора, чертами. «Вот каким должно быть молодое поколение» — хочет сказать он. Вследствие этого Санин сочинен, тогда как Базаров списан с натуры; Санин едва выдерживает свою роль и то лишь благодаря доброте автора, позаботившегося о благоприятной для героя обста-

новке (физическая сила, тупость и пошлость контрагентов). Базаров же двигается свободно и остается последовательным благодаря внутренней логике; Санин социально-иррационален и относится к типу ненужных, лишних людей, Базаров же необходим и понятен в экономике общественного развития». Не вдаваясь в обсуждение правоты Воровского в этом конкретном случае, мы предложили бы усвоить в современном научном обиходе этот удачный термин.

Плеханов, употребляя необработанную критическую терминологию, в разных местах именно так определяет достоинство или недостатки отдельных произведений, обусловившие их успех или неудачу. Недостаток романа Гюисманса «A rebours» он указывает в том, что центральный образ этого романа представляет собой сверх-человека из совершенно выродившихся аристократов. Ошибка Гамсуна, по его мнению, та, что он положил в основу своей пьесы неверную идею: изобразил буржуазию, неумолимо мстящую за сопротивление пролетариату. Произведения наших народников были принесены в жертву ложному общественному учению. «Им стоило бы только понять смысл нашей поворотной эпохи, чтобы придать своим произведениям высокое общественное и литературное значение». Дело здесь не в том, чтобы они понимали, но чтобы интуитивно предчувствовали правильные тенденции развития, и прежде всего в самих себе. Оригинальность Каронина среди писателей народников заключалась, по мнению Плеханова, именно в развитом художественном инстинкте, который позволил ему «опровергать в качестве беллетриста все то, что сам он... горячо бы защищал на почве публицистики», и т. д.

В образе социально-иррациональном нереальная тенденция, заложенная в нем, ведет к нарушению единства матерьялов, его образующих, а весь такой образ разрушает собой всю систему образов произведения. Интенсивная нехудожественность образа, неверная тенденция в нем влечет за собой иногда и экстенсивную нехудожественность, делает образ бледным, бедным матерьялом, схематическим. Возможность эта определяется особенностями психологии автора. Например: реакционный роман Клюшникова «Марево» — мелкопоместный роман; желание автора создать из своего агента Русанова сильного и привлекательного героя нашло себе препятствие в бедности мелкопоместной психологии, которая не позволяла включить в образ нужные для этого мотивы, сохраняя долю логичности; пришлось сделать обратное: многое выбросить, что привело к оскудению образа. Наоборот: та же самая попытка удалась Маркевичу с образом Троекурова в «Переломе», так как богатая крупнопоместная психология не воспрепятствовала этому. Несмотря на это различие, оба романа погибли вследствие социальной иррациональности их центральных образов.

Разрушение всей системы образов одним из них ведет нередко, но опять-таки не всегда, к попыткам вернуть утерянное равновесие путем вложения таких же нереальных тенденций и в другие образы, что только ухудшает дело. Хороший пример этому случаю дает Воровский, рассматривая образы романа Горького «Мать». «Задаваясь целью нарисовать образ идеаль-

ной матери, Горький вынужден был выбросить из этого образа все мелкое, пошлое, смешное, чему не чужд всякий человек, чему не чужда реальная Ниловна. Эта операция положила дальнейшие обязательства: для единства колорита пришлось также удалить все мелочное и пошлое из характеров Павла, Хохла, Николая Ивановича, Рыбина, Наташи и других».

Мы делаем здесь все эти замечания в догматической форме, не имея возможности раскрыть и доказать их на конкретном матерьяле, лишь подкрепляя их отдельными суждениями критиков-марксистов, которые, подобно своим предшественникам, не имели разработанных приемов анализа, но уже обладали возможностью ставить «темные вопросы генезиса» на рационально-исторической почве, о чем лишь мечтал Веселовский и к чему хронологически он был так близок. Рациональный метод, который у нас есть, но которым мы пока плохо владеем, поможет нам разобраться в том, какой образ следует считать социально-иррациональным, какой нет; какие тенденции могут быть сочтены реальными для данной общественной группы, в данный исторический момент, какие нереальны. И если с помощью метода окажется, что данное произведение имеет социально-рациональные образы, мы можем, по-видимому, считать этот факт причиной его долгого обращения в читательских сферах общества, если, конечно, при этом оно и экстенсивно-поэтично: образно, гармонично и кроме того достаточно оригинально, а не трафаретно и подражательно (оригиналы всюду предпочитаются копиям). Такое произведение является целесообразно направленным органом общества, необходимым для него, и потому остается его достоянием на более или менее продолжительное время, какая бы общественная группа его ни произвела на свет. Неправильно думать, будто деградирующие общественные группы не могут создать интенсивно-художественных произведений, которые общество поэтому бережет и к которым постоянно или по временам обращается. Они это могут сделать и фактически делают. Особенностью их творчества является только то, что в таком случае они создают произведения для себя нецелесообразные, ясно и открыто показывая в своих художественных образах свои деградирующие психологические тенденции, соответствующие таковым же — экономическим, и такие произведения — целесообразны для общества. Попытки дать обратное неизбежно ведут к неудаче. Этому мы имеем много исторических примеров. Наоборот, восходящая общественная группа может иметь произведения, целесообразные одновременно и для себя и для общества, вождем которого она является. Но и она должна давать образы с реальными тенденциями, в противном случае и им не избежать скорого забвения.

Но это — мимоходом. Для того, чтобы иметь возможность решать расчлененную так проблему конкретно, нужно иметь не только отвлеченные положения метода, но целую систему приемов, разработанную на пробном матерьяле и вытекающую из этого метода. Это может быть достигнуто только долгими, систематическими и коллективными усилиями. Не широкими, историко-литературными вопросами должны мы сейчас заниматься, а вот этой предварительной кропотливой работой. Здесь на

первом плане надо поставить задачу создания теории художественного образа. Без этой теории невозможна практика; и обратно.

Только тогда, когда долгими усилиями будет выработана такая система, она позволит ставить практический диагноз жизни и смерти, не только фактов прошлого, но и настоящего, и возродить на твердых научных основах смелую, бодрую формулу молодого Чернышевского: «мы предсказываем».

Диалоги.

А. Лежнев.

I. О критике и писателе.

Редакция толстого журнала. В одной из боковых комнатушек собралось несколько писателей разных групп и направлений.

1-й писатель. Современный критик не понимает писателя. Он не хочет его понять. Не знаю даже, сумел ли бы он его понять, если б и захотел. А ведь критик должен быть на голову выше писателя. Он должен понимать писателя лучше, чем тот сам себя понимает. Он должен писателю раз'яснить его самого. Он должен им руководить, воспитывать, учить его, как писать. А разве нынешний критик в состоянии это делать? Он не только не выше писателя, он даже не одного роста с ним, он зачастую ниже его на целую голову.

2-й. Надо прямо сказать: критика отжила свой век. Белинских и Добролюбовых нет, и не видно, чтобы кто-нибудь шел им на смену. Нам надоело слушать, как люди, не написавшие сами ни одной строчки стихов или художественной прозы, немощные в творчестве, рассуждают с важным видом знатоков о литературе, рядят вкривь и вкось, дают непрошенные советы, хвалят то, что надо ругать, и ругают то, что следует хвалить. На смену критику должен придти писатель. Ему приходится на практике преодолевать все те трудности мастерства, о которых критик имеет только теоретическое представление. И так как писатель сам создает, так как он сам переживает все радости и муки творчества, то и чужое произведение он перечувствует лучше, глубже и тоньше, и к ошибкам своего собрата по перу отнесется не с бездушным осуждением, а с теплым пониманием. Да, только писатель может, как следует, понять писателя. А та особая порода посредников между писателем и читателем, которая называется критиками, оказывается лишней. Производители художественных ценностей и их потребители смыкаются между собой непосредственно.

3-й. Правильно. Посмотрите, как осторожно и внимательно относились к писателю, даже к начинающему, «сопливенькому», Короленко и Горький. Правили каждую его строчку, писали письма, советовали, ободряли, воспитывали. Вот это я понимаю. Вот это настоящая критика, — критика,

которая приносит пользу, а не болтает и твердит зады. И такими настоящими критиками Короленко и Горький могли стать потому, что сами были писателями, знали писательское дело не в теории, а на практике.

2-й. Да, никто не может так тонко, так бережно, так внимательно отнестись к писателю, как свой же брат-писатель.

1-й. Наша критика действует при помощи оглобли. Кое-кто из формалистов сравнивал ее с судебной медициной. Я бы предложил другое сравнение: ветеринария. Она все отпускает в лошадиных дозах: и похвалы и порицания. Или так разбранит, так отделает, что на писателе живого места не останется, или вознесет так высоко, что сам попросишь: нельзя ли пониже.

3-й. Ну, хвалит-то она больше своих любимцев: Сейфуллиных, Пильняков, Бабелей: на нашу долю остается одна брань.

4-й. Или молчанье. Вот тоже замечательный метод критики. Писатель пишет год, два, три, четыре. Критика точно воды в рот набрала. Не замечает его, не хочет заметить. Неверову надо было умереть, чтобы получить признание. При жизни о нем не только не писали, но и печатали его неохотно. Это Неверова-то, которому прославленная Сейфуллина и в подметки не годится.

3-й. Еще бы! Какое может быть сравнение! А ведь нас и к ней посылают учиться. Да, даже к Сейфуллиной, серьезно! Интересно все-таки знать, чему можно поучиться у этой писательницы, лишенной какой бы то ни было художественной культуры, у этой сочинительницы дамских романов, которую, право, недаром эмиграция назвала «советской Вербицкой».

5-й. Это, знаете, слишком лестный для нее титул! Вербицкая, по крайней мере, была грамотна. А Сейфуллина не знает русского языка. «Отбились», «надавали обещаний», «война настоящая разгорелась» — разве это по-русски?

Голос из угла. А почему собственно не по-русски?

5-й (величественно). Мне кажется, и доказывать не надо — почему... А ее крестьяне? Ведь это только сосуды, в которые автор переливает интеллигентские чувства, — половое влечение и т. д.

Тот же голос. Интересно знать, как же размножаются крестьяне: почкованием, что ли?

3-й. Ну, вы известный защитник Сейфуллиной. Одному удивляюсь: как это поклонники Сейфуллиной, наши почтенные критики и их подголоски, не замечают того, насколько «советскость» Сейфуллиной дутая. Умиляются над предсмертной молитвой «большевика» Артамона. А какова основная идея «Перегноя»? Та, что большевики только навоз, удобрение. Хороша «советскость»!

Голос из угла. Знаете, если этот метод произвольной интерпретации применить не к одной Сейфуллиной, а к любому писателю, хотя бы к вашему любимцу Неверову, можно и не такие ереси открыть. Для этого требуется лишь небольшое желание не понять писателя и скромная потребность его лягнуть.

3-й. Бросьте, бросьте, почтеннейший! Нас этим на мушку не возьмешь. Сравнивали Сейфуллину с Неверовым! Возьмите ее лучший рассказ «Правонарушители». Разве могут ее детские типы стать рядом с Мишкой из «Ташкента — города хлебного»! Ведь Мишка — это красота!

Тот же голос. Благодарю вас. Теперь я убежден совершенно. Ваши доводы чрезвычайно сильны. Что может быть неотразимее восклицания!

1-й. Взяли писательницу с маленьким, скромненьким талантиком и раздули в знаменитость. Подумайте, возводят ее чуть ли не к Толстому, к Флоберу. Да тот, кто так писал, сам, верно, не читал Флобера.

3-й. Реклама! Реклама! Сейфуллину, говорят, много читают. Так если б любого из нас разрекламировали так, как Сейфуллину, его бы стали читать не хуже.

5-й. А Бабель? Ведь у нас недавно прямо захлебывались от восторга, говоря о нем. Почти возвели его в гении. Тонкий стилист, необыкновенный наблюдатель, русский Мопассан — какие только определения и лестные эпитеты ни сплетались вокруг его головы в лавровые и дубовые венки. А между тем, это — просто рассказчик еврейских анекдотов.

Голос из угла. И «Конармия» — еврейский анекдот?

5-й. Не еврейский, так армейский. Дальше анекдота он и здесь не пошел.

1-й. Нет, в этом я с вами не согласен. Бабель, конечно, не просто рассказчик анекдотов. Он и больше и хуже, чем рассказчик анекдотов. Он — декадент. Он строит свои вещи на противопоставлении, — нет, на смешении, на чудовищном смешении прекрасного с отвратительным. Он мастер болезненных, патологических эффектов. Его красота, его искусство отдает разложением, гнилью.

2-й. Главное, что он и здесь не оригинален. Все это мы уже видели у Бодлера. Но Бодлер—мастер несравненно более сильный. То, что было, быть может, приемлемо в ту эпоху, невыносимо в наше время. Я не понимаю, как может человеку со здоровым, нормальным вкусом нравиться Бабель. Я не понимаю, что может этот писатель дать широким массам рабочих и крестьян, которые ведь требуют здоровый и питательной пищи, а не гастрономических изысков, не гнилых и острых французских сыров.

3-й. А как он оклеветал Конармию! Буденовцы у него только и делают, что насилуют женщин, грабят, кликушествуют, матершинничают и болеют дурными болезнями. Где пафос гражданской войны, живая страсть революции? Ее нет. Недаром в одном из его рассказов конармейского цикла описывается случка жеребца с кобылой. Жеребец — вот, что интересует Бабеля, вот что написано на его поэтическом знамени!

Голос из угла. А «Соль»? А «Письмо»? А Мельников и Тимошенко? Неужели здесь нет пафоса революции?

3-й. Вздор. Это только для отвода глаз. На деле Бабеля интересуют только триппера и изнасилования. Тут он чувствует себя в своей сфере. Вы помните этот его эпизод, когда рассказчик или один из его героев —

запамятовал — мочится на череп убитого солдата, или сцену из «Иванов», где буденовцу, больному гонорреей, фельдшер производит спринцевание? Вот это типично для Бабеля, вот здесь он сказался весь.

4-й. Публике это нравится. Вы думаете, я бы не мог так писать? Сколько угодно. Этих вещей я насмотрелся побольше, чем ваш Бабель. Я, если б захотел, такого бы наворочал — ого-го...

Голос из угла. А что же вас, собственно, удерживает?

4-й. Не могу. Душа не позволяет. Я, знаете ли, плачу над своими героями. Раньше стыдился, а потом, когда прочел, что и Короленко плакал, перестал стыдиться. Я люблю человека, жалею его, сочувствую его страданиям. Вот почему и не могу писать, как Бабель. Он не любит, не жалеет человека. Он равнодушен... Эх, друзья! Разве так писали в прежнее время? Впрочем, знаете, я замечаю, что сейчас начали как будто возвращаться к старине и к дяде Митрию. Особенно рассказы молодежи стали напоминать «Русское Богатство».

3-й. Да, лет 15 назад, когда писали: Куприн, Леонид Андреев и другие, Бабеля, быть может, и не заметили бы. В лучшем случае, считали бы второстепенным писателем. Утверждают, что он—необыкновенный стилист. Но и здесь он неоригинален. Хотите знать, что такое его стиль? Это—французы (Флобер, Мопассан), к которым прибавлены Юшкевич и Гоголь. Первый—в большой дозе, второй—в малой. Я не скажу, что он бездарен, но талант его очень и очень невелик.

2-й. У нас вообще потеряли всякие масштабы. Возьмите, например, Есенина, с которым носятся, как с писаной торбой. Вам покажется это, вероятно, очень странным, но я убежден, что Надсон гораздо более крупный поэт, чем Есенин.

Голоса. Ну, сказали!

2-й. Уверяю вас. Он честнее, откровеннее, душевнее. Он устарел, конечно, но что будет с Есениным через 30—40 лет?

4-й. А я, признаюсь, люблю Надсона. Люблю его за мягкость, задушевность, теплоту. «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат». Признайтесь, и вам он нравится, только совестно сказать.

Голос из угла. Терпеть его не могу.

4-й. А что же, современные поэты лучше—механические, бездушные? Маяковский, например?

Голос из угла. Лучше.

3-й. Ну, уж нет. Маяковский-поэт есть функция большого роста Маяковского-человека. Я говорю о росте не в переносном, а в буквальном смысле, о физическом росте. Пушкин и Лермонтов были людьми среднего, даже небольшого роста. Можно представить себе приземистым Шекспира. Но приземистый Маяковский невозможен. Если б Маяковский был ниже на голову, он бы не был поэтом. Он весь эстраден. Его поэзия такова, как она есть, только потому, что у него высокий рост и зычный голос. Он изучил тот эффект, который производит с эстрады, и пишет и действует так, чтобы производить этот эффект. Он — прима-балерина русской литературы.

Посмотрите, как он кокетничает с публикой, как он говорит ей дерзости, которые ей нравятся, как он внимательно следит за тем впечатлением, которое производят его слова на аудиторию! Как он демагогически и недобросовестно спорит!

Голос из угла. И это вы называете литературной оценкой?

3-й. Называйте, как хотите. Я убежден, что пройдет каких-нибудь лет 5—10 и Маяковского забудут совершенно. Уже и сейчас он перепевает себя и живет за счет того литературного имени, которое составил себе прежде. По существу, он поэт не сегодняшнего дня, а вчерашнего. Правильнее было бы называть его не футуристом, а пассеистом, так как не будущее русской литературы представляет он, а ее прошлое.

Голос из угла. Рано его хороните.

3-й. Не рано. Я вообще думаю, что время стихов прошло. Удельный их вес в общей массе литературы все больше и больше падает. Их почти перестали читать. И поделом.

Голос из угла. Прозу читают тоже не очень хорошо. Иностранный автор вытесняет русского — факт, достаточно общеизвестный. Ведь и вам как будто современная проза нравится не больше, чем стихи. Сейфуллину и Бабеля вы уже разделали под орех. На очереди Леонов, Пильняк, Всеволод Иванов. Я думаю, вы и с ними справитесь без особых затруднений.

3-й. У вас только и свету в окошке, что попутчики. Но ими, насколько я знаю, русская литература не исчерпывается. Да, мне не нравится Леонов. Это еще подросток, мальчик, которого слишком рано сделали большим писателем. И притом из той породы шустрых детей, что очень быстро и ловко перенимают манеры взрослых. Кому он только не подражает, кого он только не имитирует! Лескова, Горького, Достоевского, Л. Андреева...

1-й. А его «Барсуки»? Какой шум подняла критика вокруг этого романа! А ведь в нем не сведены концы с концами—ни идеологически, ни композиционно. Чего стоит одна присочиненная «советская» развязка!

5-й. Зарядье взято напрокат у Боборыкина. Помните его «Китай-город»? Весь Леонов литературен, искусственен. Нет, какой это писатель! Способный имитатор—и только.

2-й. Я уже предпочитаю Пильняка. Тот, по крайней мере, оригинален.

3-й. Ну, хороша оригинальность. Андрей Белый да Ремизов — вот вам и Пильняк. Только Белый—человек культурный, а Пильняк некультурен и вдобавок порнограф.

1-й. Что за мученье читать Пильняка! Как он ломается и манерничает! Какое у него отсутствие простоты! Какая растерзанность формы! Точно он задался целью сделать свои романы возможно более неудобочитаемыми. Повсюду у него полыньи, дыры, трясины, в которые читатель проваливается и вязнет.

5-й. Идеологическая его убогость поразительна. Он все строит на одной антитезе: XVII и XX век, волки и машины, которую разрешает с замечательным однообразием и неубедительностью. Я отказываюсь видеть ту эво-

люцию к коммунизму, которую отметили в нем не в меру зоркие критики. По-моему, он просто ломака и фокусник.

3-й. Не он один ломается. Когда говоришь о Пильняке, по ассоциации вспоминаешь Всеволода Иванова. Почитайте его «Экзотические рассказы». Как они вычурно и странно построены! Каждый раз задаешь себе вопрос: что хотел этим автор сказать?

5-й. А крестьяне Иванова, — разве они не плохая выдумка? Разве партизаны-мужики могут взять винтовку только потому, что кто-то пролил самогонку? И разве не такая же плохая выдумка его коммунисты, этот знаменитый Лейзеров из «Хабу», очкастый, нелепый и комичный, похожий на карикатуру в не меньшей степени, чем одна горошинка похожа на другую? Не может человек с большим талантом написать такую вялую, тягучую и бесконечно-скучную вещь, как «Голубые пески».

1-й. Ну, мне пора.

2-й. Вы куда?

1-й. В издательство «Не пускай на порог». Надо уладить кое-какие недоразумения по договору.

3-й. Зачем связались? У них ведь чорт знает какие условия: 5-летний срок и т. д. Шли бы лучше в «Числом поболее, ценою подешевле». Там хотя платят меньше, зато нет этих жестоких условий. Через год вы свободны, как птица.

4-й. Вы знаете, в скором времени организовывается наше собственное издательство, группы писателей «Долой грамотность». Туда будет приниматься все без разбора и на самых льготных условиях.

1-й. Ну, когда это будет!.. А мне надо итти. До свиданья.

2-й (вслед уходящему). Написал большой роман и считает себя гением. Критика подняла роман на щит, а в нем—только потуги на большой стиль.

3-й. Бывают певцы, которым от природы отпущен небольшой голос. Хорошо, если они поют своим естественным голосом: пусть негромко, зато приятно. А вот иногда случается, что такой певец захочет петь громче, чем ему позволяют его голосовые средства. Он начинает форсировать звук, кричать и, наконец, срывается. Слушателю мучительно и неловко. Вот так и наш романист хочет выкричать себе большой голос. Напрасные усилья! Большой голос не выкрикивается, а дается от природы.

2-й. Его фигуры неестественны. Его язык напряжен. Нигде люди не говорят так, как говорят его герои. Мы не знаем таких женщин, таких рабочих, таких партийцев.

5-й. Погодите, не пройдет и года — он лопнет, как мыльный пузырь. На следующий роман ему уже не хватит голоса.

3-й. Скажите, почему это происходит, что в прежнее время писателю было трудно пробиться, но, пробившись, он уже прочно занимал известное положение в литературе, а сейчас пробиться писателю очень легко, но зато трудно удержаться?

4-й. А это опять-таки вина критики. Она сразу, после первой же вещи, захваливает писателя, производит его чуть ли не в гении, а потом видит, что поторопилась, что гении — маргариновые, и запоздало кается в своей торопливости. (Смотрит на часы.) Ну, пора и мне. Заболтался я тут с вами. (Уходит.)

3-й. Ведь он уверен, знаете, что он—последний осколок героической русской литературы, преемник Некрасовых, Успенских, Короленка, а на деле он всего-на-всего эпигон, народник из «Русского Богатства», пережевывающий жвачку, трижды изрыгнутую предыдущими поколениями. От Короленки он взял многочисленный и наивный лиризм описаний. От Успенского — неуменье строить вещь, от раннего Горького — неуклюжую напыщенность афоризмов. Он составлен из недостатков всех предшествующих писателей, как мозаика из отдельных камушков. В этом смысле он, действительно, потомок героической русской литературы. Он старается увековечить ее недостатки и заставить забыть о ее достоинствах.

По коридору проходит редактор. Несколько писателей, в том числе и 3-й, устремляется к нему.

2-й (указывая на уходящего 3-го). Зависть делает его красноречивым. Он слеп к достоинствам писателя, он не различает их, как дальтонист не отличает зеленого цвета от красного. Но он приобретает дар речи, меткость глаза, остроту суждений, как только дело касается недостатков писателя. Его хула—почти удостоверение в талантливости, потому что он хвалит только бездарности. Он к ним относится с какой-то трогательной заботливостью, с каким-то нежным вниманием. Так иногда не очень красивая девушка старается окружить себя дурнушками-подругами, чтобы выгоднее оттенить свою наружность. Он бы хотел обратить литературу в приют для дефективных писателей. Среди бездарностей он бы показался талантом.

5-й. Прозаики считают его поэтом, поэты — прозаиком. Читатель не считает его ни поэтом, ни прозаиком. Читатель прав. Он пишет прозой так же плохо, как и стихами. Он страдает неразделенной любовью к литературе. О, страсть без взаимности — самая губительная страсть! Обычно поэт-неудачник становится критиком. Удивляюсь, почему и наш друг не пошел по этому пути. Заблужденье, в котором упорствуешь почти до сорока лет, превращается в болезнь.

Один из писателей (подымаясь). А ну вас к чорту! И не надоело вам перемывать косточки и судачить, как старым бабам. Стоит комунибудь выйти, как вы накидываетесь на него со сладострастьем. И как только у вас хватило слюны оплевать всю русскую литературу!

(Уходит. 2-й и 5-й остаются вдвоем).

5-й. Скажите, пожалуйста, как разорался! Нельзя уж и по душам поговорить. А сам он, думаете, мягче в своих суждениях? Как бы не так!

2-й. Бирюк. Тоже скороспелая знаменитость. Нельзя отрицать, известный талант у него имеется, но как можно так ломаться? Типографские

ухищрения, треугольники и ромбы из букв—чего только он не пускает в ход для эффекта!

5-й. Думаешь, трудно добиться такого эффекта? Вот я разденусь голым и в таком виде пройдусь по Москве—тоже получится эффект.

2-й. Положим, этим ты уж никого не удивишь... А как он коверкает русский язык! Он его не знает, он его не любит. Ему удаются только опустившиеся матросы да махновцы, босяцкая стихия. Он становится беспомощным, когда пытается изобразить сознательного пролетария, партийца. К этому надо прибавить его неуменье строить вещь. Она получается рыхлой, расплывчатой, расползается по швам.

5-й. А вот мне, знаешь, композиция дается удивительно легко. Ты читал мою последнюю повесть?

2-й. Читал.

5-й. Не правда ли, крепко построена? Как твое мнение?

2-й. Мое мнение: тебе десять лет учиться—и то не выучишься писать как следует. Разве твоя вещь построена? Она сшита—белыми нитками.

5-й. Ты чего ругаешься?

2-й. Не ругаюсь, а откровенно высказываю свое мнение. Ты ведь сам и просил. Мы тут говорим о настоящем, подлинном художнике,—да, каковы бы ни были его недостатки, он — настоящий художник, — а ты выскакиваешь со своей композицией. Терпеть не могу хвастовства. Можно говорить о его недостатках, но нельзя говорить о твоих недостатках, потому что недостатки предполагают достоинства, талант. У тебя же таланта ровно настолько, чтоб не быть графоманом, и слишком мало, чтоб стать писателем. Вот ты и остановился на промежуточной ступени.

5-й. Послушай, не говорю же я о том, что твои стихи запоздали лет на десять, что их никто не читает, что они бесцветны и кисло-сладки. Не говорю просто из деликатности. Никто не требует от тебя лести, комплиментов. Но надо ведь иметь хоть немного человеческой чуткости, такта. Держал же я несколько лет под спудом свое убеждение, что ты бездарность. (Уходит.)

2-й. Чудак. Обиделся. Сам ведь спрашивал, — что же мне оставалось — врать, что ли! Неудачники всегда обидчивы... (Молчит.) А все-таки никто не может так тонко, так бережно, так внимательно отнестись к писателю, как свой же брат-писатель.

2-й диалог о критике и писателе, в котором ставятся точки над i.

Строгий читатель. Ваш диалог вызовет недоуменья. Вы вложили в руки противника слишком сильное оружие. Вы не ответили на ряд серьезных возражений. Пусть писательская критика плоха, но вы не доказали, что профессиональная критика лучше. Ее ошибки зияют, ничем не прикрытые. Их нагота обнажена и подчеркнута. Читатель поймет вас так,

что наши писатели плохо пишут. а критики не отвечают своему назначению. Это, может быть, и согласно с действительностью, но вряд ли входило в ваши расчеты.

Автор. Постараюсь поставить точки на i. Хороша или плоха наша критика? Вопрос этот чаще всего ставится писателем, — и неудивительно, что он ставится именно им. Между писателем и критиком ведется многовековая тяжба, и я боюсь, что не нашему времени суждено ее разрешить. Ее причина — в самом существе отношений между этими двумя сторонами. Она прекратится лишь тогда, когда писатель перестанет работать на рынок. Не надо представлять борьбу более принципиальной, чем она есть на деле. Только книжники и лицемеры могут не видеть чисто-обывательских причин недовольства критикой. Непринятая рукопись, отрицательный отзыв или отсутствие отзыва — вы близки к писательскому миру и знаете не хуже меня, какую роль играют эти мелкие факты, в какие обобщения преломляются они в сознаньи писателя.

Строгий читатель. Простите меня, но ваше рассуждение не только неправильно, оно даже просто неумно. Сводить недовольство критикой к возмущенью обывателя, которому не удалось выгодно продать товар, — что это, как не та же обывательщина?

Автор. Вы не дослушали, а потому и неправильно поняли то, что я сказал о рынке. Я не говорю, что это—единственная причина. Я не говорю, что это—главная причина. Я говорю, что это—одна из причин. Видеть в недовольстве критикой одну лишь обывательщину способен только злобствующий обыватель, но только прекраснодушный обыватель не видит ее вовсе. Слова о рынке не следует понимать чересчур по-сухаревски. Писатель работает на рынок, в условиях конкуренции. Бухарин утверждает, что писательская конкуренция — факт положительного значения. Это верно, но и положительное явление имеет свою отрицательную сторону. Конкуренция при стесненном сбыте (а он у нас пока что стеснен, потому что издательские возможности и емкость рынка ограничены) создает среди писателей во многом нездоровую атмосферу — подсиживаний, уязвленных самолюбий и т. д. Это проявляется как в отношении писателей друг к другу, так и в отношении к критике. И, конечно, гораздо чаще здесь говорит не карман, а самолюбие, то писательское самолюбие, о неумолимости которого писал еще Чехов.

Строгий читатель. Я думаю, что вы преувеличиваете. Но вы сами говорите, что это — одна из причин. Каковы же другие?

Автор. У нас неправильно подходят к критике. Требуют от нее больше, чем она в состоянии дать. Критик не может и не должен вовсе учить писателя, как писать. Тот, кто подходит к критике, как к прикладной алгебре искусства, всегда уйдет разочарованным. Быть может, в будущем искусство будет настолько познано и рационализировано, что его произведения станут создаваться так же просто и согласно немногим точным правилам, как сейчас школьники решают математические задачи. Не знаю, хотя и не думаю, чтоб это было так. Но во всяком случае теперь

искусство и искусствоведение еще не находятся в таком состоянии, чтобы критик мог обучать писателя его ремеслу, дать ему точную рецептуру, а ведь именно рецептуры требуют от него. Формалисты, быть может, и имеют успех потому, что молодежи кажется, будто они дают точные сводки правил, как надо писать. Но то, что они дают, на деле так обще и бессодержательно, что при его помощи ничего нельзя построить, создать.

Строгий читатель. Что ж, вы отрицаете необходимость воспитания писателя критикой?

Автор. Не отрицаю, но хочу указать на его пределы. Писатель — не маленький ребенок, а критик — не нянька. Тем более не кормилица, долженствующая вскармливать молоком его младенческую беззубость. Говорят, что критику следует быть на голову выше писателя. Что за заблужденье! Разве Белинский был на голову выше Пушкина, Лессинг — Гете, Добролюбов — Тургенева? Дело не в том, чтобы быть на голову выше, а в том, что голова у критика другая. Писатель так же мало может заменить критика, как критик — писателя. Соединение того и другого в одном лице хотя и бывает, но довольно редко. Человек, не написавший ни одной строчки стихов, ни одного рассказа, в состоянии бывает разобраться в явлениях искусства, в его законах гораздо лучше, чем тот, кто всю жизнь писал стихи или рассказы, потому что для этого нужен другой склад ума, более приближающийся к научному, чем к художественному, или, по крайней мере, находящийся посредине между ними. Вот почему так наивны требования поставить на место критика писателя. Простите, я говорю общеизвестные вещи, но иногда их приходится поневоле повторять. Когда господствует кривая, перевернутая истина, когда парадокс становится правилом, тогда самая старая «избитая» истина начинает казаться оригинальной, неслыханной. правило становится парадоксом.

Строгий читатель. Хорошо, предположим, что вы правы и что писатели пред'являют к критике несообразные требования. Но станете ли вы отрицать, что наша критика действительно страдает серьезнейшими недостатками?

Автор. Не стану. Но пора перестать говорить о критике, как о чем-то едином, целом. У нас — не единая критика, а ряд критических школ, направлений. Не следует грехи одного из них сваливать на другое. Я упомянул сейчас о любви к парадоксу. Этот порок культивируется у нас формалистами. Они ищут истину, которая обладала бы теми же качествами, что и подруга мимолетных встреч: молодостью и пикантностью. У нее должны быть подведенные глаза и накрашенные губы. Но истина—не девушка с панели. Только Максимилиан Волошин может думать, что предельный возраст истины — возраст водовозной клячи. Это — обычный грех суб'ективистов. Тот, кто ищет красивую истину, находит лишь парадокс. Единственное ее мерило — соответствие действительности. Истина, раз доказанная, не исчезает из культурного арсенала человечества. Она претерпевает удивительные метаморфозы: она сжимается, становится маленькой или, наоборот, внезапно вырастает. Изменяются рамки, сфера действия, но

пребывает зерно, частица абсолютной истины [1]). Нет, истина далеко не всегда молода и потому, должно быть, фланеры ее не замечают. У нее часто старомодное платье и выговор звучит немного странно и чуждо.

Но даже не неверность, не парадоксальность общих положений ставлю я в вину формалистам. Она настолько очевидна, что не может не броситься в глаза. Скверно то, что формалисты вытравили в себе живое, читательское восприятие, способность переживать художественные произведения. Она им кажется наивной так же, как пресыщенному старику наивными кажутся естественные ласки молодежи. Потентность всегда наивна в сравнении с изобретательностью бессилия. Но дети-то рождаются именно от этой наивности, и критика может быть только тогда творческой, когда в основе ее лежит читательское восприятие.

Обратным недостатком отличается часть нашей марксистской критики. Чтение не всегда идет впрок и начетчик напоминает скорее схоласта, чем ученого. У нас существуют люди, полагающие, что при помощи нескольких общих положений можно разрешить все сложные и спорные вопросы. Одним ключом они хотят открыть все двери. Но ключ сламывается, а двери остаются на запоре.

Эти критики не в состоянии перейти от общих положений к их конкретному применению. Если писатель — запертая дверь, то надо найти ключ к этой двери. Два английских замка нельзя открыть одним и тем же ключом. Все английские ключи делаются по одному плану, но каждый имеет небольшое отличие. Оно очень невелико, но если, делая ключ, упустить его из виду, дверь нельзя будет открыть. Наши начетчики не умеют индивидуализировать, не умеют подходить к каждому писателю, как к своеобразному явлению. Поэтому они компрометируют метод, которым пользуются, поэтому они вызывают недовольство и писателя и читателя. Грохот, который они производят, ломая ключи, кажется им творческим шумом, ритмом работы. Но не всякое мускульное усилие есть полезная работа.

И все-таки я бы не стал ставить в вину молодой марксистской критике все ее ошибки. Пионеры не могут не ошибаться. Классиками марксизма было сделано в области критики слишком мало. Нынешнему поколению приходится восполнять проблемы, даже закладывать краеугольные камни. И когда из лагеря пролетарской литературы раздается хихиканье по поводу отсутствия Белинских и Добролюбовых, — это неумно и недостойно. Почему же тогда не смеяться над тем, что у нас нет Пушкиных и Толстых? Дайте время — будут.

Строгий читатель. Ну, это все известные аргументы. Вы все-таки не опровергли те возражения, которые в вашем диалоге сделаны по поводу конкретных оценок. А в них было, по-моему, не мало справедливого.

---

[1]) «Человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания» (Ленин. Материализм и эмпириокритицизм).

Автор. По-моему, тоже, хотя и не всегда. Но истина однобокая перестает быть истиной. У Бабеля есть действительно смешение красивого с отвратительным, но разве этим Бабель исчерпывается? Маяковский действительно эстраден, но разве это литературная оценка? Вы хотите, чтоб я опроверг всю ту массу обывательщины и глупости, которой писатели облепляют друг друга и в печати и в частных спорах. Я полагаю, что этого делать не следует. Я полагаю, что достаточно ее собрать и выставить напоказ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Стык. Первый сборник стихов Московского цеха поэтов с предисловием А. В. Луначарского и С. М. Городецкого. 1925 г. Изд. М-го Цеха поэтов.

В предисловии к сборнику А. В. Луначарский говорит об общем качественном снижении за последнее время поэтической продукции: «Читаешь один журнал за другим и ничего не находишь». Явление это, по словам Луначарского, настолько общее, что он не находит ни отдельного имени, ни школы или группы, свободной от «червоточины».

Маяковский?.. «Растерялся, берясь почти за невыполнимые для поэта задачи»... Безыменский?.. «Стал значительно тусклее». Тихонов?.. «Добровольно сверг себя с замечательной высоты, начавши писать что-то неразумительное, что он, повидимому, считает мастерством». Тогда... Пастернак?.. «Очень талантлив», но, к сожалению, у него часто все сводится к «необычайной туманности, иногда даже полной неясности его логики, грамматики, конструкции» (?!).

Картина, как видно, удручающая и тем более безотрадная, что и пролетарское крыло тронула «червоточина», «мешающая писателями развернуться, как следует». Поэзия больна (и сильно больна, прибавим мы) общей болезнью: шпагоглотательством, финтиклюшеством, кликушеством, вообще «дрессурой»—всем тем, что составляет отправное понятие формализм!..

Со всеми этими положениями предисловия Луначарского нельзя не согласиться.

Правильно говорит Луначарский, что хорошо бы этому формализму «отвернуть шею»! Сиречь, перевести поэтов с диэтетической пищи всеобщего потворства и поблажки на суровый стол настоящей критики, бичующей в искусстве все фальшивое, искусственное, всякую «позу», мешающую природному, органическому существу поэзии.

Немного в другом тоне предисловие Городецкого. По его мнению, достаточно там отнять, а тут прибавить,— и все будет в наилучшем виде: «Под символизм вполне возможно — и в этом ближайшая задача современной поэзии—подвести фундамент материализма». С точки зрения Городецкого, тут дело простое, чего это только стихотворцы смотрят, ничего не понимая в «процессе творчества»? Понял же вот... сам Городецкий, подведя под... акмеизм... материализм в стихах очень сомнительного поэтического достоинства. В том-то и беда, что поэты в наше время «подводят»! Возведут поэта на «замечательную высоту», а он как раз на этой высоте вдруг и «подведет», начавши писать что-то «чрезвычайно неразумительное». Конечно, все оттого, что поэт—не помбух. и поэзия—не балансовая книга.

Прочтя оба эти предисловия, как-то не хочется цитировать беспомощных стихов, похожих на обезьян, дразнящих лягушек, до того в них много манерности, фасона, простого плутовства и апашевского расчета, и так мало поэзии. Изо всего сборника придется только отметить стихи покойного Ширяевца, при их простоте и примитивности формальной трогающие читателя предугаданностью своего жизненного и поэтического конца, и «напевный стих» И. Рукавишникова.

С. К.

Ник. Никитин. Полет. Л. ГИЗ. 1925. 267 стр.

В новом сборнике Никитина наше внимание остановит не та повесть, которая дает название книжке; не рассказы, бес

цветные названия которых удивительно гармонируют с бесцветностью их содержания — не «Черный хутор» в «Белом лесу», не «Тоска» и «В полях», не «Могила Памбурлея» в «Смешной стране» и др. Все это или незначительно по теме («Как ловили сома», «Шеф»), или слишком известно по Пильняку, по другим писателям и по самому Никитину в прежних сборниках, — и абсолютно не вызывает на разговор. Мы позволим себе поэтому вовсе не останавливаться на этих вещах, чтобы оставить место для разговора о той повести, которая представляет по нашему мнению значительно больший интерес — «О бывшем купце Хропове, об Олимпиаде Ивановне и о веселом художнике Мокине повесть».

Уже в первых рассказах Никитина сказывалось его стремление подметить черты обывательщины в советском быту, черты затеснения революции болотом повседневности:

«Было в городе единственное удовольствие: ходили смотреть в Факел Коммуны — ученых крыс и синематограф, да еще слушали там же хор с революционным репертуаром. Этот же хор по субботам и праздникам пел на соборном клиросе.

«Воздух ли в нашем городе скучный, но недавно сибирский кот заведующего театром, студента Шурца — мужа Вари, съел трех самых ученых крыс.

«Не доглядели

«И на город надвигался страх» («Чаванс»).

В повести «О купце Хропове и художнике Мокине» это — основной тон, в этом — устремленность повести. Ее персонажи, ее происшествия мыслимо проэцировать только уже в отстоявшемся быту, и с печальной необходимостью мы вынуждены констатировать, что это — быт советского уездного города.

«Под звуки собственного оркестра шла группа профессионального союза советских служащих с плакатом: «Мы наш, мы новый мир построим». Плакат изображал союз крестьянина и рабочего, трогательно скрестивших руки на обломках, и вот из-под этих обломков старого мира выглядывала испуганная голова Хропова».

Для современного сатирика особенно напрашивается на перо сочетание элементов нового со старым, и в большинстве случаев уродливейшее сочетание. Его и берет на прицел в первую очередь Никитин. На этом и построена вся его повесть о бывшем купце Хропове. Недаром «испуганная голова» того же Хропова очутилась не только на советском плакате, но и на картине страшного суда в церкви.

Меньше Никитиным затронута советская администрация. От него достается только милиционеру Пантюхову, который в ответ на возглас пьяного Мокина — «Ну, тронь меня, тронь, пожалуйста» отвечает: — «Никто вас не трогает, — сказал милиционер и схватил Мокина за ворот». Затем — весьма незлобивая, но гротескная характеристика уездного советского администратора товарища Камчаткина в сцене его объяснения с аптекарем Сонебергом и попом отцом Паисием, когда Камчаткин напускается на бедного аптекаря за сокрытие «пожарного факта» — пуда керосину, отправленного Хропову (и то не пуда, а десяти фунтов).

Зорич однажды закончил один из своих фельетонов о зарвавшемся администраторе меланхолическим восклицанием: «Эх, товарищи, Гоголя на вас нет». Это не зря сказано. Новая Россия складывается не совсем так, как хотелось бы. Много в ней старой обывательщины, еще хуже — отстаивается послереволюционная обывательщина, много административного чванства и административной глупости. Нужен еще Гоголь и крепко нужен. Сам Зорич выполняет эту гоголевскую задачу в плане журналистики. С большой легкостью за это берутся и многие беллетристы, например Зощенко. Но Никитин, судя по повести о Хропове, берет или способен взять глубже других.

Любопытно, например, вглядеться, как Никитин подал хотя бы эту похвальбу своей якобы революционностью, которой (похвальбой) злоупотребляют ныне советские обыватели. Зощенко говорит устами одного из своих героев: «папашка — старый революционер», — и повторяет так в одном крохотном рассказе несколько раз с необыкновенной легкостью, походя — и затрагивает это явление чуть-чуть, поверхностно, в порядке всего лишь

зубоскальства. Никитин скажет иначе: «Ну, довольно, — перебил жену Хропов: — довольно, торговлю запретили — значит, запретили, лавки закрыл — значит, закрыл. А ежели им пришла охота разрешать, пожалуйста — пущай гольтепа торгует. Вот в бога веровал, а разочаруюсь — и перестану веровать. Что ты в самом деле, Олимпиада Ивановна, что ты пристаешь, может, я революционер».— Огромная разница в интонации. Во фразе Никитина — уже некоторая попытка проникнуть в психику такого «революционера». Здесь уже и формально, в строении фразы сказывается художник более действенный, чем Зощенко: Зощенко дает положительное утверждение и этим только отчеркивает уже механизированный результат приспособления обывателя к Советской власти и внешнюю манеру приспособившегося обывателя. Никитин своим предположительным «может быть» касается более глубокого процесса возникновения намерения приспособиться. Никитин скоро оставляет этот мотив, но в дальнейшем процесс приспособления Хропова проходит, так сказать, в «подсознании повести» и выступает наружу только в самом конце ее, когда в результате ряда событий, внешне не связанных с мотивом революционерства, Хропов становится прямо-таки антирелигиозным пропагандистом и читает доклад на тему, «как я стал безбожником».

Для Никитина вовсе не случайно то, что он написал «О бывшем купце Хропове» гротескную вещь после ряда чрезвычайно романтических рассказов. Мы уже отметили, что и в этих рассказах с самого начала проскальзывали мотивы гротеска. Но важнее всего то, что в обработке повести о Хропове не чувствуется никакой неестественности, никаких задержек, — то, что сопутствовало «романтическим» рассказам Никитина, его лирике: в них было много потуг, мало обоснованности, и чем дальше, тем больше пильняковщины. Повесть о Хропове написана очень пристально, с большим вниманием к мелочам, с искренним вниманием, печатью естественной симпатии к подробностям обработки, к каждому слову. И в результате — столь законченные в своей художественной отделке эпизоды, как объяснение Олимпиады Ивановны и потом Хропова с художником Мокиным, как переговоры Хропова с о. Паисием и ряд других мест, в которых обнаруживается недюжинная способность гротескно характеризовать своих персонажей, разводить и сталкивать их, вести диалог и пр. (не плоха, кстати сказать, глава о квартальном Фонатинове в повести «Полет» — в виде исключения).

Можно отметить лишь один неудачный уклон: иногда Никитин скатывается в стилизацию под язык своих героев. Это очень скверно. Это не только убивает индивидуальность писателя, но невероятно понижает способность вещи воздействовать на читателя, отвлекая его в сторону формальной оценки языка повести. Никитину нет нужды прибегать к стилизации, в целом повесть дана не как стилизация и обнаруживает некоторые черты индивидуального стиля, который сложится в окончательном виде, несомненно, только позднее.

Н. Юргин.

Андрей Хмара. Великий тряс. Стр. 72. Изд. «Красная Звезда». 1925 г.

В прежнее время такие книжки, как «Великий тряс», выпускались самими авторами на свой счет и риск. В книжке ничего нет, кроме 72 страниц и соответствующего количества напыщенных слов. Вся книжка, хоть и «красной ориентации» (почти во всех этюдах — борьба красных с белыми), но стоит только заменить белого офицера на краскома и наоборот,—и книжка получит «белую ориентацию» без ущерба для сюжета этюдов: в них нет никакой психологической увязки, нет логической необходимости именно данных героев выставить в данном свете.

Например, в рассказе «Автомобильное кладбище» (между прочим, единственный неплохой рисунок) говорится о гибели автомобиля (взорвался от бензина) в тот момент, когда белые настигли красных. Грузовик не хотел сдаться в плен белым. Перемените только окраску борющихся сторон,— и все останется на своем месте.

Вся книжка написана под стиль не то «Чуден Днепр», не то «Голый год», при чем,

конечно, по своей беспомощности далекий от них обоих.

Во всех этюдах нет ни одного удачного образа или эпитета (виноват, есть два: на стр. 3 о Ленине: «Большой, правильный человек» и на стр. 39: «сериозная река Ангара»,—вот и все), но зато каждый этюд изобилует притянутыми за волосы моментами, претенциозными, плохо удуманными выражениями и проч. и проч. Весь антихудожественный багаж развернут во-всю.

На протяжении небольшого рассказа («Ванька») при передаче мыслей ребенка встречаются: «вправделишние цветы», «этих девченков», «много гнездов», «стреляют из ключев», «нет крылов», «пригоршня палочков» и т. д.

В других рассказах попадаются сплошь и рядом неудачные фигуры умолчания, как, например, «Баба у околицы вслед *смотрела трахомными»* (надо полагать, глазами) или «Впервые *прорезала острая»* (непонятно, обида, иголка или мысль). Попадаются даже такие наивности (рассказ «Ночное мертвое»; капитана ведут на расстрел):

«Шел на смерть и знал, куда идет... нежданно заговорил. Не словами—взглядом.

— Луна... ты светишь? Зачем? Ведь я иду умирать. Луна, как можешь ты спокойно светить, когда меня через минуту не станет? Никогда я больше не увижу тебя... Слышишь? Никогда! Луна!»

И шел этот капитан, между прочим, для того, «чтоб *навеки стать мертвым»* (стр. 37).

В общем, вся книжка—пустая, ненужная мелочь.

Виктор Якерин.

П. Яровой. Красное кольцо. Стр. 188. Изд. «Земля и Фабрика». 1925 г.

Рассказы Ярового не блещут ни исключительным узором, ни яркими образами, ни особенностями народного колорита. В них нет даже того, что называется типичным лицом, и несмотря на все это отсутствие особых достоинств можно смело сказать, что книжка вполне годна для школьных, рабочих и крестьянских библиотек.

Спокойным, иногда фельетонным языком рассказывает автор одну за другой повести новой деревни или, вернее, деревни на пороге новых дней. В рассказах нет ничего захватывающего, особо яркого, попадаются довольно часто серые места, но чувствуется, что книжка не лишняя и что для нее должно быть свое место в литературе о новой деревне.

В рассказе «Красное кольцо», где повествуется о партизанском отряде против чехо-словаков, проявлено чувство меры. Здесь нет крикливо-подкрашенных красных лиц, сусальных «коммунтрегеров». Деревня машинально подчинилась чехословацкой силе, и только горсточка парней убегает в лес, не желая итти в народную армию. Даже единственный коммунист — сельский учитель — «не проповедует», «не вещает», не «верховодит». И к Красной армии пристает группа только потому, что иного нет выхода. Кусок настоящей жизни, настолько настоящей, что даже одна из «героинь»—девушка Танька,—убоясь угроз и тюрьмы, «чехам сдалась и спала с ними всю ночь».

Рассказ «Грусть» несколько слабее по компановке и трафаретнее по сюжету. Девушка полюбила комсомольца, который из города приехал на время в деревню. Тоскуя по нем, она отправляется к нему в город и встречается с его женой. Мотив довольно частый (см. «Черные лепешки»,—«Красная Новь», № 8). Но на фоне сопоставления двух молодых сил деревни и города автор не показал ни той, ни другого. Задача, конечно, не из легких, и она была разрешена простым пересказом событий. Книжка только б выиграла, если б этот рассказ (кстати, небольшой) в нее не помещать.

В рассказе «Летчик в гостях» тоже неуверенно разрешена коллизия города и деревни; например, из него не видать, за какие такие дела летчик Сергей заслужил симпатии крестьян и почему Марина, вопреки желанию родителей, уезжает с ним в город. Но, безусловно, в рассказе есть свежесть.

В повести «Домна» города нет: она вся — деревенская быль. Правда, из города приезжает парень-агитатор, которому посвящено только несколько строк, но что он делает и чем заслужил

мимолетную ласку вдовы Домны—из рассказа не видно. И сбивчиво, и даже несколько фальшиво звучит призыв Домны к самоорганизации женщин. Зато в повести есть настоящее поле и настоящий бобыль—Парфен, влюбленный в Домну. И кончается повесть по-настоящему: крепким поцелуем Домны и Парфена в поле во ржи, что тем ярче подчеркивает «искусственность» Домниной реплики: «только воли своей не отдам». Этих слов никак нельзя приписать Домне. Это говорит за нее автор, чтоб оправдать свой сюжет.

С технической стороны следует отметить некоторые недостатки. Так, например, за исключением первого рассказа о партизанах, в остальных не виден колорит местности, и не знаешь: Сибирь это, либо Украина; попадаются также «неудачные» слова (митинга, жизня, ресторали, зньичит), неудачные выражения («глаза сорили радость», «отец теперь—ноль», слова крестьянина); есть и выражения совершенно неправильные: «горланит сверчок» (?); «зачураться парнем», где «зачураться» поставлено вместо «зачароваться», т.-е. как раз в обратном смысле. И это не опечатка, так как повторяется в двух рассказах. Попадаются также беспричинные выводы, как, например: дети подожгли избы, а потому бабы решили устроить ясли (?). Если, конечно, и технически-удачные места, со вполне оправданными красками; попадаются и 2—3 ярких выражения, как, например, «неизрасходованная злоба в глазах», или «зрачки глаз курят два огонька».

Виктор Якерин.

Библиотека сатиры и юмора. Выпуски издательства «Земля и Фабрика». Тираж 5.000 и 10.000. Цена выпуска 10 коп.

Дешевизна и выгодная внешность — заманчивые обложки одного общего рисунка, но разнообразных, самых ярких расцветок, тщательное издание, не уступающее, по качествам бумаги и печати, остальным дешевым библиотекам, — все это сулит выпускам «Земли и Фабрики» успех среди читателя, обычно покупающего подобные книжки для чтения в трамвае или в столовке. Другой вопрос, имеют ли они право на успех по своему содержанию.

Здесь прежде всего приходится отметить пестроту и неровность в подборе авторов и их произведений. На-ряду с вполне литературными и художественными вещами, образцами настоящего *искусства*, попадаются книжки, сплошь составленные из газетных фельетонов, или слащаво-«благонамеренные» рассказики вроде «Примуса» и «Картошки» Андриевской. Сборники, например, Вс. Иванова, А. Толстого, В. Инбер, отчасти М. Козырева («Инвалид Чуфыркин») и Б. Самсонова явно выделяются из среды прочего.

Идет эта смесь под общим аншлагом «сатиры и юмора». Почему взят именно такой заголовок — неизвестно. *Сатиры*, по крайней мере, нет и в помине. Единственными сатирическими попытками можно признать «Мистера Веретенкина» Вяч. Шишкова и «Путешествие в Эритрею» Л. Никулина. Но и эти два рассказа построены на случайных, чисто внешних особенностях американской «культуры» или положения государства, история которого «восходит к самым недавним временам, т.-е. к миру, заключенному в Версале».

Остальное к сатире никакого касательства не имеет. В большинстве это юмористика не выше «Красного Перца», а, может быть, и перепечатанная оттуда, поражающая необыкновенным сходством между отдельными авторами. Создаетсвпечатление, будто у них единая, неделимая точка зрения, общая для всех, как рисунок обложки. Если М. Козырев и Б. Самсонов еще сохраняют признаке индивидуальности, то между словарем, манерой письма и трактовкой тем Грамена-Б. Левина, Е. Петровой, В. Павлова, Андриевской и пр. нет положительно никакой разницы: чудится, что за многими этими фамилиями прячется один человек, неутомимо варьирующий одни и те же сюжетики.

Иногда попадаются почти буквальные совпадения текста. Вот как, например, разговаривает частный торговец в «Поучительной истории» Грамена:

«Что изволите приказать-с?.. Сп-ю-с секундой. Да вы благоволите на

стульчик присесть: что же вы утруждаетесь?... Вот это-с?»

И в «Блестящей идее» Б. Левина:

«Что прикажете-с, фунтик гвоздей? Сию минуту. Самые лучшие. Колька, тащи стул господину гражданину-покупателю. Что еще угодно-с?»

Другие одинаково относятся к Чехову — совершенно неприкрыто перелицовывают его, порой даже сохраняя заглавие. Таковы В. Павлов в «Неоцененном» (под «Унтера Пришибеева») и «Злоумышленнике», или Б. Самсонов в «Толстом и тонком». Идя путем перелицовки, можно, конечно, выпустить не одну и не две подобных книжки: типичность и жизненность некоторых чеховских героев настолько велика, что, меняя детали на «советские», нетрудно перенести их в послереволюционную эпоху. Это доказывает значительность Чехова, но вряд ли принесет особенные лавры автору-портному.

Темы тоже довольно однообразны. Некоторые авторы не выходят из тесного, замкнутого тематического круга. В числе таких — уже не раз упомянутый нами Б. Самсонов. Весьма интересный некоторыми своими афоризмами в стиле Кузьмы Пруткова,— он выезжает, главным образом, на современных «чиновниках» всех рангов. Совсем не случайно подбираются его изречения: «И подчиненные не лишены человеческого достоинства», «Реклама — двигатель по службе», «Начальника не затмевай»,—в то время как о рабочем (вернее, работнице) имеется единственное: «Наш мастер, чорт охальный, проходу не даст. Лапает, аж груди болят».

Несколько обиняком от всей библиотеки стоит сборник Аверченко—выдержки из двух его эмигрантских книг «Смешное в страшном» и «Дюжина ножей в спину революции». Помимо 2—3 рассказов, метких и удачных для характеристики эмигрантских масс,—книжка никчемна. Плоские остроты о советской России, и всяческие ужасы — чекисты, китайцы, «красные банкиры»... Их не спасает предисловие с ссылкой на тов. Ленина, некогда писавшего про Аверченко: «*некоторые* (курсив мой. *Б. Г.*) рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки».

Нет спора, что покупать «Осколки разбитого вдребезги» будут охотно. В этом смысле изд-во не ошиблось, назначив при *двойном* размере книжки *тройную* цену. Но вне определенных группировок нашей «домашней» эмиграции, которая, конечно, примет Аверченко всерьез, — причины его успеха совпадут с оговоренными вначале, вроде заманчивой внешности.

Прочитав «Осколки», *наш* читатель вряд ли понесет эту книжку домой, как сборники А. Толстого или В. Инбер. По всей вероятности, Аверченко, вместе с прочей легковесной и не смешной юмористикой, будет забыт где-нибудь на столике Нарпита, рядом с грязной посудой, оставшейся от обеда.

Борис Губер.

Виктор Шкловский. Теория прозы. «Круг». М.—Л. 1925 г. 190 стр.

«Теория прозы» объединяет все написанное до сих пор Виктором Шкловским по данному предмету. На-ряду с целым рядом верных положений мы находим в книге мысли, вызывающие возражения. Неправ автор, главным образом, в тех местах, где он переходит от меткого формального анализа разновидностей прозы к рассуждениям о конечных целях искусства:

«Искусство есть способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве не важно».

«Литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь, не материал, а отношение материалов. И как всякое отношение и это—отношение нулевого измерения. Поэтому безразличен масштаб произведения, арифметическое значение его числителя и знаменателя, важно их отношение. Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставления мира миру или кошки камню — равны между собою».

«По существу своему искусство внеэмоционально... Кровь в искусстве не кровава, она рифмуется с «любовь», она или материя для звукового построения, или материал для образного построения». —

В приведенных цитатах—квинт-эссенция несостоятельности «формализма» как «искусствопонимания», смежного по теплич-

ности, по безжизненности с формулой— «искусство для искусства».

Никто из материалистов не отрицает, что произведение искусства должно быть хорошо сделано. Но не для того стреляют из пушки, чтобы сотрясать оконные стекла. У искусства такие же конкретные задачи, как и у пушечного ядра,— и совершенством формы определяется лишь сила полета и воздействия художественного произведения. Сердцевина же оболочки не может быть полой,— она должна быть до отказа начинена мыслью и сердцем, которые на радостном своем огне сжигают и художника и его потребителя.— Искусство не сервиз за витринным стеклом, а бокалы с пьянящим вином, тарелки с дымящейся пищей.—

С точки зрения мастерства какая-нибудь десятистрочная миниатюра может быть так же прекрасна, как и «Война и мир» Толстого, но по своему значению, художественному и идейному воздействию, меж ними такая же разница, как между маленьким ручьем с чистой водой и многоводной судоходной рекой.

Огромное количество фактов можно привести в подтверждение мысли, что искусство, будучи проявителем и усилителем жизненных процессов, глубоко эмоционально. Не из-за поисков «рифмочки» целыми днями, во время творчества, шагал исступленно по комнате Некрасов, не из-за «формальных» потуг был на краю сумасшествия Леонид Андреев, когда писал свой проникновенный «Рассказ о семи повешенных» — художников переполняло эмоциональное волнение. Из десятков тысяч читателей лишь единицы умеют разбираться в формальных достоинствах и недостатках произведения, огромные же массы захвачены непосредственным эмоциональным воздействием искусства.

Не для Шкловского — эти возражения: «апофеоза беспочвенности» его «иронического» мироощущения этими доводами не пронять. Они для читателя, который с критической осторожностью должен обойти «суммарные», «общие» рассуждения автора. За исключением этих провалов книга содержательна и интересна. Существенно замечание о Потебне, который «не различал язык поэзии от языка прозы. Благодаря этому он не обратил внимания на то, что существует два вида образа: образ как практическое средство мышления, средство объединять в группы вещи, и образ поэтический — средство усиления впечатления». Много верного в критике Шкловского, «этнографической школы» в моментах, касающихся возникновения и строения сказок.— Быт и заимствование, как единственный принцип объяснения возникновения и строения однородных сказок в разных концах земного шара, выдвинутый «этнографами», частично Шкловским поколеблены. Но автор безусловно неправ в полном отрыве этого вида народного творчества от бытовых условий. В научных догадках школы Веселовского больше правдоподобия, чем в «метафизическом» предположении Шкловского, что:

«Совпадения объясняются только существованием особых законов сюжетосложения».

Убедительно рассмотрены Шкловским различные детали строения прозаических произведений. Хороша терминология, давно получившая все права гражданства. Множество пояснительных примеров укрепляет теоретическую схему автора.

Все же — было бы ошибочно предполагать, что единственно в плоскости формалистов должно быть рассмотрено строение художественной вещи. Искусство в его заражающей целостности ускользает от однобокой «научности» Шкловских. — Хорошо разбирая, развинчивая колеса волнующего человечество механизма, они не в состоянии объяснить живого хода свинченных, органически сцепленных колес искусства. Но формальный метод, как и всякие другие подходы к искусству, лишен пока той «идеальной» полноты, которая желательна и художнику и читателю. Еще долгое, вероятно, время мы вынуждены будем составлять мнение о писателе по принципу сборных детских картинок: отдельно — хвост, копыто, грива, голова, а вместе все взятое — лошадь. — Рядом с импрессионистским портретом обстоятельный марксистский анализ «классовой причинности» произве-

дения и дальше формальный разбор. Такая специализация вытекает из серьезности предмета искусства. Пусть формалисты упорно отворачиваются от интуитивных глубин, питающих творчество писателя, от идейной и психологической его зарядки — не будем обращаться к хирургу по глазным болезням.

Как **частичный** подход к искусству, книга Шкловского полезное руководство.

Федор Жиц.

В. Е. Евгеньев-Максимов. *И. А. Гончаров.* Гиз. М. 1925. Тираж 5.200. Стр. 168.

Рецензируемая книжка о Гончарове принадлежит к числу хороших выпусков «Критико-биографической серии», издаваемой Госиздатом. Автор правильно становится на позицию марксистской методологии, совершенно справедливо, что «поскольку мы признаем справедливость суждения, выраженного в словах: «бытие определяет сознание», постольку для нас необходимо при анализе литературных явлений выяснение того, взаимодействием каких социально-экономических факторов было определено сознание данного литературного деятеля». И в своем практическом подходе к творчеству Гончарова Евгеньев-Максимов старается тщательно выполнять это теоретическое задание.

Социальная почва, породившая Гончарова, определяется как провинциально-буржуазная в помещичьем окружении. Гончаров, по Евгеньеву-Максимову,— живописатель патриархальных помещичье-буржуазных слоев. Таким образом Гончаровское творчество в социальном отношении, вопреки прежним упрощенным взглядам на него, оказывается довольно сложным.

Автор книги подробно рассматривает все факты жизни изучаемого писателя и подвергает специальному рассмотрению каждое его крупное произведение. Анализ последних Евгеньев-Максимов начинает со «Счастливой ошибки» — прототипа «Обыкновенной истории». Удачно подмечается здесь буржуазный характер этой повести, проявляющийся в разных местах,— напр., характерным в этом отношении Евгеньев-Максимов считает описание петербургских сумерек; неудачной только является параллель между Ленским Пушкина и Адуевым. В истолковании «Обыкновенной истории» Евгеньев-Максимов придерживается интерпретации В. Ф. Переверзева, изображающей историю Адуева как картину перерождения патриархального провинциального буржуа (а по Евгеньеву-Максимову и патриархального помещика, так как Евгеньев-Максимов не видит существенной разницы между обоими этими патриархальными типами дореформенной провинции, см. стр. 45) в столично-капиталистического буржуа. Интересен разбор «Фрегата Паллады»; здесь Гончаров — по наблюдениям нашего автора — проявляет себя не столько изобразителем природы, сколько художником жанровых сцен. Евгеньев-Максимов утверждает — и это очень верно — насыщенность буржуазным настроением и «Фрегата Паллады», сказывающимся весьма ясно хотя бы в известном рассуждении о роскоши и комфорте. «Обломова» автор рецензируемой работы изъясняет как изображение патриархальной массы (провинциального помещичества или провинциального мещанства, стр. 78, вернее, главным образом, последнего), оказавшейся неспособной к капиталистическому перерождению, за вычетом, конечно, Штольца.

В «Обрыве» Евгеньев-Максимов видит идеализацию патриархального помещичье-крепостного дворянского быта, на этот раз не усматривая в анализируемом произведении никаких следов буржуазной идеологии, даже в образе Тушина. Таким образом в интерпретации «Обрыва» Евгеньев-Максимов всецело примыкает к традиционным воззрениям на это произведение. К сожалению, наш автор, выше всюду хорошо знакомый с исследованиями по Гончарову В. Ф. Переверзева и вполне солидаризировавшийся с выводами последнего, совершенно не упоминает о том, как он относится к новейшей попытке проф. Переверзева истолковать образ Райского, не как типичного представителя 40-х годов, а как буржуа в эпоху перелома. По В. Ф. Переверзеву в образе Райского Гончаров «дал нам картину художественных скитаний талантливого буржуа эпохи перелома... пережитого патри-

архальной буржуазией в эпоху ее восхождения, когда она шла на смену помещику к власти и культуре» («Вестник Соц' Академии», 1923 г., № 5). Исключительно дворянский характер произведения Евгеньев-Максимов ставит в связь с чиновной деятельностью Гончарова в последний период его жизни. «Обрыв», несомненно, еще требует специального научного марксистского просмотра, чтобы составить окончательное заключение о характере этого произведения Гончарова.

Художественный стиль Гончарова характеризуется как своеобразное соединение сознательного и бессознательного творчества, субъективного и объективного, символизма и «фламандства», «импровизации» и «отделки».

К книге приложен библиографический указатель, который нужно пополнить вышеуказывавшейся статьей Переверзева.

Очень досадно, что автор книги не смог использовать в своем изложении недавно опубликованную рукопись Гончарова под заглавием «Необыкновенная история» («Сб. Росс. Публ. Библиотеки», 1924 г., том II).

В общем популярная книжка Евгеньева-Максимова весьма недурна.

Арк. Глаголев.

И. Ильинский. Право и быт. Госиздат. Л. — М. 1925. Стр. 49.

Нельзя не приветствовать этой прекрасной работы, тем более, что действительно, как говорит автор, вопросы права никогда не стояли в центре интересов марксистской литературы, да и сейчас еще остаются на ее задворках. Чрезвычайно важны выдвигаемые автором задачи покончить с идеологическим характером права, его отрывом от подлинных житейских отношений, поставить в порядок дня изучение стихийной силы сопротивляемости быта и изучение, вместе с тем, результатов применения правовых норм на практике.

Рецензируемая книжка И. Ильинского составлена из двух самостоятельных, но связанных общностью вышесказанного научного задания статей: «Быт как научное понятие» и «Право и быт». Последняя работа была напечатана в 7—8 книге «Красной Нови» за 1924 год и, надо думать, не прошла незамеченной читателями.

В первой статье автор дает очень интересную, марксистски выдержанную, хотя, пожалуй, несколько узкую конструкцию трудно уловимого понятия «быта» и анализирует его характерные черты — консерватизм, однообразие и замкнутость. Эта характеристика быта, его, как выражается автор, «контр-революционность» заставляет с особым вниманием отнестись к теме другой статьи, где автор исследует преломление закона, пробивающего себе правотворящий путь сквозь косность быта, нередко падающего на бесплодную почву еще не сформировавшихся общественно-экономических отношений.

Нет сомнения, действительно, что быт является очень серьезным и опасным противником революционного творчества, а вместе с тем и довольно суровым показателем целесообразности отдельных правовых норм. К сожалению, мы сравнительно очень мало знаем и изучаем современный, новый, советский быт. Почти совершенно не подошла к нему наша художественная литература, еще остающаяся во власти впечатлений прошлых годов или ударяющаяся в фантастику и авантюру, мы почти не имеем социальной статистики и т. д.

Поэтому, быть может, в работе И. Ильинского особое внимание останавливают на себе яркие иллюстрации недостижения правовыми нормами и законодательными новеллами последнего времени своей цели или примеры тех искривлений, которые претерпевает иногда правовая идея, попадая в сферу быта. Ряд чрезвычайно интересных тем, затронутых здесь автором, заслуживает более подробного исследования и более широкой разработки.

Нам кажется только, что автор все же несколько преувеличивает всемогущество закона, предлагая иногда исправить недостижение им цели изданием нового закона. Если, как показывает автор, применение закона приводит иногда к абсурду, сталкиваясь с консервативностью быта, то нет сомнения, с другой стороны, что уродливость бытовых условий иногда (например, в жилищном вопросе), в свою очередь, искажает вполне добросовестные намерения и принципиальную правоту закона.

Это возвращает нас к общему и очень ценному положению автора, подчеркивающего, что «всякие попытки создавать непосредственно новый быт реакционны по своему глубочайшему существу, какую бы ярко-революционную раскраску им ни придавали». Действительно, только «правильная... гармоническая организация производства и распределения — вот могущественный рычаг перемены быта».

Отметим еще редкую в наше время простоту и элегантность научного языка автора, делающего работу И. Ильинского доступной широкому кругу серьезных читателей.

М. Косвен.

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции; Москва, Кривоколенный пер., 14. Тел. 5-03-12.

СОДЕРЖАНИЕ

За рубежом:

От земли и городов:

Литературные края:

Критика и библиография: